

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Л 65

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА—1977

## СОДЕРЖАНИЕ

*К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции*

Исаев М. И. (Москва). Решение национально-языковых проблем в советскую эпоху . . . . .	3
--	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Трубачев О. Н. (Москва). Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье . . . . .	13
Журавлев В. К. (Москва). Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных . . . . .	30
Ахманова О. С., Минаева Л. В. (Москва). Место звучащей речи в науке о языке . . . . .	44
Котков С. И. (Москва). О лингвистическом источниковедении . . . . .	51
Кривонос А. Т. (Калинин). Открывает ли «трансформационная грамматика» новые горизонты в лингвистике? . . . . .	59
Юрченко В. С. (Саратов). Сказуемое . . . . .	71
Гринбаум Н. С. (Кишинев). Проблема древнегреческого литературного языка . . . . .	85

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Хайдаков С. М. (Москва). К особенностям функционирования классной системы в дагестанских языках и языке фула . . . . .	90
Зograf Г. А. (Ленинград). К вопросу о «новой флексии» глагола в индоарийских языках . . . . .	101
Шевякова В. Е. (Москва). К вопросу о логическом ударении . . . . .	107
Мурясов Р. З. (Уфа). О направлении производности и тождестве деривационных морфем . . . . .	119
Гунаев З. С. (Махачкала). О выражении пространственных отношений в некоторых дагестанских языках . . . . .	126

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Королев Н. И., Ульянов О. Г., Рубинчик Ю. А. (Москва). «Хинди-русский словарь» . . . . .	130
Гак В. Г. (Москва). Г. В. Степанов. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи . . . . .	136
Костомаров В. Г. (Москва). О. С. Ахманова. Словарь омонимов русского языка . . . . .	142
Будагов Р. А. (Москва). Witold Mańczak. Le latin classique — langue romane commune . . . . .	144
Рекена А. С., Сталтмане В. Э. (Москва). «Latviešu literārās valodas vārdnīca» . . . . .	146

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	151
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1977 г. . . . .	157

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешерцев, А. И. Домашнеев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64.

Зав. редакцией *И. В. Соболева*



ИСАЕВ М. И.

## РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫХ ПРОБЛЕМ В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Основные принципы ленинской национально-языковой политики были сформулированы еще задолго до Октябрьской социалистической революции. Краеугольным камнем ленинской национально-языковой политики является абсолютное равноправие всех народов и всех языков. В. И. Ленин неоднократно указывал, что без равенства нет и не может быть никакой свободы у народов. «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! — подчеркивал он. — Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!»<sup>1</sup>.

После свершения Октябрьской революции наша партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией по национальному вопросу, смогла сразу приступить к практической реализации своей программы и по этой чрезвычайно важной проблеме. В этом отношении особенно большое значение имели решения X партийного съезда (1921). В них были сформулированы главные задачи партии в длительном процессе борьбы за уничтожение фактического национального неравенства народов нашей страны: «помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед Центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке (в первую голову для киргизов, башкир, туркмен, узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной подготовки туземных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения»<sup>2</sup>.

Выполнение этой задачи требовало огромных усилий. Сложнейшие проблемы возникли перед языковедами, которые в значительной мере должны были перестроить свою работу. Если до революции они в основном были заняты изучением истории языков и выявлением родственных связей между ними, то теперь, «революцией призванные», они взялись за решение многих неотложных социолингвистических вопросов, связанных с изучением состояния и перспектив функционального развития различных языков и диалектов. От решения многих из этих вопросов зависели конкретные практические шаги на пути создания новых и улучшения старых письменностей.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 23, стр. 150.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 2, М., 1970, стр. 252.

Так, на базе успехов теоретического языкознания необходимо было создать научно обоснованный алфавит для массового практического применения. Среди ученых возникли расхождения по ряду принципиальных вопросов. Одни, например, считали, что алфавит должен быть фонетическим, т. е. должен отражать все без исключения звуки языка. Другие, наоборот, настаивали на фонемном принципе, требующем, чтобы в алфавите обозначались только фонемы (основные смысловоразличительные звуки). Наряду с лингвистами, над теоретическими вопросами письменностей трудились педагоги, психологи и др. Каждый из них подходил к требуемым качествам создаваемых алфавитов с точки зрения своей науки, своей специальности.

Теоретического и практического решения требовали и другие неотложные вопросы, среди которых особенно выделялся вопрос о диалектной основе будущих литературных языков. Дело в том, что сразу же необходимо было определить, на основе какого диалекта следовало строить единый литературный язык данной народности. Диалектное же членение языков нередко бывало сложным и запутанным. И в данном случае помог социологический подход к изучаемому предмету. Не строй того или иного диалекта должен был приниматься во внимание (хотя были ученые, которые придерживались и такого мнения), а социальное положение носителей диалектов. Как правило, за основу литературного языка брался диалект, носители которого проживали в экономических и культурных центрах народности и по численности превосходили носителей других диалектов.

Нельзя себе дело представить таким образом, что лингвисты сначала решили теоретические вопросы и лишь затем приступили к созданию письменностей. Основная работа в обоих направлениях проходила одновременно. Большинство теоретических вопросов возникало именно в ходе практической работы над созданием письменностей, которая и теоретически, и практически была чрезвычайно сложной, так как советская власть «унаследовала» от царизма запущенное и запутанное «языковое хозяйство». Из 130 языков народов нашей страны лишь 20 имели более или менее разработанную письменность. Своей оригинальной графикой письма пользовались только русские, украинцы, грузины и армяне, создавшие развитые литературные языки. Многие письменности в той или иной мере были связаны с религией. До Великой Октябрьской социалистической революции в различной степени пользовались русским алфавитом представители еще нескольких народов (мордва, осетины, чуваша, коми, удмурты, якуты), исповедовавшие христианскую религию. Эстонцы, латыши и литовцы, входившие до революции в состав Российской империи, пользовались латинской графикой. Буряты и калмыки — в прошлом приверженцы ламаистской веры — строили свое письмо на основе разновидности древнеуйгурско-монгольской письменности. Караимы, крымские, горские, среднеазиатские и восточноевропейские евреи (исповедовавшие иудаизм разного толка) пользовались древнееврейской письменностью. Среди многочисленных мусульманских народностей Средней Азии и Кавказа появилась письменность на основе арабского алфавита; в разной степени арабскую графику приспособляли к своим языкам 16 различных народностей (узбеки, таджики, казахи, азербайджанцы, татары, чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, адыги, кумыки, аварцы, лакцы, табасаранцы, лезгины). Однако следует отметить, что эта письменность не была доступна широким народным массам. Во многих языках ее применение ограничивалось в основном сферой религии, и письмом пользовались главным образом духовные круги. Недаром само появление и характер письма в большинстве случаев непосредственно связаны с тем или иным вероисповеданием.



Решение проблемы письменности, кроме всего прочего, осложнялось чрезвычайной пестротой картины языковой жизни многочисленных народов, населявших бывшую царскую империю, так как их языки, разные по своему строю, по происхождению относятся к самым различным генетическим семьям и группам.

Весьма различны были и общественные функции языков в соответствии со степенью развитости самих народов, их численностью, наличием и давностью традиций письма. Эта пестрота различных факторов создавала значительные трудности как для осуществления культурной революции в целом, так и для языкового строительства — одного из ее составных элементов. Именно поэтому уже в первые годы Советской власти усовершенствование существующих письменностей и создание новых стало первоочередной задачей в деятельности ученых-лингвистов. К этой проблеме было приковано также внимание партийных и советских органов, работников просвещения в центре и на местах.

В исключительно важном по своему прогрессивному значению процессе улучшения письменности пример поддал русский народ. Реформа русской письменности была закреплена законодательными актами Советского государства от 23 декабря 1917 г. Целью ее была демократизация графики и орфографии русского языка, упорядочение и упрощение русского правописания, что имело огромное значение в период развертывания борьбы за ликвидацию неграмотности в стране. Следует также отметить прогрессивное влияние этой реформы на последующий пересмотр вопросов письменности других народов.

Письменность многих народов страдала существенными недостатками, что в известной мере тормозило дело культурного строительства и просвещения. В особенности это относится к уйгурско-монгольской и арабской формам письма. Но если первой пользовались лишь несколько малых народностей, то на арабской графике строили свою письменность, в частности, такие многочисленные народы, как узбеки, татары, казахи, азербайджанцы, таджики. Арабская графика вполне устраивала мусульманское духовенство этих народов, требовавшее лишь слепого повиновения религиозным догмам Корана. Недостатки графики арабского письма не были особенно заметны в период, когда люди писали от руки. Однако в эпоху интенсивного развития книгопечатания и массового обучения грамоте все недочеты, таившиеся в этой графике, резко выявились и стали тормозом в распространении просвещения.

Из 28 букв арабского алфавита самостоятельное начертание имеют лишь 16, остальные отличаются друг от друга всевозможными диакритическими знаками, что не может не осложнять их восприятие и печатание. К тому же, все буквы имеют по два-три написания в зависимости от их места в слове: в начале, середине, конце. Для изображения гласных звуков в основном алфавите имеется всего три буквы. Сложность обучения была одной из главных причин того, что в первые годы Советской власти ликвидация неграмотности у народов с арабской письменностью осуществлялась весьма медленными темпами. По данным переписи 1926 г. процент грамотности населения от 9 лет и старше в Азербайджане составлял 25,2%, в Казахстане — 22,8%, в Киргизии — 15,1%, в Туркмении — 12,5%, в Узбекистане — 10,6%, в Таджикистане — 3,7%. Переход на более простую и доступную народным массам графическую основу письма был чрезвычайно необходим ввиду развернувшегося экономического и культурного строительства на всех окраинах бывшей царской империи.

В результате большой исследовательской и организационной работы, проведенной в 20-е годы, несовершенные письменности на древнеуйгурско-монгольской и арабской графиках были заменены латинской письмен-

ностью. Следует заметить, что инициатива в этом важном деле исходила от представителей самих народов. Для координации работы по латинизации письменностей был создан Центральный Комитет Нового тюркского алфавита (ЦК НТА), преобразованный впоследствии во всесоюзный орган (ВЦК НТА). Под руководством Комитета была предпринята также сложнейшая работа по созданию алфавитов на языках, никогда ранее не имевших их. Особенно большие трудности пришлось преодолеть при установлении письменности для народностей Севера, строй языков которых был до революции вовсе не изучен.

Таким образом, советские ученые с честью выполнили поставленную перед ними исключительно почетную, но столь же трудную задачу по изучению многочисленных разнотипных языков, усовершенствованию почти всех письменностей и созданию письма на 50 ранее бесписьменных языках. Подобного эксперимента не знала еще история культуры. Успех советских языковедов во многом объясняется марксистско-ленинской методологией и применением на ее основе в этой работе социологических методов исследования.

Как и всякое большое начинание, латинизация алфавитов абсолютного большинства народов СССР не смогла избежать некоторых ошибок. Так, с самого начала была обречена на провал попытка создания литературных языков для всех народов Крайнего Севера на базе единого алфавита, не учитывавшего специфику фонологических систем отдельных языков. Несомненным перегибом можно считать переход на латинскую графику письменностей тех народов, у которых она уже была внедрена на основе русской графики (коми, удмурты, осетины, чуваша, мордва, якуты).

Все же нельзя согласиться с тем, кто, ссылаясь на указанные выше и другие недостатки, а также на происшедший позднее переход к русской графике подавляющего большинства письменностей народов СССР, считает ошибочным латинизацию алфавитов вообще. Во-первых, отдельные ошибки не могут быть основным мерилом при оценке большого начинания. Во-вторых, к оценке процесса латинизации алфавитов, как к любому другому историческому факту, следует подходить конкретно-исторически.

Изучение истории культурного строительства в СССР показывает, что в 20-х годах обращение к латинскому алфавиту как к графической базе новых письменностей было единственно правильным решением вопроса. Некоторые ученые утверждают, что целесообразнее было бы перейти сразу на русскую графику. Однако не следует упускать из виду, что подобный шаг был бы несомненно истолкован многочисленными внешними и внутренними врагами как рецидив русификаторской политики царизма. А главное, сами народные массы национальных окраин не были еще в то время готовы понять объективные процессы сближения всех народов и национальных культур и роль русского языка в этих процессах.

Таким образом, этап языкового строительства, состоящий по своему основному содержанию в латинизации существовавших алфавитов и в составлении новых алфавитов, можно считать этапом исторически необходимым и сыгравшим огромную положительную роль в развитии литературных языков, национальных культур, а также национальной государственности.

Другой этап языкового строительства связан с переходом в конце 30-х годов письменностей абсолютного большинства народов СССР на русскую графическую базу, что было вызвано практикой социалистического строительства. На основе экономических и социальных успехов невиданный расцвет получили литературные языки. При этом огромную роль в развитии языков играет их благотворное взаимодействие и взаимообогащение. Особенно большое значение имеют процессы усвоения из русского языка

сотен и тысяч русских и интернациональных слов и терминов, что привело к образованию в многочисленных национальных языках значительного пласта единой лексики. В этих условиях интеллигенция и руководители национальных республик поставили вопрос о переходе письма на русскую графику.

Инициатива с мест была поддержана партией и правительством, в результате чего в 1937—1940 гг. народы Средней Азии, Поволжья, Северного Кавказа, Азербайджана перешли на русскую графику письма (армяне и грузины сохранили свои оригинальные алфавиты, имеющие вековые традиции).

Разумеется, деятельность ученых в соответствующие периоды не ограничивалась одними вопросами письменности, которые, несомненно, составляли основу языкового строительства. Само создание алфавитов требовало решения многочисленных малых и больших проблем. Однако, помимо этого, языковеды в период культурной революции были заняты разрешением актуальных вопросов, связанных с созданием национальных школ, организацией в республиках и областях общественных и государственных учреждений, подготовкой для них национальных кадров и др.

Активное языковое строительство, проводимое на фоне бурного культурного и национального развития, вдохнуло новые жизненные силы в литературные языки, которые за годы советской власти прошли путь, превосходящий их многовековое развитие в дореволюционный период<sup>3</sup>. Стремительное расширение общественных функций старописьменных и в особенности младописьменных языков — основной итог их развития за последние десятилетия.

Одной из наиболее характерных особенностей развития старописьменных языков союзных республик в советский период следует считать невиданную демократизацию литературного языка, который из узкого круга интеллигенции перешел на обслуживание широких народных масс. За годы советской власти эти языки начали употреблять в новых сферах государственной и политической жизни, всеобщего народного образования, в бурно растущих науке и технике, а также на радио, в кино, театре, телевидении и т. д.

В соответствии с расширением общественных функций появились и развились различные стили литературных языков (стили делопроизводства, художественной литературы, устной литературной речи и др.).

Расцвет литературных языков, их демократизация и ориентировка на устную народную речь неизмеримо подняли их значение в общественной жизни народов, повысили их авторитет. Литературные языки обогатились за счет диалектов, усилив одновременно процессы нивелировки диалектных различий, что в свою очередь способствовало консолидации советских социалистических наций.

Еще более разительные перемены произошли за последние полвека в младописьменных языках. Если до революции эти языки обслуживали главным образом примитивное производство и патриархальный быт, то благодаря возникшей и развившейся за годы советской власти письменности они стали отвечать многочисленным новым жизненным потребностям. Ныне общественные функции большинства младописьменных языков выражаются в том, что на них: а) создана значительная художественная литература; б) выходят периодические издания (газеты, журналы, альманахи);

<sup>3</sup> См.: И. К. Белодед, Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе, М., 1972, стр. 153 и сл.; Ф. П. Филин, Ленинское учение о нации и некоторые проблемы национального языка, ИАН ОЛЯ, 1970, 2.

в) ведется обучение в начальной школе, иногда в неполной средней школе; г) функционируют национальные театры и театральные труппы; д) осуществляется радиовещание, телевидение; е) проводится значительная хозяйственная, государственная и общественно-политическая деятельность; ж) нередко младописьменные языки употребляются в деловой и частной переписке <sup>4</sup>.

Определенные сдвиги произошли и в бесписьменных языках. Особенно это сказывается на их словарном составе, куда не могут не проникать новые слова, обозначающие изменения в жизни самих народов. Однако крайняя малочисленность носителей этих языков (нередко от нескольких тысяч до нескольких сотен) и потребность все более интенсивного общения разных народов привели малые народности к сплошному двуязычию (и многоязычию). Как правило, они, наряду со своим языком, хорошо владеют также языком (а иногда и не одним) какого-нибудь более многочисленного соседнего народа. Этим языком они пользуются уже как своим литературным (например, народности Памира — таджикским, бацбийцы, кистинцы, сваны и некоторые другие — грузинским, малые народы Севера — русским и т. д.).

Из всех видов двуязычия особо важное и принципиальное значение имеет вид двуязычия, в котором в качестве второго языка выступает русский язык. В развитии языков народов нашей страны чрезвычайно важную роль сыграли и продолжают играть процессы взаимовлияния и взаимообогащения. При этом на практике осуществляется принцип полного равноправия языков. Так, в своей повседневной деятельности ни одно государственное или общественное учреждение не имеет права отказать в рассмотрении заявления советских граждан, мотивируя отказ ссылкой на язык, на котором оно написано.

Таким образом, гарантией свободного развития языков народов СССР является претворение в жизнь принципа полного равноправия всех национальных языков. Богатый опыт языкового строительства и языкового развития позволяет нашей партии совершенствовать свою языковую политику. В этом отношении особенно примечательны положения новой программы КПСС по вопросам языковой жизни народов СССР. В ней с новой силой прозвучала марксистско-ленинская идея полного равноправия всех языков. В области национальных отношений ставится задача: «обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков» <sup>5</sup>. В то же время в программе КПСС четко сказано об особой роли, которую играет язык межнационального общения в нашей многонациональной стране: «Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком, русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР» <sup>6</sup>.

Выбор одного из существующих в стране национальных языков в качестве средства межнационального общения определяется разными объективными факторами, среди которых важнейшими являются соображения эконо-

<sup>4</sup> См.: Ю. Д. Дешериев, Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Развитие общественных функций литературных языков, М., 1976, стр. 391 и сл.

<sup>5</sup> «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1961, стр. 406.

<sup>6</sup> Там же, стр. 407.

номико-производственной выгоды, психологические соображения, исторические традиции, фактическая распространенность данного языка.

В условиях многонациональной страны, писал В. И. Ленин, «... потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной страны, знать который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм...»<sup>7</sup>.

В силу особенностей исторического развития нашей страны русский язык широко распространен среди всех наций и народностей. Будучи языком наиболее развитой нации, внесшей основополагающий вклад в социалистические преобразования в нашем государстве и тем самым заслужившей любовь и уважение всех других народов, русский язык стал, естественно, превращаться в язык общения и сотрудничества всех народов при социализме, когда экономические и производственные межнациональные связи тысячекратно усилились, когда интенсифицировалась интернационализация населения, когда были сняты психологические преграды и расцвела братская дружба народов, их доверие и взаимопомощь.

Выдвижение русского языка в качестве языка межнационального общения в Советском Союзе связано со следующими объективными историческими факторами:

1. Большой удельный вес русской нации среди других народов. Так, по данным переписи 1970 г. русские составляют 53% к общему числу населения СССР (129 млн. из 241,7 млн.) Кроме того, русский язык назвали родным языком более 13 млн. человек нерусского населения страны. Таким образом, 141,8 млн. человек (около 60% всего населения) назвали русский язык родным языком.

2. Широкая расселенность русских по всей территории нашей страны, в силу чего русский язык оказался наиболее распространенным языком среди славянских и неславянских народов. Так, по данным переписи 1970 г., за пределами РСФСР на территории других союзных республик проживает 21,3 млн. русских.

3. Близость русского языка к языкам двух других наций — украинской и белорусской, которые составляют 33% населения нашей страны и не испытывают особых трудностей при изучении русского языка; «... свыше семи десятых населения России, — отмечал В. И. Ленин, — принадлежит к родственным славянским племенам, которые при свободной школе в свободном государстве легко достигли бы, в силу требований экономического оборота, возможности сталкиваться без всяких „государственных“ привилегий одному из языков»<sup>8</sup>.

4. Особая роль русского народа в экономическом и культурном процессе в прошлом и особенно после победы Октябрьской революции. Несмотря на то, что царизм делал все, чтобы русская культура и язык служили целям великодержавной идеологии, русский народ в лице своих передовых представителей всегда помогал развитию других народов страны. Русская нация своими революционными традициями, богатством своей науки и культуры, глубоко интернациональной и гуманной помощью менее развитым братским народам, способствовала быстрому преодолению их отсталости, обретению суверенитета и превращению в цветущие социалистические нации, снискав тем самым любовь и уважение всех трудящихся.

5. Русский язык, являющийся величайшим достоянием духовной культуры русского народа, по праву считается одним из богатейших язы-

<sup>7</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 23, стр. 424.

<sup>8</sup> Там же, стр. 317.

ков мира. Ф. Энгельс, владевший русским языком, подчеркивал, что русский язык «всемерно заслуживает изучения», что это «один из самых сильных и самых богатых из живых языков. . .»<sup>9</sup>. «Как красив русский язык! — писал он. — Все преимущества немецкого без его ужасной грубости»<sup>10</sup>. Богатство, силу и красоту русского языка, его значение в развитии культуры народов России неоднократно отмечал В. И. Ленин<sup>11</sup>. В. И. Ленин особо подчеркивал, что русский язык обогащает языки всех народов России теми лексическими, фразеологическими и образными средствами, которые в нем выработались.

6. Особенностью исторического развития русского языка является то, что он не только развивался, используя свои неограниченные внутренние потенциальные возможности, но впитывал в себя лексические элементы из языков других народов. Щедро обогащая языки всех народов России, русский язык на протяжении своего исторического развития сам обогащался и продолжает обогащаться за счет многочисленных заимствований из других языков.

Таковы основные конкретно-исторические факторы, способствовавшие превращению русского языка в язык межнационального общения и сотрудничества народов СССР. Совокупность этих объективно-исторических предпосылок обусловила процесс распространения русского языка как языка межнационального общения народов.

Истории известно много случаев существования международных языков. Однако любой из них характеризовала и характеризует функциональная и социальная ограниченность. Латинский язык в средневековой Европе, арабский язык у тюркоязычных, ираноязычных и других народов, французский и английский языки на современной лингвистической карте мира никогда не выступали и не выступают в качестве второго родного языка для других народов. Некоторые из этих языков, наоборот, не только в прошлом, но и сейчас все еще используются как орудие национального и социального угнетения.

Положение русского языка как средства межнационального общения принципиально иное, ибо языковая политика Советского государства, как и его национальная политика, исходит из ленинского положения о равноправии всех народов и их языков, получивших свободное развитие. Термин «язык межнационального общения» обозначает конкретное явление — использование одного языка как средства обмена информацией между различными народами. Данный термин не означает каких-либо правовых преимуществ для языка.

Совсем иное дело, когда один из языков в многонациональной стране провозглашается государственным, т. е. обязательным языком. Известно, какой жестокой критике подвергал В. И. Ленин тех, кто ратовал за объявление русского языка государственным. В статье «Нужен ли обязательный государственный язык?» В. И. Ленин, отвечая либералам, писал: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч. . . И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку.

Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз о „культуре“ вы ни сказали бы, *обязательный* государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием»<sup>12</sup>. «Вот почему, — подчеркивает в той же работе В. И. Ленин, — русские марксисты говорят, что необходимо: — *отсутствие*

<sup>9</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 18, стр. 526.

<sup>10</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 36, стр. 106.

<sup>11</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 294.

<sup>12</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 294—295.

обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках. . .»<sup>13</sup>. Это известное ленинское положение приходится напоминать, так как, к сожалению, нередко некоторые языки у нас отдельные лингвисты называют «государственными».

Велика роль межнационального языка в укреплении межнациональных контактов советских народов, которые построили развитое социалистическое общество. Как говорится в преамбуле новой Конституции, «это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей возникла новая историческая общность людей — советский народ». Основным средством межнационального общения советского народа избран русский язык. Это обусловлено, как уже было отмечено, потребностями экономического и культурного прогресса. «Быстрый рост межнациональных связей и сотрудничества, — говорит Л. И. Брежнев, — ведет к повышению значения русского языка, который стал языком взаимного общения всех наций и народностей Советского Союза»<sup>14</sup>.

Исключительно значение русского языка для воспитания трудящихся в духе интернационализма. Уже само изучение межнационального языка представляет собой глубокую идейно-политическую подготовку, так как расширяет социальный кругозор людей, помогает им полнее и отчетливее осмыслить происходящие в мире события. Знание русского языка помогает разобраться в проблемах большой науки, понять всю глубину и ход важнейших для человечества процессов и событий. С усвоением межнационального языка советские люди уже имеют широкую возможность участвовать в великой битве идей, происходящей в современном мире.

Мировая роль русского языка обеспечена великими деяниями русского народа, ставшего во главе исторического процесса построения бесклассового общества, свободного от социального и национального гнета. В значительной степени способствовала поднятию мирового значения русского языка созданная на этом языке классическая литература, венцом которой явились гениальные творения Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова, Горького и Маяковского. Ныне сбылись слова замечательного русского писателя Алексея Толстого, который писал: «Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время (и оно не за горами) — русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара»<sup>15</sup>. Это время настало ныне — могучий русский язык получил подлинное признание на международной арене. Русский язык — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, он широко употребляется на всевозможных международных встречах, конференциях, симпозиумах. О большом интересе мировой общественности к русскому языку свидетельствует и следующее. Во всех социалистических странах широко изучается русский язык. Кроме того, им овладевают на многочисленных кружках и курсах около 70 несоциалистических стран, его преподают более чем в двух тысячах высших учебных заведений и тысячах школ мира.

Значение и роль русского языка понимают прогрессивные деятели буржуазных стран, свидетельством чего являются их многочисленные высказывания в пользу его дальнейшего распространения в мире. Вместе с тем, идеологам антикоммунизма эта прогрессивная тенденция, разумеется, не по душе, и они всячески стараются исказить ленинскую националь-

<sup>13</sup> Там же, стр. 295.

<sup>14</sup> Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических республик, М., 1972, стр. 22.

<sup>15</sup> А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., XIII, М., 1950, стр. 342.

но-языковую политику. Искжая исторический ход событий, они выдвигают лживый тезис о якобы искусственном и насильственном характере распространения русского языка, в особенности на территории советских республик. Этим самым наши буржуазные «критики» хотят вбить клин между русским и другими народами СССР. Необходимо всячески разоблачать домыслы апологетов антикоммунизма. А лучшим ответом им может послужить глубокое понимание и пропаганда основ марксистско-ленинской национально-языковой политики, показ объективного и прогрессивного характера функционирования в нашей стране языка межнационального общения. Русский язык стал достоянием и духовным орудием каждого советского человека, независимо от его национальности, в борьбе за построение коммунистического общества. Ленинское решение диалектически двуетного вопроса о расцвете всех наций и народностей, с одной стороны, и о неуклонном их сближении, с другой, предполагает всемерное развитие каждого литературного языка и одновременное распространение общего языка, используемого большинством советских людей в их повседневной жизни.



## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ТРУБАЧЕВ О. Н.

### ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРИФЕРИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО СЛАВЯНСТВА. ИНДОАРИЙЦЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

#### I

Хотя теория иранского субстрата Северного Причерноморья утвердилась еще начиная с прошлого столетия (вспомним, например, о работах Мюлленгофа, Миллера, Фасмера, Соболевского, Абаева<sup>1</sup>), на долю современной науки осталась большая работа по проверке и выяснению многих вопросов. Автор настоящего очерка далек от мысли подвергнуть сомнению главный тезис, согласно которому Северное Причерноморье античного времени (с VII—VI вв. до н. э.) явилось ареной борьбы иранства и его разнообразных отношений с эллинизмом прибрежных греческих городов-колоний. Скучные остатки языка скифов и сарматов носят действительно иранский характер. Но дело обстоит при этом не так просто и однозначно. Иранцами, по-видимому, не были полумифические киммерийцы, несмотря на то, что имена нескольких их царей звучат по-ирански; возможно, что они были, согласно древнему преданию, теснее связаны с фракийцами-трерами, ср. целый ряд фракийских имен боспорских архонтов и царей. Ср. также некоторые возможные остатки киммерийско-фракийской топонимии, неизвестные прежним исследователям: *Цюцюль*, гора в Крыму, ср. арум. *tuṭul* «вершина»; *Malorossa*, один из боспорских городов (Равеннский Аноним), ср. рум. *mal* «берег», алб. *mal(i)* «гора» (о втором компоненте названия см. некоторые соображения в части II нашего очерка). Не обязан ли сам Крым своим, вероятно, сильно искаженным и спорным названием, которое бессильны объяснить тюркологи, в конечном счете имени киммерийцев? Крым получил свое название с востока (т. е. не со стороны Перекопа и неизвестного рва), а к востоку от Крыма, на полуострове Фонтан, сидели киммерийцы.

До сих пор всем попыткам истолкования успешно противостоит проблема тавров. Известие Геродота о том, что они были не скифы, а другой народ (*ἄλλο ἔθνος*), не позволяет отнести также их к иранцам, но это мало что дает, так как о принадлежности языка тавров, этого древнего туземного населения Крыма, наука не может сказать практически ничего. Вина ли в этом скудная традиция или скорее определенная позиция науки, игнорировавшей некоторые факты, увидим дальше. Археологи, со своей стороны, исследовали этот вопрос и установили различные связи между областью тавров и Западным Кавказом в керамике и способе погребения<sup>2</sup>, но одна лишь эта констатация оставалась, как нередко случает-

<sup>1</sup> См. библиографию в нашей работе «О синдах и их языке» (ВЯ, 1976, 4, стр. 39 и сл.).

<sup>2</sup> А. М. Лесков, Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры, Киев, 1965, стр. 134, 135, 144, 145 и т. д.

ся в археологии, многозначной и даже чреватой заблуждениями. Ложным путем при этом, по-видимому, оказалось отождествление тавров с собственнo кавказцами (адыги, черкесы), встречаемое в литературе.

Древние культурные корреспонденции между таврами античного Крыма и современным им населением к востоку от нынешнего Керченского пролива прежде всего относятся к синдам Таманского полуострова и родственным им меотам, земли которых простирались в восточном Приазовье до Дона. Эти области были затем тоже иранизированы сарматами, которых первоначально здесь не было. Скифы населяли степной Крым, но тоже не испокон веков; здесь жили сатархи<sup>3</sup>. Нескифский характер синдов и всех меотов, на что не раз обращала внимание античная традиция и что столь часто игнорировала наука нового времени, послужил для нас мотивом, чтобы предпринять поиски почти утерянных следов их языка. Сама античная традиция (например, глосса Гесихия Σίνδοι ἑθνος Ἰνδικόν), небольшая статья П. Кремера 1943 г. об «индийцах на Кубани» и некоторые другие давние и новые голоса в этой дискуссии помогли направить наш интерес на такое решение проблемы, которое означало констатацию индоарийской, т. е. собственнo индийской принадлежности синдов и меотов. Для этого были привлечены новые факты или, точнее, новые объяснения старых фактов и данных, остававшихся пока как бы в тени. Этим вопросом я занимаюсь с 1973 г. Моя собственная первая этимология была посвящена глоссе Плиния *Temarundam matrem maris* — названию Меотиды как матери Моря, Понта, которое сам Плиний ошибочно приписал скифам. В результате появилась концепция нескифского по языку населения, называвшего Черное море *\*tem-arun-*, ср. др.-инд. *árṇa-* «морская пучина» (хетт. *aruna-* «море» тоже близко, но сочетание с *tem-/tam-* «темный, черный» носит исключительно индийский характер!).

Неаспирированное *s* в ряде других случаев, а также *kš* (на письме ξ), вместо иранского *š*, из и.-е. *\*ks* — в фонетике, несколько примеров на суффикс прилагательного *-in*, характерный как раз для индийского, а не для иранского, и на суффиксальное *-p-*, известное в индийском и неизвестное в иранском, — на словообразовательно-морфологическом уровне и особенно — лексические реконструкции, показательные в духе индийских изоглосс, противопоставленных иранским изоглоссам (*\*sind-* «река» и «речные жители», *\*tur-* «быстрый», *\*amb-* «вода», *\*tar-* «берег», *\*dand-* «камыш, тростник» и др.), — все это, по-моему, указывало на индийский язык. (Демонстрации реконструированной лексики, так сказать, лексикографии индоарийских реликтов Северного Причерноморья, как наиболее осязаемому свидетельству их древнего существования отведен конец I части данного очерка.) Помимо сказанного, важнейшим критерием определения синдомеотской принадлежности того или иного названия на первых порах было нахождение или приурочение его к территории меотов (Восточное Приазовье) и к Боспорскому царству. Материал, как известно, почти исключительно ограничивался ономастикой письменных источников и эпиграфики этих мест. Следующий шаг состоял в обнаружении близких, а также самостоятельных индоарийских свидетельств на других территориях. Групповой их характер может придать им значительную доказательную силу. Сейчас мы можем говорить об индоарийских следах, помимо непосредственного Приазовья, также в Крыму и в низовьях Днепра, а это не противоречит данным истории (ср. *Scythia Sindica* Плиния). А как же быть с иранцами (скифами, сарма-

<sup>3</sup> Указание на связь сатархов с синдами см.: М. И. Ростовцев, Амага и Тиргатао, «Зап. имп. Одесского общества истории и древностей», XXXII, Одесса, 1915, стр. 60—61.



тами)? Ведь они тоже были — в разное время — во всех упомянутых районах. Индоарийцы, земледельцы и строители каналов в Приазовье и особенно в Синдской Скифии (к востоку от устья Днестра) находились в определенных отношениях к военным кочевникам-иранцам, составляя (кроме непокоренных тавров горного Крыма и приазовских меотов Боспорского царства) подчиненную массу, то, что Геродот называл *Σκῆθαι Γεωργοί* «земледельцы». Индоарийско-иранские отношения Северного Причерноморья еще предстоит изучать.

Таким образом, вопрос ставится шире, чем только о языке синдов<sup>4</sup>. Индоарийская принадлежность языка определенного слоя северопонтийского населения положительно свидетельствует о прежнем пребывании праиндийцев в этих краях. Значительная их часть осталась и постепенно была перекрыта близкородственными иранцами (скифами, сарматами), которые называли Понт *axšaina-* «черный». Парное соответствие имен *Τιργυτάω* (синдская царица иксоматского происхождения, у Полиена) — *Tirgutawiya* (женское имя на глиняных табличках, Алалах, Сев. Сирия, II тысячел. до н. э.), несмотря на недостаточную ясность этимологии, представляет хорошее свидетельство о самих отношениях. Другое свидетельство того же рода: название меотов — эпиграфическая форма МАΙΤΑΙ передает, видимо, самоназвание — всплывает в то же время (II тысячел. до н. э.) — в Передней Азии; так мы этимологизируем племенное название *Maitanni*, производное с местным хурритским суффиксом *-nni* от одного из арийских самоназваний *maita-*, что-то вроде «материнские» (отголосок древнего материнского культа). Благодаря этому обнаруживается самоназвание переднеазиатских ариев, которое безуспешно искали до сих пор, и вместе с тем обретается некоторая уверенность в том, что северопонтийские, азовские меоты принимали участие в переднеазиатских походах, относительно чего историки, за неимением лучшего, предпочитают писать сомнения<sup>5</sup>.

Случай с соответствием *Δανδακή* (Птол.), теперь *Камышовая бухта* в юго-западном Крыму, — др.-инд. *Daṇḍaka-*, название леса в Деккане, собственно «тростниковый лес» (*daṇḍá-* «палка», *daṇḍana-* «вид тростника»), привел нас в наших поисках индоарийцев к таврам Крыма. Дандака, по-видимому, была их *orpidum* и *portus*, Херсонес, как известно, чтит богиню Деву тавров. Здесь явно предстояло еще вскрыть много поучительного. Думаю, что предварительные ожидания не были обмануты. Вскоре последовали положительные результаты. Во-первых, само прочтение *Δανδακή*, которое давало нам в руки довольно длинную производную форму таврского слова вместе с его значением. Во-вторых, окончательная локализация Дандаки, которую историки искали дальше на север<sup>6</sup>. Но главный результат гласил: таинственные, жестокие тавры должны были говорить на индоарийском диалекте. Не зашли ли мы далеко в своих поисках индоарийцев? Но таков Крым. Он не слишком далек и для науки о Греции, которая здесь, в дорийских и ионийских колониях, находит многое такое, чего не находит в самой Греции. Тем более — исследование синдов и меотов, которых отделял от близкой Тавриды только мелководный и узкий пролив. Таврское *Δανδακή* родственно названию меотского племени *Δανδαρίοι*. Сказывается и исключительное географическое положение Таврического полуострова, почти отовсюду омываемого водой, а на юге защи-

<sup>4</sup> Ср. также в упоминавшейся статье: О. Н. Трубачев, О синдах и их языке, стр. 39 и сл.

<sup>5</sup> М. И. Артамонов, Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н. э.), Л., 1974, стр. 62.

<sup>6</sup> А. Н. Щеглов, Заметки по древней географии и топографии Сарматии и Тавриды. 2. О местоположении Дандаки, ВДИ, 1965, 2, стр. 110 и сл.

щенного горами. Типологически идеальная почва для сохранения реликтов!

Δανδάκη звучит по-древнеиндийски, но одно слово, даже регулярно образованное и сохранившееся в целости, всегда заслуживает сомнения. Однако имеются дальнейшие названия, которые могут считаться таврскими словами такого же происхождения. Известен город тавров Παλάκιον, производное от личного имени Πάλαχος, которое носил один царь скифов. Но имя было определено не скифским, оно точно покрывается др.-инд. *pālaka*- «страж, защитник», также в качестве имени одного из царей. В более позднюю эпоху горный район юго-западного Крыма был известен в византийской литературе под названием Δορός (Жит. св. Иоанна Готского), Δόρο (Прокоп.), Δόρας/Δόραντος (VII в.). Готские этимологии названия неубедительны. Вообще готы не оставили следов в топонимии Крыма, видимо, потому, что селились в местах, уже хорошо обжитых таврами. Мы имеем здесь перед собой, так сказать, сплошь древнеиндийские образования *dara*- м. «пещера», также название горы, *darī* ж. «пещера», *darivat*-, прилаг. «обильный пещерами». Ничто так не характеризует эту часть Крыма, как пещеры и целые пещерные города. Это нашло отражение и в ономастике других местных народов, ср. тюрк. *Ин-керман* «пещерная крепость»; сатархи, населявшие соседние районы Крыма, получили прозвище *Spalaei*, *Spelaei*, собственно по-гречески «пещерные». Гора на краю алуштинской долины Южного берега Крыма носит название *Урага*. Мы не можем при этом не вспомнить о др.-инд. *urāga* «змея» (буквально «ходящая на груди»: *ura-ga*, целое сложное слово). Эта гора имеет прерывистые очертания; ср. русское название горы *Змейка* на Северном Кавказе.

Археологически тавры прослеживаются вплоть до Керченского полуострова. Принимая, что население по обе стороны пролива говорило на близкородственных диалектах, мы не можем в точности отличить, где сидели тавры, а где синдомеоты. В пользу тавров говорит, например, местное название *Dia*, упоминаемое Плинием у Керченского пролива сразу после Нимфея. *Dia*, по-видимому, значило «дева, принадлежащий Деве», ср. греч. *νυμφαῖος*, -ου то же, а также Παρθένιον, название местности близ Пантикапея. Культ Девы у тавров хорошо известен. Нарцательное имя \**diia* «дева, девиц» имеет индоевропейский вид, однако не является индийским. Здесь представлен древний диалектизм. Неподалеку Равеннский Аноним называет *Tegine*, *Teaginet*, которое мы толкуем с помощью др.-инд. *tyāgin*, прилаг. «самоотверженный», «герой». В новое время этот населенный пункт носил название *Элтиген*, едва ли тюркское, за исключением начального *el*- (тюрк.) «община». После войны поселок стал называться *Героевка*, чем достигнуто случайное, хотя и удивительное совпадение со значением древнего этимона. В низовьях Днепра в 1492 г. упоминается замок *Тягинъ*, в других источниках *Tiahinia*. Это не славянское, а более древнее название. С древних времен встречаются известия о различных Ἀλεξάνδρου βασιλείς и других святилищах и жертвенниках на Борисфене и в других северопонтийских краях. На берегу Керченского пролива тот же Аноним называет местность *Asandi* (в другом источнике Ἀσαδα), что может быть объяснено с помощью др.-инд. *āsandī* ж. «сидение». Очевидно таврское Καζέχα (совр. *Качик*) я уже этимологизировал как индоарийское \**kacchika*-, прилаг. «береговой», в другом месте. Все это не иранские реликты или следы. Мы не найдем их среди достоверных иранских этимологий Фасмера и Абаева. Их преимущественно индийские связи убедительны без лишних слов.

К любопытной диалектно-индоарийской характеристике большой древности следует отнести проявления пракрытизма в реликтах языка северо-

понтійских индоарийцев<sup>7</sup>, в данном случае тавров. Ср. группу согласных *-č(ch)-*, вместо *-kš-*, засвидетельствованную для *Каџѣха* с помощью тюрк. *Качих, Яга-Качих*. То же самое относится к остатку числительного *satta-*, пракритское вместо классического др.-инд. *sapta-* «семь», который мы усматриваем в названии народа *Satauci* (Плиний), в восточной части Таврического полуострова. Второй компонент этого названия мы сблизим с др.-инд. *oka-*, *okas* «жилище, дом, убежище», первоначально *\*auka-*. Таким образом, *Satauci* первоначально могло значить «семь жилищ». Число 7 пользовалось популярностью в этих краях и пустило корни в ономастике, судя также по другим источникам (ср., например, и в наши дни населенный пункт *Семь колодезей*, в Вост. Крыму). Стоит вспомнить о городе семи божеств — *Ἀρδάρα* (читают *Ἀβδάρα*, аланское название Феодосии), а также о несколько темном известии арабской географической литературы о стране у Черного моря под названием «Семь округов». Средневековые итальянские источники называют близ Алушты *Casale de lo Sdaffo* (*Osdaffum*) — тюрк. *Yedi-Yevler* «семь дворов». Мы имеем здесь редкую глоссу, причем с тюркской стороны гарантируется точная передача значения, а в реликтовой форме *Osdaffum* сохранен почти до нового времени сам этноним *Satauci*. По-ирански «7» было бы *hapta-*, ср. его отражение в упомянутом названии города *Ἀρδάρα*.

Большие языки с богатой письменностью кодифицируются в больших словарях; это правило сохраняет свою силу и для малых языков и диалектов. Без преувеличения можно сказать, что обнаружение и изучение неизвестных и забытых языков и их реликтов тоже начинается с фиксации слова, т. е. с работы лексикографа. Этот вид словарного дела имеет свои трудности; объем полученной работы не принадлежит к их числу. «Словари», например, реликтов скифского языка или фракийского языка едва насчитывают 200—250 слов разной степени достоверности. Но на место трудностей объема выдвигаются другие, не меньшие трудности. Одна из них роднит лексикографию языковых реликтов до известной степени с описанием лексики народных диалектов. И там и тут нельзя откладывать словарное дело, и там и тут нужно спешить. Но народные говоры уходят, а реликтовые языки уже ушли и были забыты в глубокой древности, так что наше сравнение лишь приблизительно передает трудность и сложность реликтовой лексикографии. Вряд ли кто-нибудь может сомневаться в актуальности и важности такой реконструкции, в которой, думается, заинтересованы не только лингвистическая и историческая наука, но и пытливое самопознание тех народов, чье прошлое непосредственно обогащает эта реконструкция. Как писал более двухсот лет назад историк Штриттер: «Не бесполезно такожде и для любителей российской истории знатьхождение того народа, который в древние времена имел жительство в соседстве, или паче в пределах России, хотя бы после того и совсем в другую часть света он преселился»<sup>8</sup>.

Не имея возможности дать здесь словарные статьи со всей литературой и аргументацией, ограничимся лаконичным индексом слов, полагая, что и он, несмотря на недостатки, присущие ему как первому опыту, поможет получить некоторое представление об объеме и составе материала — лексических реликтов языка индоарийцев Северного Причерноморья.

1. *\*abarakā*: *Ἀβράρα* (Страб.) ~ местн. назв. *Абрау*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Пример пракритской трактовки *-tt-*, вместо *-rt-*, в *Suppatos* < *\*su-patta-* < *\*su-parta-* «Добрая гавань» на кавказском побережье см. в нашей статье «О синдах и их языке», стр. 59.

<sup>8</sup> И. Штриттер, Известия византийских историков, объясняющие российскую историю древних времен и преселения народов, ч. II, СПб., 1771 (Предисловие, без пагинации).

2. \**abaiaka*:- Ἀβείαχος, царь сираков (Страб.). Ср. др.-инд. *abhika*- «бесстрашный».

3. \**abidiia*ka:- Ὀβιδίαχνοί, меотск. племя (Страб.). Ср. др.-инд. *abhi* «к, при». См. также \**diiā*.

4. \**ādi-gar*- «саранча»: ἄδιγός (Гес.). Букв. «пожиратель пищи», ср. др.-инд. *ādi*- «пища». Скиф. «саранча»: \**matuka*-.

5. \**agra*:- Ἀγροί, меотск. племя (Страб.). Ср. др.-инд. *Agra*, местн. назв.

6. \**ait-asura*- «бог света»: Οἰτάσυρος (Герод., Гес.). Ср. др.-инд. *éta*- «сияющий», *ásura*- «добрый дух».

7. \**akṣa-bitī* «глаз убивающий»: Ἀξάβιτις Ταίνια, коса (Птол.). Ср. др.-инд. *akṣa*- «глаз». См. \**bitī*.

8. \**a-kṣata-paia*- «непригодная вода»: Ἐξάμπατος (Герод.), местность на Гипанисе (Ю. Буге). Ср. др.-инд. *a*- «не», *kṣatā*- «пригодный», *pāya*- «вода».

9. \**akṣi-ak*- «имеющий глаза»? *Axiace*, *Oczakou*, *Очаков*, *Ачакова коса*, Азовск. море (XVII в.). Ср. др.-инд. *ākṣi*- «глаз».

10. \**alakṣa-dru*-? «дуб-защитник»? Александръ, имя свящ. дуба (Жит. Конст.), в Тавриде. Ср. др.-инд. *rākṣati* «охранять». См. раздел II.

11. \**anta*-«конец, край»: Ἀνταί (Прокоп.). См. раздел II. Ср. также сл.

12. \**anta-kāia*:- ἀντακάτος «порода рыб» (Герод.). Ср. др.-инд. *ānta* «конец», *kāya*- «тело».

13. \**antikitā*:- Ἀντικίτης, рукав Кубани (Страб.). Ср. др.-инд. *antika-tā* «близость».

14. \**antikiā*: *Antissa*, местность (Плин.), *Ачук*, *Ачугев*. Ср. др.-инд. *antika*- «близкий».

15. \**apaka*- «река, речной»: *Апока*, речка в Крыму.

16. \**apa-turā* «преодолевающая воды»: Ἀπάτουρον, святилище на Таман. п-ове (Страб.). Ср. др.-инд. *aptūr*-.

17. \**āsandī* «сидение»: *Asandi*, местность на Босп. Кимм. (Рав. Ан.). Ср. др.-инд. *āsandī*.

18. \**au-sili*:-? «у (реки) Σίλις»? Ὀσίλοι, народ (Птол.).

19. \**avinda*?: *Авинда*, гора в Крыму.

20. \**avunda*?: *Авунда*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *avata*-?

21. \**badraka*:- *Бадрак*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *bhadra*ka- «счастли- вый»?

22. \**bah-tar(i)*? «большой берег»? *bagtari*, *tarmagno* (Бенинказа), *Актар*, *Ахтарский*. Ср. др.-инд. *bahū*-, *tar*-?

23. \**bah-var-jamīn*? «большой двойной город»? *Бахбарзежин*, у Темрюка (Паллас). Ср. предид., а также др.-инд. *vāra*- «ограда», *yamīn* «рождающий близнецов»?

24. \**balga-tur*:-? *Болгатур*, *Богатырь*, нас. пункты в Крыму. Ср. др.-инд. *bhārgah* «блеск»?

25. \**bitī* «убивающая»: *Bitiae* «женщины, убивающие взглядом, в Скифии» (Плин.).

26. \**boion*?: *Boeon*, местность в Крыму. Ср. Βαίωνη, остров в Индии.

27. \**br(i)ta*:-? *Britani*, местность на Босп. Кимм. (Рав. Ан.), *Буртани*, племя (Тунман), *Британ*, о-в на Днепре. Ср. др.-инд. *bhrita*- «наемный»?

28. \**buja*- «изгиб»: *Buges*, *Buces*, сев.-зап. часть Азовск. моря (Мела, Плин.). Ср. др.-инд. *bhogā*-, *Bhoja*-, название области в Индии.

29. \**četra d(a)sa*:-? «сорок»? Τετραξίται, Τραπεζίται, готское племя в Крыму и на Таман. п-ове (Прокоп.), *Трапези-даг*, гора.

30. \**dandakā* «камышовая»: Δανδάκη, место в Тавриде (Птол.). См. выше.

31. \**dand-aria*- «камышовые арии»: Δανδάριοι, меот. племя (Страб.). См. выше.

32. \**dara*- «пещера»: Δορός, Δαρῶς, местность в Крыму. См. выше.
33. \**darī* «пещерная»: Δόρι, местность в Крыму (Прокон.). См. выше.
34. \**dara-(va)nt*- «обильный пещерами»: Δόρας, Δέραντος См. выше.
35. \**das(a)ka*:- Δόσχοι, меот. племя (Страб.). Ср. др.-инд. *dāsaka*-?
36. \**dīlā* «дева, девин»: *Dia*, местность на Босп. Кимм. (Плин.). См. выше.
37. \**diu-p(u)tuna*-?: Δουπτουνος, царь Боспора (эпиграфич.). Ср. др.-инд. *dyu-* и *Daiva-putra*?
38. \**do-ab*- «двуречье»? : Дооб, местн. название близ Новороссийска. Ср. *Doab*, область между Джамной и Гангом, в Индии.
39. \**ikšu-mat*:- Ἰξομάται, меот. племя (Птол.). Ср. др.-инд. *Ikṣumatī*, река в Индии, *ikṣū*- «сахарный тростник».
40. \**ikšu-pura*-? \**ikšu-pula*:-? Ἰξόπολις, город на Танаисе (Птол.). Ср. предыд.
41. \**jalman*:- Джалман, река в Крыму. Ср. др.-инд. *jalat*, \**jalman*- «вода».
42. \**jar-sinā*:- *Zorsines*, царь сираков (Тац.), Ζωρθίνος, Ζωρθίνης, личн. имя (Танаис). Ср. др.-инд. *jara*- «старый» и *-sena* в личн. именах.
43. \**kaba-takṣā*:- Καβαθάξης, личное имя собств. в Синдике. Ср. др.-инд. *kumbhā*- «кувшин», *tākṣan*- «плотник».
44. \**kaḍika*- «прибрежный»: Καζέχα, совр. Качик, к вост. от Феодосии. Ср. др.-инд. (пракр.) *kaccha*- «берег».
45. \**kāma-sar*- «любимая женщина»: Καμαζαρόη, Κομοζαρόη, царица Боспора, синдянка (Корп. босп. надп.): др.-инд. *kāma*- «любовь». См. \**sar-i*.
46. \**kar*-? «холм»? «гора»? Παντικάραιον, Καρᾶ, lo сора, Копыль. Ср. фрак. *kar*- «холм».
47. \**kar-oion* «каменный остров»: Καροία, *Caroon* (Иорд.), ср. Τραχέια Χερσόνησος — о Керч. п-ове (Герод.). Ср. др.-инд. *karkara*- «камень».
48. \**kar(u)na*- «ухо»? : *Carnas...*, *Caronos*, названия племен (Плин.). Ср. др.-инд. *kārṇa*- «ухо»?
49. \**kar(n)-ōsta*?: *Carastaseos*, народ на Сев. Кавказе (Плин.). Ср. (в обратном порядке) др.-инд. *Oṣṭha-karṇā*, название народа. Ср. предыд.
50. \**kinsanus*?: Κινζάνους, область вокруг Алушты, татар. *Kisan*, *дебрь Кисаню* (Слово о п. Иг.). См. раздел II.
51. \**koita*:- *Coetae*, *Cetae*, народ (Плин.). Ср. др.-инд. *Ceti*, племя в Индии.
52. \**kosinā*?: Κοθίνας, личное имя собств., только в Горгиипии.
53. \**kṛka*- «горло»: Οὐκροῦχ, черном. устье Кубани (Конст. Багр.), др.-русс. *Кърчевъ*. Ср. др.-инд. *kṛika*- «горло». См. раздел II.
54. \**kṛkan-dāta* «место у пролива»: Κοροκονδάτη (Страб.). Ср. \**kṛka*- (выше) и др.-инд. *dhāman* «жилище».
55. \**kṛka-vantī* «имеющая горловины»: *Coracanda* «Кубань» (Мела). Ср. \**kṛka*.-
56. \**kṛta*- «сделанный»? : *Coretus*, в синд. Скифии (Плин.: говорит об искусств. каналах).
57. \**kṛva-saita*- «коровий брод», Βόσπορος: Κουραζαίτοι, эмпорий (Жит. св. Ио. Готск.), *Ghersète*, «тур.» название Керчи (Дюбуа). Сложение \**kṛva*- (ср. авест. *srva* «рог») и \**saita*-, ср. др.-инд. *setu*- «мост».
58. \**kubā* «извилистая»: Κοῦφης, *Cuphis*, *Кубань*. Ср. др.-инд. *Kubhā* «река Кабул».
59. \**lagura*: Λαγύρα, таврское поселение (Птол.). Ср. *Lakur*, город в Индии.
60. \**lopa-takī*: Ἀλωπεκία, о-в в дельте Дона (Страб.). См. раздел II.
61. \**maian-dara-ia*- «пещерные меоты»? : *Meandaraei*, племя (Плин.). Ср. \**maita*- и \**dara*-, выше.



62. \**ma(ia)n-kar*- «гора меотов»? «материнская гора»? *Мансар*, Мангун, место в Крыму. Ср. \**maita*- и \**kar*-, выше.

63. \**maia-sarā* «меотьянка»: Μαῖωζάρα, женск. имя (эпигр. Боспора). Ср. \**maita*- и \**sarī*-, ниже.

64. \**maina-tara*:- *Menotharum*, река на Кавказе (Плин.). Ср. \**maita*-, ниже, и др.-инд. *tara*- «берег»?

65. \**maita*- «материнские»: Μαῖται «меоты» (босп. эпиграфика). См. выше, раздел I.

66. \**mar-ab*- «мертвая вода»: Μαρᾶβιος, река (Птол.).

67. \**marj*:- крым.-гот. *marzus nuptiae* (Бусбек), заимств. Ср. др.-инд. *mārya*- «жених».

68. \**marsanda*?: *Марсанда*, *Масандра*, в Крыму. Ср. др.-инд. *Marsī-andī*, река.

69. \**mer-mada*:- Μερμόδας, река, впад. в Меотиду (Страб.). Ср. др.-инд. *Narmadī*?

70. \**mes-plā*- «полная луна»: μέσπλην «луна» (Гесих.: скиф.). Ср. др.-инд. *mās* «луна», *prātā*- «полный».

71. \**mitraia*- «союзные»: Μιτραίων ὄρη, горы к вост. от Меотиды (Лук.). Ср. др.-инд. *mitraya*-.

72. \**nav-var*- «новый город»: Ναύ(β)αρις, Ναύαρον, город в Сарматии (Птол.), *Navarum* (Плин.) = Неаполь Скифский? См. еще раздел II.

73. \**ni-kakšin* «(находящийся) в низменной бухте»: Νίκαξις, место на кавк. побережье (Анон. Пер.), Νίχοφς (Конст. Багр.) = *Накопсе*? *Мыс-хак*? Ср. др.-инд. *ni-kakśā*- «подмышка» + суфф. -in.

74. \**oion* «остров»: Εον, синдский о-в (Плин.), *Oium* (Иорд.), Αἰαίη (Гом. Од.).

75. \**oritia*- «задний»: Ὀπισζᾶς, Таманск. зал. (Анон. Пер.). Ср. хетт. *apreziša*- «задний».

76. \**orianda*?: *Orianda*, *Ореанда*, место в Крыму. Таврский исход -nda.

77. \**pālaka*:- Πάλακος, имя скиф. царя (Страб.). Ср. др.-инд. *pālaka*- «защитник».

78. \**pālakia*:- Παλάκιον, таврский город и порт (Страб.), *Балаклава*. Произв. от предыд.

79. \**panda*: *Панда*, место в Симеизе; *Panda*, река к вост. от Меотиды (Тац.). Ср. др.-инд. *pāṇḍī* «желтоватый», «белый», «бледный».

80. \**pari-sara* «обтекание»: *Balisira* (Эвлия — эф.), *Белосарайская* коса. Ср. др.-инд. *parisara*-, *Парисара*, город в Индии (Птол.).

81. \**par(a)tā*: Πάρμα, личное имя собств. (эпиграфич.). Ср. др.-инд. *paramā*- «дальний», «лучший».

82. \**par-ōsta* «у устья»: *Parosta*, место в Тавриде (Плин.), Παρόστα (Птол.). Ср. др.-инд. *ōṣṭha*- «губы, уста». Ср. также \**salōsta*, \**rukōsta*, ниже.

83. \**pa(r)ta*- «гавань»: Πάτος, гавань (Псевдо-Скил.). Βάτά (Страб.), совр. Новороссийск. Ср. др.-инд. (пракр.) *pattana*- «город». См. \**su-pa(r)ta*-.

84. \**pa(r)taka*:- Βατάκος, личное имя собств. в Βατά. Производное от предыд.

85. \**pasa*?: Φаса, название склона горы в Крыму. Ср. др.-инд. *pakṣa*- «сторона»?

86. \**pauna*?: Παῦνα, личное имя собств. (босп. эпиграфика). Ср. др.-инд. *raavana*- «чистый»?

87. \**pitunda*: Πιτουνδα, на кавк. побережье. Ср. *Pithunḍa*, порт в Индии.

88. \**pr̥tu*:- \**pleteno*?- «широкий»? *Племенской* лиман, или Великой Луг, между Днепром и Конкой (XVIII в.). Ср. др.-инд. *prthu*-, *pratha*-na?

89. \**poika* «пастбище, луг»? *Бойка*, луговое плато в Крыму, стар. Ποικη (Мангуп. эпиграфика). Ср. Βόικι, местность белых сербов (Конст. Багр.)?

90. \**p(a)račina-* «восточный»? *civitas Parasinum*, в Тавриде (Плин.). Ср. др.-инд. *Prācya-*, народ, букв. «восточные», Πράσιοι (Страб.).

91. \**psat-* «песок»: Ψάττης (Страб.) = *Кумлы-Кубань* (Клапрот). Ср. греч. ψάμαθος.

92. \**pula* «город»? Φουλ(λ)αι, место в Тавриде (Жит. св. Ио. Гот.). Ср. др.-инд. *pur(a)*.

93. \**pura* «город»: *Pyrra*, город у Меотиды (Плин.). Ср. др.-инд. *pura* «город».

94. \**rokas* «светлый»: *Rocas, Rogas*, народ у Черного моря (Иорд.). Ср. др.-инд. *rokás* «свет».

95. \**ruk-ōsta?* «светлое устье»? *Рукуста*, дер. в юго-западном Крыму. Ср. др.-инд. *ruk-* (в слож.) «светлый», *ōṣṭha* «уста».

96. \**rukša-tar-* «белый берег»? *Rosso Tar*, в Зап. Крыму (ит. карты). См. раздел II.

97. \**rukši-nau-var-?*: Ρευξι-ναλοι, племя (декр. Дноф.). См. \**nau-var-* и раздел II.

98. \**salā* «сток»? «склон»? *Сала*, ряд мест в Крыму. См. еще \**sal-gir-*, \**sal-ōsta*. Ср. др.-инд. *sarā* «водопад».

99. \**sal-gat-?*: *Солхат* «Старый Крым». Ср. \**salā* и др.-инд. *gātī* «дорога»?

100. \**sal-gir(i)*: *Салгир*, река в Крыму. Ср. \**salā* и др.-инд. *giri:* «гора», также в назв. рек.

101. \**sal-ōsta* «устье гор \**salā*»: *Salusta, Алушта*. Ср. \**salā* и др.-инд. *ōṣṭha-* «уста».

102. \**sal(a)-tura?*: стар. *Чалтура*, соврем. *Челтера*, место в Крыму. Ср. др.-инд. *Salā-tura*.

103. \**saraka*: Σαράκα, место на реке Вардан (Птол.). Ср. др.-инд. *sarā-* «ручей», «пруд».

104. \**sar-i* «женщина»: [Σ]αρία, женск. имя (босп. эпиграфика).

105. \**sarikā*: Σαρίκη γυνή (босп. эпиграфика). Производное от предыд.

106. \**sarkar-* «камень»: *sacrium* «янтарь» (Плин.: скиф.), *Цукур, Сокур*, лиман. Ср. др.-инд. *śarkarā-* «камень», *Śarkarā*, позднее *Sukkur*, город.

107. \**sasa-* «заяц»? Σάσας, имя синда. Ср. др.-инд. *śaśā-* «заяц, кролик».

108. \**satt-arha-*: *Satarchei Spalaei*, племя в Тавриде (Плин.). Сложение с пракр. *satta* «7»: др.-инд. класс. *sapta-?* Ср. \**satt-auka-*.

109. \**satt-auka-* «семь уделов»: *Satauci*, племя в Тавриде (Плин.). См. раздел I.

110. \**sibi-* «болото»? *civitas Sibensis*, близ Таматархи. Ср. иллир. \**sib-* (Σιβέυτον)?

111. \**sibri-apa-* «светлая вода»: Σιβρίαπα, место на р. Вардан (Птол.). См. раздел II.

112. \**sili-* «каменный»: Σίλις, название Танаиса (Евст.). Ср. др.-инд. *śilā* «камень».

113. \**sindak-*: Σίνδαξ, личное имя собств. в Горгиипии. Производное от \**sinda(va)-*.

114. \**sinda(va)-*: Σίνδοι, народ (Герод., Страб., Стеф. Виз.), Σίνδος, личное имя в Горгиипии. Ср. др.-инд. *sindhava-*. См. \**sindu-*.

115. \**sindu-* «река»: *Sinus* «Танаис» (Плин.: скиф.). Ср. др.-инд. *Sindhu-* «река, Инд».

116. \**singula-/hingula-*: Συγγουλ (Конст. Багр.), *Ингул*. Ср. др.-инд. *Hingulā*, река.

117. \**siraka*:- Σίρακας, Σираκοί, народ (Страб.). Ср. др.-инд. *sirā* «река, вода».
118. \**sita*- «мост»: *Sita*, босп. город (Рав. Ан.). Ср. др.-инд. *setu*- «мост» и *krva-saila*-.  
 119. \**sitaka*:- Σιτ(τ)άκη, местность у Меотиды (Страб.). Ср. \**sita*- и др.-инд. *Setaka*.
120. \**sōl*? «солнце»: τῆ θῆϕ Σῶλ (надп. на Таман. п-ове).
121. \**sr-bi*:- *Serbi*, *Cephalotomi* (Плин.), Σέρβοι, народ на Сев. Кавк. См. раздел II.
122. \**su-pa(r)ta*- «добрая гавань»: *Suppatos* (Рав. Ан.) = Новорос-сийск. Ср. др.-инд. *su*- «хороший» и \**pa(r)ta*- (см.).
123. \**su-pat*-? \**sam-pat*-? «стечение путей»: *Cnam*, ст.-татар. *S[u]bat*, место на перекрестке путей в степном Крыму. Ср. др.-инд. *path*- «путь».
124. \**sur-uba* «кислая вода»: Σούρουβα, место на реке Вардан (Птол.). Сложение \**sur*- «кислый» и \**ab*-/\**ap*-, ср. \**mar-ab*-, выше.
125. \**su-varna*- «золотой»: Σουαρνοί, народ к сев. от Кавк. (Птол.). Ср. др.-инд. *svárṇa*- «золото», «красивый», «благородный».
126. \**su-vasa*- «доброе жилье»: *Soza*, город дандариев (Тац.), Σῶσα, место под Херсонесом (Конст. Багр.). Ср. др.-инд. *su*- и *vāsa*- «одежда, «защита».
127. \**ta(d)-bitī* «бьющая»: Ταβίτι, богиня скифов (Герод.). Ср. др.-инд. *tad* «это» и \**bitī* (см.).
128. \**tailap*:-? *Тайлан*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *Tailaparnī*, река в Индии?
129. \**taf*:-? Ταῖς, место на кавк. побережье и в Тавриде.
130. \**takanda*: *Таконда*, место в Крыму. Таврск. образование на -*nda*?
131. \**takata*:- *Таката*, река в Партените, Крым. Ср. др.-инд. *tākti* «спешить».
132. \**takṣaka*:- Τάξακας, царь скифов (Герод.). Ср. др.-инд. *Takṣaka*-, имя принца.
133. \**tarika*- «береговой»: Τοριχός, место на кавк. побережье (Пс.-Скил.) Ср. др.-инд. *tarika*- «паром, лодка».
134. \**tarita*:- Τορέται, народ на кавк. побережье (Скил.). Родственно предыд.
135. \**tarpata*:- Τάρπητες, народ (Страб.). Ср. др.-инд. *tarpa*- «плот, корабль».
136. \**tava-dara*:- Θεοδώρω, место в Крыму (XV в.). Сложение индоар. \**tava*- «сильный» и \**dara*- «пещера» (см.).
137. \**tem-arun-dā* «кормилица Черного моря»: *Temarundam* «Меотида» (Плин: скиф.). Ср. др.-инд. *tāmas*, *ārṇa*-. См. раздел I, выше.
138. \**tirgutaviā*: Τίργαταώ, имя жены синд. царя (Полиен). Ср. *Tirguta-wiya*, женск. имя в Передней Азии. См. раздел I, выше.
139. \**tukandita*:-? Τυκαυδείτων, этникон? (босп. эпиграфика). Производное на -*ita* от \**tukanda*, ср. \**tu*-/\**tava*- «сильный», др.-инд. *kāṇḍa* «ствол»?
140. \**tur(a)-ga*- «быстро идущий»: Τυργ[α], личное имя (синд.?). Ср. др.-инд. *turaga*.
141. \**tur-ambā* «быстрая вода»: Τοράμβη, место в Аз. Боспоре (Страб.). Ср. др.-инд. *turā*- «быстрый», *āmbi* «вода».
142. \**turī takā* «быстрое течение»: Τοριτάκη, место на Боспоре Кимм. Ср. др.-инд. *turā*-, ж. р. *turī*- «быстрый», *tākti* «спешить».
143. \**tiāgin*: *Teaginet*, *Tegine*, место на Боспоре Кимм. (Рав. Ан.), *Элтиген*; *Тягин*-, на нижнем Днепре. Ср. др.-инд. *tyāgin* «самоотверженный». См. выше.
144. \**ur-āgra*:- Πάγρα, гавань на кавк. побережье (Арриан). Ср. др.-инд. *urāgra*- «крайний». Ср. \**agra*-, выше.

145. \**ura-ga-* «змея»: *Урага*, гора близ Алушты. Ср. др.-инд. *urāga-* «змея». См. выше.

146. \**us-kṛd-ia-*?: Οὐσκάρδιοι, *Oscardeos*, племя (Плин.). Ср. \**uspa-*.

147. \**uspa-* «жилье»? : *urbem Uspen*, город сираков (Тац.). Производное с суфф. -*p-* от \**ues-/us-* «жить, пребывать»?

148. \**vānī-tika-* «ткаческий»? : *porta Vonitiche*, vel *Filatorum*, название ворот в Кафе (1455 г., генуэзск. документы). Ср. др.-инд. *vāṇī* «тканье»?

149. \**vr̥dan-*?: Οὐαρδάνης, река (Птол., Страб.), возм., рукав Кубани. Ср. *Шимардан*, деревня на Таман. п-ове. Ср. др.-инд. *Marud-vrdhā*, название реки Инд.

150. \**vr̥ikṣ-ava-* «бараний лоб»: Βριξάβα' χριοῦ μέτωπον (Пс.-Плут.). Ср. др.-инд. *vr̥ikṣa-* «перевоз» < «выросшее», здесь — «холм» (?), и *av-* «овца, баран».

## II

Хотя предпринятый выше пересмотр проблемы в пользу допущения более заметного вклада индоарийского элемента посвящен, так сказать, дославянскому периоду жизни этих земель, я попытаюсь показать на ниже-следующих примерах, что этой проблемой могли бы также заинтересоваться и слависты и что в результате мы можем обнаружить неожиданные связи там, где до сих пор зияют пробелы. Нижеследующие новые фактические дополнения и соображения, как мне кажется, интересны как материал для вечной темы, сформулированной в свое время покойным М. Фасмером: «*Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven*». Подзаголовком и собственным содержанием этого его давнего исследования о древнейших местах обитания славян явились, как известно, «Иранцы в Южной России». С мыслью о древнейших местах обитания славян мы говорим сегодня здесь об индоарийцах в Южной России, или, точнее, на Юге Европейской части СССР.

Нередко говорят об отсутствии у славян сношений с Боспорским царством; известен также тезис об отсутствии самих славян в античном Северном Причерноморье. Эти старые воззрения нуждаются в ревизии в том смысле, что между древнейшими местами обитания славян (мы намеренно избегаем менее удачный термин «прародина») и древним культурным районом Северного Причерноморья существовали связи и следы этих связей сохранились. Более того, названные связи, по крайней мере отчасти, относятся к индоарийскому компоненту северопонтийского населения. Наши наблюдения над реликтами этого рода касаются 1) этнонимов, 2) культурной лексики и 3) сведений о берегах Черного моря.

У латинских и греческих авторов раннего средневековья восточная часть тогдашнего славянства упоминается под названием Ὑσταί (Прокопий), *Antes* (Иордан). Эти названия, конечно, старше упоминаний о них в литературе. Кроме того, ясно, что название *анты* никогда не было само-названием славян, оно дано им извне. Обычно думают, что его дали иранцы. Любопытно, что, считая иранским, ученые сближали этот этноним с тохар. *ant* «равнина»<sup>9</sup>, с лексемой «слепой, темный», представленной как в авест. *anda-*, так и в др.-инд. *andhā-*<sup>10</sup>, и, наконец, с исключительно древнеиндийским *anta-* «конец, край»<sup>11</sup>. В результате такой уязвимой методики понятие «иранский» приобретало все более географический,

<sup>9</sup> G. Vernadsky, *Ancient Russia*, New Haven, 1943, стр. 82.

<sup>10</sup> T. Pekkanen, *The ethnic origin of the ΔΟΥΛΟΣΠΟΡΟΙ*, Helsinki, 1968 (= «*Arctos. Acta philologica Fennica*». Supplementum I), стр. 130—131.

<sup>11</sup> J. Rudnyčuk, *Etymological dictionary of the Ukrainian language*, I, стр. 27.

а не лингвистический характер. Начнем с того, что в этнической номенклатуре самих иранцев (скифов, сарматов) нет антов, а попытки выделить этот этноним в составе названий сарматских социально-этнических группировок *Limigantes*, *Arदारagantes*<sup>12</sup> вызывают сомнения. Тохарская этимология (выше) очень ненадежна, сближение с *anda*-«слепой» прежде всего встречает препятствие в фонетике. Остается наиболее импонирующее нам сближение <sup>13</sup> *Antai* с др.-инд. *anta*-«конец, край», безукоризненное фонетически, а также семантически, потому что так называемые анты в самом деле занимали юго-восточный край славянства, известный впоследствии под названием *Украина*. Следует отметить, что как раз иранцы так называть славян не могли, поскольку обозначали конец и край своим особым древним диалектным словом *\*karana-* (авест. *karana-*, осет. *kæron* и др.). Назвать восточных славян термином *\*anta-*, видимо, могло в силу изложенного индоарийское оседлое земледельческое население Юга Украины — возможно, скифы-земледельцы Геродота, подвластные собственно скифам-иранцам (кочевникам или царским скифам). Трудно, как нам кажется, не видеть территориального и этнического тождества этих подвластных скифов-земледельцев (*Σκύθαι Γεωργοί*), иначе *Scythae degeneres et a servis orti* «низкорожденные „скифы“, дети рабов» (Плиний) с «низкорожденными», «подлыми» синдами — *Sindi ignobiles* (Аммиан Марцеллин) тех же низовьев Днепра и примыкающих мест. Именно к ним, а, разумеется, не к славянам<sup>14</sup> применима живучая послегеродотовская легенда о «детях рабов» (греч. *Δουλόσπυροι*), отражающая индоарийско-иранские земледельческо-кочевнические социально-политические отношения в этом районе. Гегемония иранских скифо-сарматов над «низкорожденными» синдами (*Sindi*, сюда же *Si(n)done*), возможно, частично распространилась к западу, на соседних бастарнов, имя которых, неудачно толковавшееся из германского<sup>15</sup>, скорее всего восходит к иранскому эквиваленту (или прототипу) греческого *δουλόσπυροι* — *\*bast-arna-* «потомки рабов», ср. др.-перс., авест. *basta-* «связанный» и иран. *\*arna-*, родственное греч. ἄρνος «отпрыск». Связывать упомянутых «детей рабов» — дулоспоров после этого со славянами только на том основании, что, по Прокопию, в старые времена склавины и анты звались *Σπύροι*<sup>16</sup> (буквально «дети, потомки»!), было бы явной неосторожностью. Надо полагать, что древние славяне, подобно другим народам на ранней ступени развития, до оформления подлинных этнонимов называли себя «потомки, дети», «люди». «Мы Словѣни, проста чадь», — читаем мы в Житии Мефодия. Вполне возможно, что прокопиевское *Σπύροι* есть всего лишь перевод славянского *čedy* «дети, потомки».

Необходимо отметить, что и самоназвания некоторых славянских племен или племенных союзов ведут свое начало из Северного Причерноморья в широком смысле слова. Давно известно сближение у Погодина славянского этнонима *\*xъrvati*, *хорваты* с иранским личным собственным именем *Хоровадос* в эпиграфике Танаиса II—III вв. н. э.<sup>16</sup> То, что имя славянских сербов проделало примерно тот же путь, явствует из наличия так называемых античных сербов на Северном Кавказе. Еще Добровский считал, что птолемеевские *Σέρβοι* и плиниевские *Serbi* этих мест дали имя

<sup>12</sup> T. P e k k a n e n, The ethnic origin..., стр. 141; е г о же, On the oldest relationship between Hungarians and Sarmatians: from Spali to Asphali, UAJb, 45, 1973, стр. 11, 15 (с литературой).

<sup>13</sup> Отнесение традиции о *δουλόσπυροι* к славянам см.: T. P e k k a n e n, The ethnic origin, стр. 131.

<sup>14</sup> T. P e k k a n e n, The ethnic origin, стр. 109 (там же предшествующая литература).

<sup>15</sup> Там же, стр. 123.

<sup>16</sup> Литературу см.: Фасмер IV, 262; P. S k o k, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb, 1971, стр. 691—692.

позднейшему славянскому народу<sup>17</sup>; век критики подверг эту мысль сильному сомнению, хотя неудовлетворительность всех прочих объяснений<sup>18</sup> вынуждает — в свете также других вероятий — вернуться к упомянутой мысли вновь. Связь слав. \**srbi* и Σέρβοι, *Serbi* в античном Северном Причерноморье слишком очевидна. В другом месте я уже указывал на упоминание у Плиния рядом с меотскими керкетами (торетами) народа *Serri*, *Cephalotomi* (Плин. NH VI.16), что предлагается прочесть как *Serbi Cephalotomi*, причем, видимо, индоарийское *ser-bi* глоссировано греческим κεφαλοτόμοι, которое само по себе нигде не встречается как название особого народа, но только как эквивалент-перевод, ср. еще Σαραπάρας — κεφαλοτόμος у Страбона. Σαραπάρας отражает иранскую форму названия головы, ср. авест. *sārah-*, тогда как вокализм Σέρβοι (вар. Σίρβοι, Птол.) ближе к др.-инд. *śiras* «голова»<sup>19</sup>.

Сознавая всю ответственность шага, мы хотели бы коснуться здесь некоторых новых возможных аспектов происхождения этнического названия *Русь* в ряду рассматриваемых проблем. Самой сильной до настоящего времени считается скандинавская теория, и автор также практически разделял ее. Теория эта широко известна даже за пределами славянского языкознания; пользуясь этим, мы не приводим здесь ни ее аргументации, ни (огромную) литературу<sup>20</sup>. Впрочем есть в этой признанно веской теории и трудно разрешимые противоречия, на что тоже давно обращено внимание. «Тезис о том, что имя *Русь* является славянской передачей финского названия Швеции, которое через посредство какого-то другого, возможно, гунно-тюркского народа попало в форме Ῥως к ромеям (и арабам), до сих пор не доказан. До сих пор берега Понта и Меотиды остаются местом, где это имя впервые выступает перед нами в документированной истории»<sup>21</sup>. Документированная история этих мест действительно знает, например, упоминание народа *Hros* по соседству с амазонками, т. е. у Азовского моря, в середине VI в. (Церковная история Захарии ризотора<sup>22</sup>), т. е. за 300 лет до призвания варягов. Концом VIII — началом IX в. (т. е. тоже доваряжским временем) датируются упоминания племени *Русь*, Ῥως в Тавриде и на берегах Черного моря в житиях Георгия Амастридского и Стефана Сурожского<sup>23</sup>. Ср. также известное противопоставление Руси (юга) и новгородских словен, а главное — признание многими историками факта существования азовско-черноморской Руси<sup>24</sup> и раннего освоения восточными славянами Приазовья. Правда, и Маркварт, и Васильевский, и Лавров<sup>25</sup> удивительным образом приходили к выводу, что народ Ῥως в Тавриде и Приазовье все-таки был германским и даже готским, хотя готы всегда называются там своим именем, как и прочие германцы

<sup>17</sup> J. Dobrowsky, *Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur*, Prag, 1818, стр. 9.

<sup>18</sup> Включая пространную попытку выведения из кавказских языков: N. Županić, *Srbi Plinija i Ptolemeja. Pitanje prve pojave Srba na svetskoj pozornici sa historijskog, geografskog i etnološkog stanovišta*, «Зборник радова посвећен Ј. Цвијићу», Београд, 1924, стр. 555 и сл.

<sup>19</sup> О. Н. Трубачев, Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время, ВДИ (в печати).

<sup>20</sup> См.: Фасмер III, 522—523.

<sup>21</sup> J. Marquart, *Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge*, Leipzig, 1903, стр. 355.

<sup>22</sup> Там же, стр. 355—356.

<sup>23</sup> В. Г. Васильевский, *Русско-византийские исследования*. Выпуск второй, СПб., 1893, *passim*.

<sup>24</sup> М. В. Левченко, *Очерки по истории русско-византийских отношений*, М., 1956, стр. 34, 83, 84.

<sup>25</sup> П. Лавров, *Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві* (Розвідка), Київ, 1928, стр. 17.

этих мест — евдусиане, герулы. Теория Иловайского о роксоланах как росс-аланах <sup>26</sup> сильно дискредитировала и затруднила поиски в этом направлении, однако кажется, что продолжать искать надо именно тут, потому что при этом открываются связи имени *Русь* и значение его прототипа, как будто исключающие германскую этимологию. Мы вынуждены коснуться этих вопросов лишь кратко и предварительно. Коротко говоря, сюда относится название роксоланов — греч. Ῥωξολανοί (I—II вв. н. э., Страбон, Птолемей). Его толкуют по-ирански «светлые аланы», но иранский знает только форму \**rauxšna*- «свет, светлый», которая в этой позиции должна бы сохраниться <sup>27</sup>, чего не произошло. То, что имеется, напоминает др.-инд. *rukṣa*- с близким значением. Несколько не по-ирански звучит этническое название Ῥωξίναλοι из более раннего времени (херсонесский декрет в честь Диофанта, конец II — начало I в. до н. э. <sup>28</sup>), которое явно относится сюда же. Далее, сюда же реликты *Rosso Tar*, *Rossatar* на западном берегу Крыма, в старых итальянских картах <sup>29</sup>, и, наконец, деревня *Рукуста* в юго-западном Крыму. Есть основания полагать, что во всех этих названиях первый компонент значил «светлый, белый». Др.-русс. *Бѣлобережье*, район в низовьях Днепра, и, как мы думаем, явно покрывающее его гибридное *Roga-stadzans* у Иордана (второй компонент — гот. *stadja* «берег») помогают этому прочтению. Семантическим эквивалентом двух последних мы считаем упомянутое *Rosso Tar* «светлый берег», локализуемое в *Акмечетском* (тюрк. *ak*- «белый»!) заливе. Диофант оборонял Херсонес от тавров, местных скифов и несколько загадочных ревк-сиалов. Царская столица таврических скифов, известная у греков как Νέα πόλις «новый город», предположительно носила и эпитет «светлый», отголосок чего сохранился в татарском названии сопредельного Симферополя — *Акмечеть* «Белый храм». Смутным отголоском «скифского» или, скорее, «Белого Нового города» является, по нашему мнению, рассказ о чуде Стефана Сурожского, особенно в пересказе Жития Дмитрия Прилуцкого: «пришедь кнѣзь ѿ рѣскаго нова града...» <sup>30</sup>. Может быть, мы таким образом лучше поймем и знаменитый рассказ о деяниях Кирилла-Константина в Тавриде, который «обрѣте же тоу евангеліе и псалтирь роусьскими писмены писано...» (Жит. Конст. VIII). Первоучитель славян нашел здесь образцы письма не го́тов, но еще и не русских-славян, а возможно, местных псевдоскифов (ведь не совсем ясно, кого имел в виду Иоанн Златоуст, IV в. н. э., когда сообщил о том, что скифы перевели святое писание на свой язык <sup>31</sup>). Небезынтересно в связи с вышеизложенным отметить, что наличие форм *ruk*-, *roka*-, *rukṣa*- «светлый, блестящий» характеризует как раз древнеиндийский и отличает его от иранского, как и вычленяемое выше *tar*- «берег». Почему \**ruks*- не дало на славянской почве закономерное \**ruх*-? Почему мы имеем форму *Русь*, а не ожидавшуюся \**Рушъ*? Состоялось ли народнодиалектное упрощение *ks* > *s* (*s*) еще на

<sup>26</sup> Д. Иловайский, Разыскания о начале Руси, 2-е изд., М., 1882, стр. 144—145.

<sup>27</sup> В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, II, JL, 1973, стр. 437.

<sup>28</sup> В. Latyshev, Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini, I, Petrop., 1885, № 185.

<sup>29</sup> А. А. Шахматов, Варанголимен и Россофар, «Историко-литературный сборник. Посвящается Всеволоду Измаиловичу Срезневскому (1891—1916 гг.)», JL, 1924, стр. 166 и сл.

<sup>30</sup> В. Г. Васильевский, указ. соч., стр. CCLXXXVII — CCLXXXVIII. Предполагать здесь Новгород Великий элементарно невозможно; как было ясно еще прежним исследователям.

<sup>31</sup> M. Ebert, Südrußland im Altertum, Bonn — Leipzig, 1921, стр. 109.

дославянской почве<sup>32</sup>? Новая теория, как это нередко бывает, ставит вопросов больше, чем дает ответов. И тем не менее именно неподалеку от «рускаго нова града» (Неаполя Скифского?<sup>33</sup>) имел Кирилл еще один достоверный случай общения с этим загадочным населением: «Бѣше же во Фоульстѣ ѡзыци доубѣ великъ, срослѣся съ чрепнею, подѣ нимже требы дѣахоу, нарицающе именем Алѣксандрѣ, женьскоу полоу не дающе пристопупати къ нему, ни къ требамъ его» (Жит. Конст. XII). Естественно, язычники не могли назвать свое священное дерево крестным именем Ἀλέξανδρος, явившимся здесь лишь записью по созвучию туземного (индоарийского таврского?) \**alakša-dru-* «дуб-защитник» или «запретное дерево» (ср. др.-инд. *rākṣati* «охранять», греч. ἀλέξω то же, др.-инд. *d(a)ru-* «дерево»), которое не могло быть ни иранским, ни готским.

Поскольку план этнонимов — как важнейший — пришлось подать несколько шире, план культурных заимствований и древних сведений славян о берегах Черного моря придется изложить в заключение совсем кратко, также в силу мозаичности самих этих данных.

Из возможных апеллятивных культурных заимствований укажем на слав. \**srebro* из индоар. \**śub(h)ri apa* «светлая вода», ср. др.-инд. *śubhrá-* «красивый, светлый», ср. Σιβρίαπα на Кубани (Штол.)<sup>34</sup>.

Особую проблему, на которую я хотел бы еще обратить внимание, составляют лингвистически вскрываемые сведения у древних восточных славян о черноморском побережье и отражение в этой информации преемственности древних форм языка. Так, если тюрк. *Кирк-ер* и лат. *quadraginta castella* — о юго-западном Крыме — подводят нас к раскрытию в составе названий Τετραξ-ῖται, Τραπεζοῦς = *Чатыр-даг* некоего туземного \**četra dsa-* «сорок (городов)», то знание этого факта (тамошнего многоградья) собственно Русью подтверждается, например, и договором Игоря с греками 945 г. (Лавр. лет.): «А о Корсунѣстѣи странѣ, еликоже есть градъ на тои части, да не имать власти кнѣзѣ Русьскыи...»

Можно считать, что в V—VI вв. славяне вышли на берега Черного и Азовского морей. Тогда еще существовали тысячелетние боспорские города и синдомеотский элемент в них еще не совсем угас (в 703 г. в последний раз упомянута Фанагория, боспорский царь VI в. носил туземное имя Διοιποθύης, Διοιποθύος). В связи с этим мы этимологизируем др.-руск. *Кѣрчевъ*, *Керчь* не от *кѣрчиш* «кузнец» (Абаев), а от местного продолжения др.-инд. *kgka-* «горло» (город при горловине!), ср. сюда же Οὔκροῦχ (Конст. Багр.)<sup>35</sup>, синонимичное тюркскому *Богаз*, горловина перед бывшим черноморским устьем Кубани, и еще более древнему греч. τὸ Σινδίκον διὰ Σφραγῖα «синдская расселина» (Гиппонакт). Современное *Керчь*, раньше — *Керче*, итал. *Cherz* носит печать тюркского вокализма. Хорошо знаком был древнерусским племенам северный берег Азовского моря. Уже старшие русские летописи, говоря о походах XII в. в эти места, знают условно более древнее название местности: *Лукоморье*. *Лукоморье* или

<sup>32</sup> Так называемый «Золотой» берег — Χρυσός λεγόμενος — у Константина Багрянородного не есть ли греческая народная этимология (*chrys-*) предполагаемого нами местного первоначального \**rus-* «белый», так как речь идет о Белобережье? В Приазовье сюда могло бы относиться *Malo-rossa* с упомянутым упрощением *ks*, а также город Ρωσία, XII в.

<sup>33</sup> Эту идентификацию см.: А. И. Соболевский, Топонимические заметки, «Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии», III (60), Симферополь, 1929, стр. 1.

<sup>34</sup> О. Н. Трубачев, Серебро, сб. «Восточнославянское и общее языкознание» (в печати).

<sup>35</sup> Еще Татищев правильно увидел здесь вторичное тюркское наращение гласного в начале слова (см.: В. Н. Татищев, История Российская. В семи томах, I, М.—Л., 1962, стр. 188).



Лука моря «изгиб моря, залив», по данным Картотеки Древнерусского словаря, связывается главным образом с заливами северного азовского побережья и напоминает нам *Buges* или *Buces* у Плиния, которое обозначало тот же северо-западный угол Азовского моря и которое мы сближаем с др.-инд. *bhogá-* «изгиб», *Bhojá-*, название страны (этот корень известен также в германском, но около начала нашей эры, там конечно, еще не было никаких германцев).

«Всю ночь съ вечера бусови врани възграяху у Плѣсньска на болони, бѣша дебри Кисани и несопаша къ синему морю». Это место «Слова о полку Игореве» остается темным главным образом из-за загадок топонимии: *Плеснеск* или *Плесенск* искали в Галиции и близ Киева, а названия *Кисань* так и не нашли «на целой Руси»<sup>36</sup>. И, однако, Слово в данном пункте содержит точную, хотя и уникальную информацию об округе *Kisan*, *Kivzánovos* (XIV в.) в долине Алупшты, в Крыму. Это название, при всей его этимологической неясности и относительно поздней средневековой документации<sup>37</sup>, носит старый характер и локализуется в земле тавров. Контекст Слова лишь подтверждает наше сравнение и укладывает его в точный маршрут бусовых (?) воронов, которые «...были в долине Кисанской и понесли к Азовскому морю» (ибо *синее море* в древнерусской литературе — это Азовское море, ср. еще любопытное *Синяя вода* = Дон).

Во времена Страбона в донском устье был известен большой остров Ἀλωπεκία. В последние десятилетия XVII в. поступает известие об острове *Лютикъ*, «знатнейшем» из островов дельты Дона. Существует, далее, мнение, что страбоновская Алопекия и современный остров *Перебойный*, крупнейший в устье Дона, — это одно и то же. Итак, Ἀλωπεκία — *Лютикъ* — *Перебойный*. Задачу можно, кажется, решить, только предположив в основе всего преобразованное греческой народной этимологией слово туземного языка \**lopa-taka-*, или \**lopa-taki* «ломающее течение», ср. др.-инд. *lopa-* «прорыв, уничтожение», *tákti* «спешить, нестись». Связующую с греч. ἄλωψηξ «лиса» способствовало вероятное наличие близкого слова в местном индоарийском диалекте, ср. др.-инд. *lopāśá-* «лисица». И все-таки исконное значение туземного названия острова удержалось, вопреки всему, вплоть до наших дней, когда остров носит русское название *Перебойный* (= \**lopa-taka-*). История этих названий не лишена интереса и для русской лексикологии, потому что мы привыкли обозначать словом *лютик* только растение *Ranunculus sceleratus* и мотив этого обозначения коренится во вредных свойствах растения, причем слово *лютик* калькирует лат. *sceleratus* «преступный». Название донского острова *Лютикъ*, XVII в., не имеет ничего общего с этим ученым словом, появляющимся, по данным Картотеки Древнерусского словаря, только в лечебниках конца XVII в. (ср. случайную омонимию *Судак* в Крыму и *судак* «рыба»).

Суть всей проблемы, представленной выше, можно выразить так: дальнейшая жизнь имен и слов в Северном Причерноморье с античной эпохи вплоть до славянского, русского языка. Под впечатлением готских войн, переселения народов, гуннских и тюркских нашествий, от которых страдала эта земля, ученые неохотно верят в возможность этой дальнейшей жизни и даже сохранения остатков языка. И все-таки именно здесь таится многое нераскрытое для истории языка, как и для истории вообще.

<sup>36</sup> Ом. П а р т ы ц к и й, цит. по: В. Л. В и н о г р а д о в а, Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», 2., Л., 1967, стр. 183.

<sup>37</sup> А. Л. Б е р т ь е - Д е л а г а р д, Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде, «Зап. имп. Одесского общества истории и древностей», XXXII, 1915, стр. 238.

ЖУРАВЛЕВ В. К.

# ПРАВИЛО ГАВЛИКА И МЕХАНИЗМ ПАДЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ РЕДУЦИРОВАННЫХ

1. Почти столетие тому назад чешский лингвист А. Гавлик, исследуя закономерности процесса падения редуцированных в истории чешского языка, пришел к любопытному выводу: падение или сохранение («вокализация») славянских еров подчиняется правилам, аналогичным поведению французского *ə-muet*<sup>1</sup>. Ср. французское произношение *notre ami* (= *notr-ami*), *la pelite* (= *laptit*), *je ne te le ferai pas* (= *jen'tel'feraipas*) и славянское *ръпѣть* (= *ръпѣть*) ~ *ръпѣтати* (= *ръпѣтати*) и т. п. Это и послужило основанием для общепринятого разграничения «слабой» и «сильной» позиции еров и их подразделения на «слабые» и «сильные». Во всех славянских языках редуцированный был в слабой позиции «слабым» и падал в последнем конечном слоге и перед слогом с гласным «полного образования». Он был «сильным», если в следующем слоге был «слабый» редуцированный. Однако фактический материал свидетельствует, что правило Гавлика, в общем верное, знает многочисленные отклонения, имеющие общеславянский характер или специфические для отдельных славянских языков и даже для отдельных слов одного и того же языка, отмечены и дублетные образования (ср. русск. *доска* и *цка*).

Слависты приложили огромные усилия для выяснения процесса падения редуцированных, самым тщательным образом подсчитали число случаев с «правильным» и «неправильным» употреблением еров по памятникам славянской письменности, выдвинули ряд теорий и гипотез, нередко противоречивых. Эти противоречия отражаются и в терминологии: «еры», «иррациональные», «глухие», «неопределенные», «полугласные», «сверхкраткие» («Halbvocale», «po'samogłoski», «neurčité vocály», «voyelles ultra-brèves», «surd vowels», «half vowels», «indefinite vowels», «jers»). За последнее время интерес к проблеме редуцированных возрос: а) возобновились попытки вскрыть причины падения редуцированных<sup>2</sup>, с одной стороны, и б) выявить закономерности отступлений от правила Гавлика<sup>3</sup>, с другой. Оба эти направления получили весьма интересные новые результаты. Но осталась в тени проблема генезиса того поразительного явления, когда два смежных слога, предельно сближаясь, образуют как бы один слог. что в общем и отражается в правиле Гавлика. В предлагаемой статье делается попытка ответить на этот «старый» вопрос славистики.

<sup>1</sup> См.: A. H a v l i k, K otázce jerové v staré češtině, LF, 16, 1889.

<sup>2</sup> См.: R. A b e r n a t h y, Some theories of Slavic linguistic evolution, «American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963; В. В. К о л е с о в, Падение редуцированных в статистической интерпретации, ВЯ, 1964, 2; е г о ж е, К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в., ВЯ, 1968; 4; В. М. М а р к о в, К истории редуцированных в русском языке, Казань, 1964; W. M a ě c z a k, O zaniku jerów w staroruskim, SO, 18; и др.

<sup>3</sup> П. И в и ђ, О условима за чување и испадање полугласа у српскохрватском, «Xenia Slavica», The Hague — Paris, 1975 (там же литература).

## Т и п о л о г и я

2. Говоря о рефлексах редуцированных в славянских языках, отмечают, что (ь) сильный дал почти во всех славянских языках (е), а сильный (ѣ) чаще дает (о), иногда (ѡ) или (е). Затем добавляют, что в некоторых славянских языках оба редуцированных совпадают в (е) или (а). Но этого мало. Для фонологии более важно знать не акустическую, не физическую характеристику рефлексов прежних редуцированных в том или ином диалекте, а прежде всего наличие или отсутствие противопоставления рефлексов редуцированных. И тогда сразу же выяснится два типа отношений: 1)  $\text{ь} : \text{ѣ} \geq V_1 : V_2$ ; 2)  $\text{ь} \times \text{ѣ} \geq V$ .

В первом случае оппозиция сохранилась, но трансфонологизовалась ( $\text{ь} : \text{ѣ} \rightarrow (е : о)$  в русском, украинском, белорусском, македонском и словацком. Сюда же относится и болгарский, где выступает несколько иная пара гласных ( $\text{ь} : \text{ѣ} \rightarrow (е : ѡ)$ ). Во втором случае оппозиция не сохранилась, произошла полная конвергенция прежних редуцированных ( $\text{ь} \times \text{ѣ} \rightarrow е$ ) в польском, чешском, лужицких языках. В сербскохорватском здесь выступает  $a \leftarrow \text{ь} \times \text{ѣ}$ , в полабском  $\hat{a} \leftarrow \text{ь} \times \text{ѣ}$  и т. п.

Как конвергенцию обоих редуцированных можно рассматривать и общеславянскую судьбу «слабых», когда оба редуцированных совпали (конвергировали) в нуле звука  $\text{ь} \times \text{ѣ} \rightarrow \emptyset$ . Здесь и выясняется, что вокалическая оппозиция не исчезает полностью, а как бы передает признак, на котором она была построена, предшествующему согласному:  $(C + \text{ь}) : (C + \text{ѣ}) \rightarrow (C' + \emptyset) : (C + \emptyset)$ . Например, в русском языке: (*дѣнь*) : (*лѣнь*)  $\rightarrow$  *день* : *лѣн*. Такие же отношения наблюдаются и там, где оба ера сильных совпали в одной гласной:  $'(C\text{ь}) : (C\text{ѣ}) \rightarrow (C' + V) : (C + V)$ . Например, в польском языке (*лѣнь*) : (*лѣбѣ*) — *len* : *leb*, в русском *лѣн* : *лоб*, в чешском *stařec* (гъ) : *bratrem* (гѣ).

А это означает, что, исследуя «судьбу редуцированных» в славянских языках, нельзя ограничиваться лишь их отражением в вокализме, их следы отражаются и в консонантизме, на «судьбе» согласных, некогда предшествовавших редуцированным. И если мы хотим проследить судьбу оппозиции редуцированных, мы не имеем права ограничиваться лишь оппозицией ( $\text{ь} : \text{ѣ}$ ), а должны взять под самое пристальное внимание оппозицию сочетаний редуцированных с предшествующим согласным: а именно —  $(C\text{ь}) : (C\text{ѣ})$ . Здесь вновь напрашивается вывод о наличии в праславянском языке особых фонологических единиц — «силлабем», точнее — группофоном<sup>4</sup>, как единиц, состоящих из сочетания гласного с предшествующим согласным, объединенных общим признаком дизности и противопоставленных по этому признаку целиком —  $'(CV) : (CV)$ . И в данном случае, признавая или не признавая гипотезу о группофонах, мы должны признать, что в период, непосредственно предшествующий эпохе падения редуцированных, оппозиция ( $\text{ь} : \text{ѣ}$ ) не была полностью самостоятельной, а была теснейшим образом связана с предшествующим согласным. Иначе трудно объяснить, каким образом исчезновение вокалической оппозиции сохраняется в консонантной.

Итак, в праславянском языке имела место оппозиция  $'(C\text{ь}) : (C\text{ѣ})$ . В число «мягких» (дизных) группофоном не входили так называемые «исконно мягкие», шипящие и йот, все согласные, полученные славянскими языками в результате процесса йотации, т. е. и то, что в старославянских рукописях отмечается особым знаком,  $\text{Ј}$ ,  $\text{Р}$ ,  $\text{Н}$ . Еще задолго до образования редуцированных позиция после (j) была позицией нейтрализ-

<sup>4</sup> См.: В. К. Журавлев, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4.

зации всех гласных переднего и заднего ряда. Здесь никогда не было и не могло быть оппозиции передний — задний редуцированный, как не было и оппозиции дизезный — недизезный «исконно мягкий». Сочетания с «исконно мягкими» не входили в «мягкостную корреляцию слогов» и не образовывали слогового сингармонизма. После справедливой критики Ван-Вейка<sup>5</sup> в адрес Р. О. Якобсона это стало совершенно очевидно. При исследовании судьбы оппозиции редуцированных сочетания с «исконно мягкими» необходимо рассматривать особо.

3. Исследуя «судьбу» фонологической оппозиции  $(C\check{ь}) : (C\check{ь})$ , необходимо выяснить, сохранилась или нет эта оппозиция. Это и ляжет в основу типологической классификации славянских языков по «рефлексам редуцированных».

Тип А: оппозиция  $'(C\check{ь}) : (C\check{ь})$  сохраняется.

Тип В: оппозиция не сохраняется, конвергировала:  $'(C\check{ь}) \times (C\check{ь})$ . Наиболее последовательно тип В представлен в сербскохорватском языке, где оппозиция полностью конвергировала и следов прежних отношений не сохранилось ни в вокализме, ни в консонантизме: *lân, dân, cân*. Сюда же относится и словенский язык, где различие рефлексов редуцированных ( $\check{a} : a$ ) обусловлено не прежним противопоставлением по ряду, а новым, местным противопоставлением по долготе: *sên, vês* и *dân, vâs, mâh* ( $\check{ь} \times \check{ь} \rightarrow \check{a}$ ;  $\check{a} \rightarrow \check{a} \div a$ ;  $\check{a} \times a \rightarrow a$ ).

В типе А возможность сохранения прежней оппозиции дает три варианта.

1) Оппозиция сохраняется и в вокализме, и в консонантизме. Типичным представителем таких отношений является русский язык, ср.:  $(den') :$

$:(don); \frac{e:o}{C':C}$ .

2) Оппозиция сохраняется в вокализме и отсутствует в консонантизме. Типичным представителем этих отношений является македонский язык, ср.: *ден, сон, зол, старец*;  $\frac{e:o}{C}$ .

3) Оппозиция сохраняется в консонантизме и не сохранилась в вокализме. Здесь типичным представителем является польский язык, ср.: *pies, len, orzeł, dzeń, sień, koceł, pień, wesz, łeb, denko, sen, mech, wieś*;  $\frac{e}{C':C}$ . Сюда же, как отмечалось выше, относится тот случай, когда в качестве рефлексов оппозиции прежних слабых редуцированных выступает оппозиция согласных  $'(C\check{ь}) : (C\check{ь}) \rightarrow \frac{\emptyset}{C':C}$ . Ср., например, в чешском: *řka ~ rtu, prapor ~ tvař*, в русском: *денька, льна, редька*, в польском: *ćma, pański, silna* и т. д.

Полное несохранение оппозиции с прежними слабыми редуцированными и в консонантизме относится уже ко второму (В) типу  $'(C\check{ь}) : (C\check{ь}) \rightarrow \frac{\emptyset}{C}$ .

Типичным представителем таких отношений является современный болгарский литературный язык, ср.: *ден, път, свадба, болна, горка* и т. п.

Все эти отношения можно представить на таблице (стр. 33).

4. Как уже отмечалось, для того или иного языка более характерно то или иное типологическое соотношение. Но в то же время в фонологической системе почти любого из языков в различных позициях или для различных коррелятивных пар согласных наблюдаются и другие типологические соотношения (ТС).

Так, в русском языке наблюдается в некоторых случаях ТС — А<sub>3</sub>,

<sup>5</sup> См.: Van N. Wijk, Zur urslavischen sogenannten Synharmonismus der Silben, «Linguistica Slovaca», 3, 1941.

Оппозиции		Типы	
вокалические	консонантные	сохранение	конвергенция
		(C' : C)	(C'XС)
сохранение (ь : ъ,		$A_1 \quad \frac{V' : V}{C' : C}$	$A_2 \quad \frac{V' : V}{C}$
конвергенция (ь X ъ)		$A_3 \quad \frac{V}{C' : C} ; \frac{\emptyset}{C' : C}$	$B \quad \frac{V}{C} ; \frac{\emptyset}{C}$

более характерное для польского языка: (л'он) : (лоб). В положении перед твердым слогом вокалическая оппозиция не сохранялась, здесь оба рефлекс еров совпадают в одном. Такое же ТС — A<sub>3</sub> находим в русском языке для слабых еров: (л')стец, де(н'). Есть в русском языке и ТС — В. Это случаи более позднего отвердения согласных в позиции перед согласным. Этот процесс продолжается и в настоящее время: *молодца* (дѣ), *Смоленск* (нѣ), *правда* (шѣ), *водный* (дѣ), *потный* (тѣ), *золотка* (шѣ), *домна* (тѣ), *донца* (нѣ). Вероятно, сюда же следует отнести и пример с вокализовавшимся слабым ером: *доска* (< \*disk-). Таким образом, для русского языка общую формулу «суммы» ТС можно записать:

$$'(C_b) : (C_ъ) = \frac{e : o}{C' : C} + \frac{o}{C' : C} + \frac{\emptyset}{C' : C} + \frac{\emptyset}{C} = A_1 + A_3 + B.$$

Для украинского языка (A<sub>1</sub>) не характерно, а в литературном языке все согласные перед *e* < \*ѣ твердые (A<sub>2</sub>). Для слабых еров более характерно (A<sub>3</sub>), хотя число случаев того же подтипа с вокализовавшимся ером (типа русск. л'он), а также на ТС — В — меньше, чем в русском языке. Общая формула для украинского языка выглядит так:

$$'(C_b) : (C_ъ) = \frac{e : o}{C} + \frac{\emptyset}{C} + \frac{\emptyset}{C' : C} + \frac{o}{C' : C} = A_2 + A_3 + B.$$

В македонском языке следов консонантной оппозиции нет: *темница*, *ден*, *сон*. Изредка встречаются и следы конвергенции вокалической оппозиции: *лав* (lъ), *лаж* (lъ), *магла* (тъ), *макне* (тъ). Формула македонского языка выглядит так:

$$'(C_b) : (C_ъ) = \frac{e : o}{C} + \frac{\emptyset}{C} + \frac{a}{C} = A_2 + B.$$

В северомакедонских говорах объем вокалической оппозиции более узок: в корнях на месте обоих еров выступает *a*, при сохранении оппозиции в суффиксах: *сан*, *дан*, но *петок*, *мртовец*, *лесен*:

$$\frac{(e : o) + a}{C} = A_2/B.$$

В сербскохорватском полностью отсутствуют следы оппозиции: '(Cъ) × × (Cъ) конвергировали целиком:

$$'(C_b) : (C_ъ) = \frac{a}{C} + \frac{\emptyset}{C} = B.$$

Аналогичные отношения — в словенском (см. выше). Близки к словенскому в этом плане чакавские (*dân* ~ *denēs*) и кайкавские говоры сербскохорватской изоглоссной области.

В современном чешском языке объем ТС—А<sub>3</sub> по сравнению со старочешским значительно сужен, в истории чешского языка наблюдалась постоянная тенденция перехода к типу (В). Общая формула современного чешского выглядит так:

$$'(C_b):(C_b) = \frac{e}{C:C'} + \frac{\emptyset}{C:C'} + \frac{e}{C} + \frac{\emptyset}{C} = A_3 + B.$$

Почти не сохранилась консонантная оппозиция в группах согласных (*stařec*, но *starce*, *řka*), лишь sporadически сохраняется оппозиция для некоторых согласных в конце слова (*zvěř*, *zed'*, *lod'*, *den*, *kost*).

В современном польском языке преобладает ТС — А<sub>3</sub> (*sen* ~ *sień*), но встречается и ТС — В: *godny* (*db*), *koceł* — *kotta*, *orta*, *starca*, губные в конце слова отвердели. Таким образом, общую формулу для современного польского можно представить так:

$$'(C_b):(C_b) = \frac{e}{C:C'} + \frac{\emptyset}{C:C'} + \frac{\emptyset}{C} = A_3 + B.$$

С некоторой осторожностью можно предположить, что в старопольском кое-где сохранилась и вокалическая оппозиция. Так, в топонимике на месте соврем. *Łekna* (\**lъkъna*) в старых записях находим *Lokna* (1153 г.) и *Lukna* (XIII в.).

У лужичан чаще представлено (А<sub>3</sub>):  $\frac{e}{C:C'} + \frac{\emptyset}{C:C'}$ ; в.-луж.: *pjeńk*, *dzeń*, *len*, *lesć*, *wjes*, *sćežka*, *ćeńki*, *mjeńši* — *dešć*, *weš*, *krej* < (*krъwъ*), *teptać*; н.-луж.: *peń*, *jeřeł* — *mech*, *kšej* (*krъwъ*), *seń*, *puś*, *žeńska*. Здесь же встречается и  $\frac{o}{C:C'}$ : в.-луж. *worjol*, *lochki* — *rot*, *son*, *won*, *moch*, *woś*, *wozmi*.

Еще реже отмечается полная конвергенция:  $\frac{o}{C}$ , в.-луж.: *woś* (*wъ*), *pos* (*pъ*), *kotol*. В какой-то степени здесь можно говорить о непоследовательном и зачастую параллельном сосуществовании нескольких ТС, в том числе и оппозиции  $\frac{e:o}{C:C'}$  (А<sub>1</sub>); в.-луж. *wjes*: *woh*, *mjeńši*: *moch*.

Своеобразна рефлексия прежней оппозиции  $'(C_b):(C_b)$  в полабском. Здесь отмечается А<sub>3</sub> =  $\frac{a^o}{C:C'}$  — *l'ān*, *p'ās*, *t'āmāvās*, *tākāc*, *sāpat*, *rāt*, *kātū*. Такое состояние наблюдается в позиции перед твердым последующим слогом. В позиции перед последующим мягким слогом отмечается А<sub>2</sub> =  $\frac{a:a^o}{C}$  — *vas* (*wъśъ*): *vās* (*wъśъ*). Встречается и полное несохранение прежней оппозиции в кратком (конечном) слове:  $\frac{ā}{C}$  = *t'āipāc* (*pъ*), *v'ūvās* (*vъ*), *p'o-sāk* (*ъ*). Здесь, кроме того, депалатализировались все согласные в конечной и преконсонантной позиции  $\frac{\emptyset}{C}$ . Поскольку это возможно реконструировать, полабская формула выглядела так:

$$'(C_b):^o(C_b) = \frac{a^o}{C:C'} + \frac{a:a^o}{C} + \frac{\emptyset}{C} = A_3 + A_2 + B.$$

В полабском отмечается еще рефлексия сильного (ъ) как (е) (позиция после заднебных с последующим мягким слогом и палатализацией заднебного: *lūt'et* «локоть»). Но это не входит в формулу, ибо в позиции после заднебного еры не противопоставлялись: здесь был возможен лишь задний редуцированный.

Удивительно разнообразна рефлексия редуцированных по диалектам словацкого и болгарского языков. Здесь можно встретить любое типологическое соотношение и весьма разнообразное сочетание ТС в одном диалекте.

В среднесловацких говорах широко распространено ТС— $A_1$ , столь характерное для русского языка:  $\frac{e:o}{C:C'}$ . Перед  $e < \text{ь}$  согласный палатализован (на письме не передается): *deň* (*den'*), *pes*, *otec*, *švec*, *lest'*, *ves* ~ *voš*, *von*, *lož*, *rož*, *dosk*, *bočka*, *posol*. Правда, объем коррелятивных пар согласных по говорам различен: раньше отвердевают губные, затем ден-тальные спиранты. А это означает, что здесь будет не только  $\frac{e:o}{C:C'}$ , но и  $\frac{e:o}{C}$ . В том же среднесловацком наречии встречается и  $e < \text{ѣ}$ , естественно, с предшествующим твердым согласным: *bedlivy*, *deptat'*, *pevny*, *necet'*, *ker*, *lesk*. А это означает, что для соответствующих пар согласных и по отдельным наречиям здесь будет либо  $\frac{e}{C:C'}$ , либо  $\frac{e}{C}$ . Таким образом, здесь представлены четыре из возможных ТС. В западном и восточном наречиях чаще наблюдается конвергенция вокалической оппозиции. В восточном:  $\frac{e}{C:C'}$  (*l'eki*, *zeň*, *pišetni* ~ *sen*, *denko*, *bečka*) при спорадическом ( $e : \text{ѣ}$ ) либо ( $e : o$ ): *vaš*, *mačh*, *bačka*, либо *bočka*, *močh*. Отсюда — междиалектная и даже внутридиалектная омонимия, параллельные употребления форм на *e/o* или *e/ѣ*: *s'vekor* — *s'veker*, *s'l'ivak* — *s'livek* — *s'livok*. Западнословацкое наречие ближе к чешскому состоянию:  $\frac{e}{C} + \frac{e}{C:C'}$  (*sen*, *ven*, *veš*, *podešva* — *zeň*, *čenki*). При этом на месте результата конвергенции выступает то  $e$ , то  $a$ . В сотацком наречии, где, кстати, наиболее последовательна консонантная оппозиция, появление  $e : a$  не обусловлено прежними отношениями  $\text{ь} \times \text{ѣ} \rightarrow \text{ä/e}$ , как в словенском: *chlarp'ác*, *pal'ác*, *m'as'ác*, но *pes*, *ov'es*, *lok'es*  $\frac{\text{ä/e}}{C:C'}$ . На северо-западе среднесловацкого наречия наблюдаются отдельные случаи  $-a-$  рефлекса то на месте  $\text{ѣ}$ , то на месте обоих редуцированных: *daska*, *dážd'*, *zmak*, *mačh*, *raž* — *l'an*, *chrbat*, *kotal*, т. е. здесь возможны  $\frac{e:a}{C':C}$ ;  $\frac{e:a}{C}$ ;  $\frac{a}{C':C}$ ;  $\frac{a}{C}$  — все четыре из вероятных типологических состояний. На запад заходит и характерная среднесловацкая рефлексация (при  $\text{ь} \times \text{ѣ} \rightarrow a$ ,  $\text{ѣ} : \text{ѣ} \rightarrow e : o$ ): *podošva*, *močh* и *mačh*; *česnok*, *cesnak*; *lan*, *ražen* и *som*, *padol*, *dochnút*, *patok*, *orol*.

Все типологические состояния представлены и в говорах болгарского языка: ( $A_1 = \frac{e:ѣ}{C':C}$ ) согласные перед рефлексом  $^*\text{ѣ}$ -палатализованы (северо-восточные говоры). Там же встречается конвергенция вокалической оппозиции при сохранении консонантной ( $\text{ѣ} : \text{ѣ} \rightarrow \text{'ѣ} : \text{ѣ}$ , т. е.  $\text{ь} \times \text{ѣ} \rightarrow \text{ѣ}$ ):  $\frac{\text{ѣ}}{C':C}$  — *сън*, *тъмно* — *п'ѣн*, *т'ѣмно* (ТС —  $A_3 : \text{л'ѣн} : \text{сън}$ , *л'он* : *сон* ~ *санувам*). Здесь встречается и ТС — В, полная конвергенция прежней силлабемной оппозиции  $\text{'(Cѣ)} : (\text{Cѣ}) \rightarrow \frac{V}{C}$ , но это — редко, в безударном положении. Переходным состоянием между ( $A_1$ ) и ( $A_3$ ) можно рассматривать ситуацию и в балканских говорах, где в ударенной позиции наблюдается ТС —  $A_1 = \frac{e:ѣ}{C':C}$ , а в безударной  $\frac{\text{ѣ}}{C':C}$  (*dép'ѣt* — *сън*).

Типологическое соотношение ( $A_2$ ) отмечается в северо-западных болгарских говорах  $\frac{e:ѣ}{C}$  (*ден*, *лен*, *орел*, *овес*, *сън*; *бъчва*, *дъш*), там же наблюдаются некоторые случаи полного отсутствия оппозиции  $\text{'(Cѣ)} \times (\text{Cѣ}) \geq \frac{\text{ѣ}}{C}$  (В) (*мъгла*, *тъмен*, *тънък*). Чем западнее болгарские говоры, тем больше увеличивается объем ТС—В =  $\frac{a}{C}$  (*даш*, *бачва*, *данак*, *песак*, *танак*,

пан), а при сохранении ТС —  $A_2$  вокалическая оппозиция получает иной характер: ( $\text{ь} : \text{ѣ}$ )  $\rightarrow$  ( $\text{е} : \text{а}$ ), либо ( $\text{е} : \text{о}$ ). Относительно широко распространена морфологизация: ТС — В — в корнях, а ТС —  $A_2$  — в суффиксах и приставках: *восок, возвива, сос дѣш, сѣн, мѣгла, тѣнок* и т. п.

Аналогичная морфологизация как реликт более раннего состояния (отсутствие вокалической конвергенции) наблюдается и в сербскохорватской изоглоссной области. Так, в говоре ципов, описанных Малецким, рефлексом обоих еров выступает *-о-* в суффиксах и *-а-* в корнях. Можно полагать, что специальное исследование этого явления позволит обнаружить новый материал, свидетельствующий о сохранении некоторых следов прежней корреляции ( $C\text{ь}$ ) : ( $C\text{ѣ}$ ).

В Родопах можно встретить самые разнообразные вариации всех четырех ТС с весьма разнообразными переходными случаями. Эти «переходы» от одного ТС к другому здесь чаще всего осуществляются за счет различий в вокализме  $\text{ь} : \text{ѣ} \geq 'V : V$  (дизность)  $= 'V : ^\circ V$  (дизность и бемольность)  $= V : V$  (подъем)  $= ^\circ(V : V)$  — подъем при общей лабиализации. Ср.: *лен : сѣн, лен : сѣн, л'ѣн : сѣн, л'ѣн : сѣн, л'он : сон*. При этом, если вокалическая оппозиция строится на признаках дизности (и бемольности), то консонантная оппозиция может и не сохраняться (ТС —  $A_2$ , наряду с ТС —  $A_1$ ):  $\frac{'V : V}{C' : C'}$ ;  $\frac{'V : ^\circ V}{C' : C'}$ ;  $\frac{'V : ^\circ V}{C}$ ;  $\frac{'V : ^\circ V/V}{C}$ . Если же вокалическая оппозиция строится на признаке подъема, то консонантная оппозиция сохраняется как и в случае конвергенции вокалической оппозиции:  $\frac{V : V}{C' : C'}$ ;  $\frac{^\circ(V : V)}{C' : C'}$ ;  $\frac{V}{C' : C}$ ;  $\frac{^\circ V}{C' : C}$ ;  $\frac{^\circ V/V}{C' : C}$ ;  $\frac{V/V}{C' : C}$ .

Вообще здесь значительную роль играет соотношение ударенных и безударных слогов как для вокалической оппозиции, так и для прежней силлабемы в целом. Как правило, признак бемольности характерен лишь для ударенной позиции:  $'V : ^\circ V \rightarrow 'V : V$ ,  $^\circ(V : V) \rightarrow V : V$ ,  $'V : ^\circ V \rightarrow V$ . Существовало, что вокалическая оппозиция по подъему (как и ее отсутствие) проявляется в безударном положении как дизная, сохраняя прежний ДП:  $^\circ(V : V) \rightarrow 'V : V$  (*дѣш ~ дѣждѣ, тѣвно ~ тевница*),  $^\circ V \rightarrow 'V : V$  (*л'ѣсно ~ леснинѣ, сѣн ~ санувам*). В последнем случае наблюдается своего рода парадокс: слабой позицией, позицией неразличения, нейтрализации («редукции») оказывается ударенная, а сильной позицией для прежней оппозиции ( $\text{ь} : \text{ѣ}$ ) оказывается безударная. Но никакого парадокса не будет, если данную систему оппозиций рассматривать не как рефлекс только вокалической оппозиции ( $\text{ь} : \text{ѣ}$ ), а как рефлекс оппозиции

силлабем:  $'(C\text{ь}) : ^\circ(C\text{ѣ}) \rightarrow \frac{^\circ V}{C' : C'} + \frac{V' : V}{C}$ . Прежняя оппозиция сохраняется как консонантная в ударенном и как вокалическая в безударном положении. Нередки случаи, когда, наоборот, сохранение вокалической оппозиции под ударением при конвергенции консонантной компенсируется сохранением консонантной оппозиции в безударной:  $\frac{'V : ^\circ V}{C} + \frac{V}{C' : C}$ ;

$\frac{'V : ^\circ V}{C} + \frac{V : V}{C' : C}$ ;  $\frac{'V : V}{C} + \frac{V}{C' : C}$  (*лѣсно : сѣн ~ рѣждѣсало : л'ѣснинѣ*). И здесь

наблюдается несколько неожиданное явление: сохранение мягкости (или смягчение «полумягких») в безударных слогах и «отверждение» (или, наоборот, сохранение «исконного» несмягчения) в слогах ударенных. При этом буквально в соседнем селении можно встретить обратное состояние  $\frac{'V : V}{C' : C} + \frac{V : V}{C}$ ;  $\frac{'V : ^\circ V}{C' : C} + \frac{V}{C}$ ;  $\frac{V}{C' : C} + \frac{V : V}{C}$  (*л'ѣн : сѣн; дѣш ~ даждѣт : леснинѣ ~ л'ѣсно*). Встречаются случаи морфологизации, выхода из чисто



фонологической позиционной обусловленности в морфологическую: одно ТС в корнях, другое — в суффиксах и приставках: *т'свинѧ*, но *болен* ( $A_1 \sim A_2$ ).

### Анализ фактических данных

5. На основании этого весьма сжатого обзора типологии<sup>6</sup> праславянских рефлексов редуцированных можно сделать следующие выводы:

1) Ретроспективное изложение данных истории и типологии славянских редуцированных позволяет реконструировать исходное состояние такой вокалической оппозиции, которая была тесно связана с консонантной оппозицией, что в свое время предложено назвать *силлабемой* (группофонемой).

2) Группофонемы с редуцированными противопоставлялись целиком по признаку дизности, следы которого широко представлены либо в консонантных ( $C' : C$ ), либо в вокалических оппозициях ( $V : V$ ,  $V : ^\circ V$ ). Спорадически встречается и признак лабиализации (бемольности), лишь очень редко выполняющий дистинктивную функцию в вокалических оппозициях. Это связано с тем, что еще в процессе генезиса группофонем признак дизности был дифференциальным, а бемольности (лабиализации) — интегральным<sup>7</sup>.

3) Хронологическая и географическая иерархия типологических соотношений для рефлексов редуцированных характеризуется общей тенденцией усиления вокалических и консонантных оппозиций вглубь веков и с юго-запада на северо-восток, общей тенденцией ослабления корреляции  $'(Cъ) : (Cъ)$  в обратном направлении. Это вполне соответствует установленной ранее хронологии процесса падения редуцированных у южных, западных и восточных славян.

4) Наиболее архаическим является, безусловно, ТС —  $A_1$ :  $\frac{V : V}{C' : C}$ , типологически более близкое к исходному  $'(Cъ) : (Cъ) = \frac{ъ : ъ}{C' : C} = \frac{V : V}{C' : C}$ . Здесь прежнее полезное противопоставление дублируется и в консонантной, и в вокалической оппозиции, а в случае  $V : ^\circ V = e : o$  и т. п. даже дважды. Такое дублирование избыточно и с течением времени может утратиться.

5) Утрата избыточного дублирования может идти путем нейтрализации (от позиции к позиции) к полной конвергенции прежней вокалической оппозиции (ТС —  $A_3$ ,  $\frac{ъ : ъ}{C' : C} \rightarrow \frac{V}{C' : C}$ ). Бесспорно, неразличение в русском *л'он* ~ *лоб*, или польском *len* ~ *leb*, чешском *len* ~ *leb* восходит к различению *lъnъ* ~ *lъbъ*. Здесь еще раз следует подчеркнуть, что и падение слабых редуцированных есть снятие прежней вокалической оппозиции, их совпадение, конвергенция в нуле звука:  $ъ \times ъ \rightarrow \emptyset$ .

6) Устранение избыточного дублирования может идти и за счет нейтрализации (от позиции к позиции, от одной коррелятивной пары к другой) к полной конвергенции консонантных оппозиций (ТС —  $A_2$ ,  $\frac{ъ : ъ}{C' : C} \rightarrow \frac{V : V}{C}$ ).

<sup>6</sup> Здесь речь идет о «внутренней» типологии близкородственных языков. Блестящие опыты «внешней» типологии языков с открытыми слогами Мартине (1952), Петровича (1958) и других позволили вскрыть взаимосвязь прекращения тенденции к открытому слогу с другими фонетическими процессами как внутри истории французского, румынского или японского, так и в истории праславянского. Аналогичные явления встречаются и в других языках. Обобщению данных «внешней» типологии будет посвящена особая работа.

<sup>7</sup> См.: В. К. Ж у р а в л е в, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке.

Естественно, и здесь неразличению предшествует различение, ср. отверждение конечных губных в русских говорах и в польском языке, болгарское отверждение конечных согласных, мягкость которых проявляется в членной форме (*пѣтъ ~ пѣтя*), весьма распространенное отверждение согласных в преконсонантной позиции (типа русск. *домна, доменный* и т. п.), а также сокращение числа коррелятивных пар по мягкости в истории чешского языка и т. д. Отверждение (частично позиционное или полное) «полумягких», как и делабиовеляризация твердых — всеобщий славянский процесс снятия прежней избыточной консонантной корреляции.

7) Типологическое соотношение  $B\left(\frac{V}{C}, \frac{\emptyset}{C}\right)$ , несохранение прежнего противопоставления ни в вокализме, ни в консонантизме как в отдельных позициях, так и в целом, безусловно, является инновацией. Показательно, что нет ни одного славянского языка, где бы не было зафиксировано это типологическое соотношение (ТС) хотя бы для отдельных позиций или консонантных групп. По крайней мере история чешского языка свидетельствует о постоянном увеличении продуктивности данного ТС, менее наглядно эта тенденция проявляется и в других славянских языках.

Итак, здесь имеет место процесс распада группофонема, процесс постепенной трансформации силлабемной корреляции в консонантные и вокалические оппозиции путем поэтапной нейтрализации к полной конвергенции.

$$(Cb) : (C\emptyset) \geq \frac{b : \emptyset}{C' : C} \rightarrow \frac{V : \emptyset}{C' : C} \xrightarrow{\begin{array}{c} \xrightarrow{V/\emptyset} \\ \xrightarrow{V/\emptyset} \end{array}} \frac{V/\emptyset}{C}$$

### П р и ч и н ы и м е х а н и з м

6. Совершенно прав В. В. Колесов: «Силлабемы разрушились не потому, что исчезли слабые редуцированные; наоборот, слабые редуцированные исчезли фонетически, потому что силлабемы утратили значение фонологически самостоятельных единиц»<sup>8</sup>. Но причины<sup>9</sup> «раскалывания» силлабем уходят далеко вглубь праславянской эпохи. Уже первая палатализация и йотация обусловили нейтрализацию оппозиции *ĭ. ĭ̇ → ĭ*. Нейтральные группофонема не входили в мягкостную корреляцию слогов. И это — первый шаг вокалической нейтрализации, первая позиция неразличения «редуцированных». Дальнейшее развитие этой нейтрализации приведет к таким явлениям, как русская вокалическая нейтрализация типа *л'он, н'ос* и т. п. Далее, монофтонгизация дифтонгов привела к таким сочетаниям гласного с предшествующим согласным, которые противоречили принципу группового сингармонизма: признак диезности становится релевантным для согласных и гласных; группофонема начинают распадаться, идет процесс формирования уже относительно автономных систем вокализма<sup>10</sup> и консонантизма. Третья палатализация, действовавшая через границу слога (силлабемы), уже основательно разрушала силлабемы.

<sup>8</sup> В. В. Колесов, К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в., стр. 86.

<sup>9</sup> В. К. Журавлев, Генезис группового сингармонизма в праславянском языке. АДД, М., 1965, стр. 18—20, 26—27. Нередко суть гипотезы о группофонемах излагается неверно как ее сторонниками, так и критиками.

<sup>10</sup> В. К. Журавлев, Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода, ВЯ, 1963, 2. Следует подчеркнуть, что, согласно данной концепции, в древнерусском до падения редуцированных успешно функционировали силлабемы и... гласные фонемы.

7. Как только монофтонгизировался последний дифтонг и все слоги стали открытыми, границы между группофонами и слогами практически всюду совпали. Вот тогда-то группофоны и стали собственно «силлабемами». И для самой системы языка встал вопрос: если силлабема — единица уровня фонем, то где же слог? Если же это слог, то где же единица уровня фонем? Перед фонологической системой встала проблема выбора<sup>11</sup>:

1) либо оставить силлабему единицей уровня фонем, тогда хотя бы где-нибудь две соседние силлабемы должны составить один слог:  $(CV) + (CV) \rightarrow [CV + CV]$ ; и следовательно, гласный одной из «силлабем» должен утратить слоговость, ибо слог — единица лишь с одним вокалическим ядром;

2) либо оставить силлабему единицей уровня слога, разложив ее на относительно автономные гласные и согласные  $'(CV) + (CV) \rightarrow [C + V] + [C + V]$ ; тогда хотя бы где-нибудь согласный должен быть освобожден от обязательного сопровождения гласной, предсказывающей признак дизности; где-то гласный должен трансфонологизироваться в дифференциальный признак.

Как ни противоречивы обе тенденции, но в одном они приводили к общему результату: в обоих случаях выбор падал на редуцированные. Они обладали лишь двумя признаками: вокальность ( $V^\circ$ ) и дизность ( $D$ ). По признаку дизности они противопоставлялись друг другу ( $\bar{v} : \bar{v} = D : \bar{D}$ ). Но это противопоставление было позиционно обусловлено положением в дизной — недизной группофоне и дублировалось противопоставлением по тому же признаку у согласных  $'(C\bar{v}) : (C\bar{v}) = C' + \bar{v} \sim C + \bar{v}$ . От других гласных,  $-i-$  и  $-e-$ ,  $-y-$  и  $-o-$ , они отличались по подъему (компактность — диффузность), как более верхние ( $\bar{v} : \bar{v}) \sim (e : o)$  или более нижние ( $\bar{v} : \bar{v}) \sim (i : y)$ . Этот признак в системе вокализма был перегружен, уже шел процесс сокращения числа подъемов, предстояло сократить еще один подъем. Признак долготы — краткости ко времени падения редуцированных не был релевантным, ибо он трансфонологизировался в признак подъема, что и обусловило перегруженность последнего ( $\bar{a} : \bar{a} \rightarrow a : o$ ,  $\bar{e} : \bar{e} \rightarrow \bar{e} : e$ ,  $\bar{i} : \bar{i} \rightarrow i : \bar{v}$ ,  $\bar{y} : \bar{y} \rightarrow \bar{y} : \bar{y} \rightarrow y : \bar{v}$ ). Тем более не могло быть фонологического признака «короче кратких», «редуцированности». Фонологические системы некоторых диалектов стояли на пороге создания нового признака долготы, по которому на равных основаниях вскоре стали противопоставляться и рефлексy редуцированных (ср. сербскохорватское:  $st\bar{a}ra\bar{c} \sim st\bar{a}ra\bar{c} \sim st\bar{a}r\bar{a}c\bar{a} \leq \bar{a} + \bar{v} + \# \# \sim \bar{a} + \# + \bar{a} \sim \bar{a} + \bar{v} + \bar{a}$ ;  $iz\bar{a} sna \sim \bar{y}z\bar{a} me < \bar{v} + \# + \bar{a} \sim \bar{v} + e$ ).

8. В первом случае, если две силлабемы образуют один слог, то в одной из силлабем должна будет утратиться слоговость вокалического элемента. Силлабема с редуцированным гласным стала примыкать к предшествующей силлабеме, образуя с нею один слог:  $(CV) + (C\bar{v}) \rightarrow [CV + C\bar{v}]$ . По свидетельству А. Белича<sup>12</sup>, формы глаголов типа *мърѣшь*, *търѣшь* в конце праславянской эпохи вели себя как односложные,  $\bar{v}$  и  $\bar{v}$  уже не образовывали слог, метатония переходила на соседний слог, минуя слог с редуцированным: *мърѣшь* : *мърѣм* (*мрѣш* — *мрѣмо*), *мърѣшь* : *ѹмърѣшь* : *ѹзумрѣмо*.

Гласный неслоговой не мог быть носителем ударения, ожидается репрессия ударения и прежде всего на тот гласный, который становится но-

<sup>11</sup> В. К. Журавлев, Соотношение единиц уровня фонем и уровня слога в истории праславянского и славянских языков, в кн.: «Методы различения и отождествления единиц языка», Минск, 1964.

<sup>12</sup> А. Белич, Историја српскохрватског језика, књ. 2, св. 2, Београд, 1965, стр. 95.

сителем слога двух прежних силлабем. Так можно объяснить и рецессию ударения с редуцированных, отмеченную предшествующими исследователями. Если же и в соседней предшествующей силлабеме окажется редуцированный, то такой редуцированный не утратит слоговость, наоборот, возьмет на себя функцию общего слогиносителя обеих прежних силлабем:  $(CV) + (C\bar{v}) \rightarrow [CVC\bar{v}]$ ;  $(CV) + (C\bar{v}) + (CV) \rightarrow [CVC\bar{v}] + [CV]$ . На слог с редуцированным могло перетягиваться и ударение, если оно было на последующем редуцированном, утрачивающем слоговость:  $| C\bar{v} | C\bar{v} \rightarrow \rightarrow | C\bar{v}C\bar{v} |$ . С этим же связаны и разнообразные проявления «заместительной долготы» гласного в слоге с соседним слабым редуцированным: укр. *sik* ~ *соку*; серб.-хорв. *vōd* — *vōda*; чешск. *dām* — *domi*; польск. *dół* — *dołu*; кашуб. *lud* — *lědu*.

Так возникло противопоставление между «сильными» и «слабыми редуцированными». Тем фактом, что прежние две силлабемы образуют теперь один слог, и объясняется тесная взаимосвязь между двумя соседними слогами с редуцированными. Так можно объяснить и правило Гавлика. Как неслоговой «редуцированный» всегда присутствует в четком стиле произношения, в медленном темпе речи, но в беглом стиле речи утрачивает слоговость. При этом правило Гавлика действует лишь как тенденция. Это пока лишь утрата слоговости, до падения «слабых» еще далеко. Однако уже есть противопоставление «сильных» и «слабых», есть их чередование в одной и той же морфеме, есть и противопоставление абсолютно и относительно слабых как зародыш правила Фалева. Таким образом, суть процесса падения редуцированных сводится не к падению «слабых» и вокализации «сильных», а прежде всего к девокализации (утрате слоговости) слабых. Это легко объясняет всю совокупность фактов относительно конечного и серединного редуцированного.

Несколько сложнее обстоит дело с начальным редуцированным. Естественно, в случае утраты слоговости прежняя начальная силлабема может примкнуть либо к предшествующему слову, либо, вопреки общему правилу, к последующему слогу того же слова. Рецессия ударения может быть как прогрессивной (на последующий слог того же слова — *kúningaz* → → *kžněz* → *kžněz̃*), так и регрессивной (на предшествующее слово и прежде всего на предлог с конечным редуцированным). На эти процессы впоследствии будут «наложены шумы» разнообразных морфологических процессов. Кроме того, вообще утрата слоговости начального редуцированного не обязательна, ибо система требует лишь одного: где-либо две силлабемы должны образовать один слог, но где это произойдет, для системы безразлично. Начальной силлабеме труднее образовать один слог с соседней силлабемой, поэтому и ожидаются отклонения от правила Гавлика именно в начальной силлабеме. Во всех славянских языках отмечаются случаи вокализации слабых еров начального слога прежних двухсложных слов. Меньше отклонений от правила Гавлика у поляков и чехов (чешск. *dešč* — *dšče*, польск. *źdźbło*, русск. *дождя*, *стебель*). У южных славян начальный редуцированный двухсложных слов часто сохраняется, у македонцев и болгар их вокализация нередко отличается от нормальной: *мъгла* (болг. и макед.), серб.-хорв. и макед. *магла*, *лагати* (серб.-хорв.), словен. и серб.-хорв. *ranja*, *čatac* при русск. *мгла*, *лгать*, *пень* — *пня*, *чтец*, болг. *звѣня*, при словац. *znet'*, русск. *звенеть*, болг. *лъвове*, серб.-хорв. *лава*, укр. *лева*, русск. *льва*, *львы*, словац. *leva* и т. д.

У поляков не отмечено случаев элиминации начальных слабых редуцированных в двусложном слове и редко встречается элиминация в трехсложном согласно правилу Гавлика, здесь начальные двух- и трехсложных редуцированных вокализуются: *t'āmā*, *vānā*, *kātū*, *sārā* (*тьма*, *вне*, *кто*,

спи) и т. д. Многообразие рефлексов ожидается в начальном  $-j\bar{b}-$ : здесь может быть вокализация начального (чакав. *jāgla*, полаб. *jāgla*, чешск. *jehla*), так и элиминация с последующей утратой  $-j-$  (в.-луж. *gla*, укр. *голка*) и передача слоговости редуцированного начальному неслоговому  $i-$  ( $- \# j\bar{b}- \rightarrow j\bar{b}- \rightarrow i\bar{b}- \rightarrow i-$ , русск. *игла*, польск. *igla*). Так можно объяснить непоследовательность отражения начальных редуцированных и, в частности, в группофоне с неслоговым  $-j-$  и  $-j\bar{b}-$ .

Еще одним проявлением тенденции к трансфонологизации «2 силлабемы  $\rightarrow$  один слог» можно считать контракцию (элиминация интервокального  $-j-$  и стяжение двух силлабем в один слог):  $(CV) + (jV) \rightarrow [C\bar{V}]$ . Начало этого процесса хронологически близко к начальным проявлениям и падения редуцированных.

9. Во втором случае, если оставить прежнюю группофему на уровне слога, а на уровне фонем восстановить отдельные фонемы гласные и согласные, то принципиально возможны два пути разрушения тесной связи между гласным и предшествующим согласным, объединенных в силлабему единством признака дизности: первый путь (а) — распространение признака на соседние силлабемы, «перешагивание» признака через границу силлабемы:

$$'(CV) + (CV) \begin{cases} \rightarrow (CVCV) \\ \rightarrow '(CVCV) \end{cases}; (CV) + '(CV) \begin{cases} \rightarrow (CVCV) \\ \rightarrow '(CVCV) \end{cases}.$$

Второй путь (б) — сужение признака дизности до предела фонемы:

$$'(Cb) \begin{cases} \rightarrow C' + \bar{a} & C + \bar{a} \leftarrow \\ \rightarrow C + 'b & C + \bar{a} \leftarrow \end{cases} \begin{matrix} - \frac{\bar{a}}{C' : C} \quad (1) \\ - \frac{b : \bar{a}}{C} \quad (2). \end{matrix}$$

Путь (а), вероятно, реализовался в тюркских и угро-финских языках в процессе развития группового (слогового) сингармонизма до пределов целого слова и в славянских языках, очевидно, охватил главным образом лишь редуцированные. Проявлением этой тенденции и следует считать третью палатализацию.

Другим проявлением этой же тенденции следует считать целостную нейтрализацию силлабем: зьль : зьлю, вьдова < \*wǫdowa; *popot* < \*rǫpǫtъ; (dъ) + (ska)  $\rightarrow$  (dъska); (bъ) + (dē) + (ti)  $\rightarrow$  '(bъdēti). Перегласовка типа зьлю ~ зьлю впервые подчеркнута в Зогр. Ев. и вызвала известную дискуссию между Ягичем и Лескиным (1876/77 и 1905 гг.). В самом деле, если считать, что силлабемы '(Съ) и (Съ) выступали в качестве самостоятельных и неразложимых относительно признака дизности единиц уровня фонем, то следует ожидать и вероятность их нейтрализации как таковых целиком еще до первых признаков начала собственно падения редуцированных.

Под явление такой «целостной» нейтрализации силлабем можно подвести случаи типа: бѣдѣти, зьли, дѣвѣ < бѣрати, зѣдати, дѣрати; трѣть, русск. *трести* и *трость*; дѣбрь, дѣска (< \*disk-); сѣто, русск. *сотня*, литов. *šimtas*; Супр. *безденіе*; Син. пс. сѣдобъ и бездѣнь || бездѣнь, ст.-слав. тѣма — темна, русск. *темь*, литов. *tumtas*; болг. *стѣбло*, *лѣ* при русск. *стебель*, *стекло*, *лев*; среднесловац. *ovos*, *ocot*, *orol*, *kotol*, *svadobny*, *darobny* в.-луж. *ros*; макед. *лѣж*, *мѣгла* и мн. др.

В меньшей мере аналогичное явление затронуло силлабемы с иными гласными, ср. русск. *ребенок*, диалектн. *робенок*.

10. Второй путь (б) — сужение признака дизности до пределов лишь гласного или согласного в свою очередь дает два равновероятных исхода.

1) Если общий признак диезности возьмет на себя согласный, а гласный останется беспризнаковым, то ожидается развитие корреляции мягкости — твердости согласных и нейтрализации гласных относительно признака диезности (ряда), будут наблюдаться различные случаи «перехода» гласных переднего ряда в задний ряд, типа русск. *нѣс*, *вѣз*, *лѣн* и т. п.  $\left(\frac{V}{C':C}\right)$ . Очевидно, не случайно именно в языках с развитой категорией твердости — мягкости явление «перехода» гласных переднего ряда в задний ряд наблюдается чаще (польский, русский).

2) Если же общий признак диезности прежней syllabемы возьмет на себя гласный,  $'(CV) \rightarrow C + 'V$ , то согласный останется беспризнаковым, произойдет нейтрализация консонантических оппозиций и не будет развиваться категория мягкости, не будет явлений перехода гласных переднего ряда в задний ряд:  $'(CV) : (CV) \rightarrow \frac{'V:V}{C}$ . Так, например, в сербском языке нет корреляции твердости — мягкости согласных, нет и случаев типа русск. *нѣс*.

Как видно из приведенных выше формул рефлексации еровых syllabемных оппозиций, даже теперь наблюдается нередко рефлексация обоих из возможных путей распада syllabем в одной и той же системе: в полабском  $\frac{a^\circ}{C':C} + \frac{a:a^\circ}{C}$ , в украинском  $\frac{e:o}{C} + \frac{o}{C':C}$ , в словацких и болгарских диалектах и т. п. Иногда по-разному рефлексировались сильные и слабые редуцированные: сильные  $\frac{'V:V}{C}$  (первый путь), а слабо  $\frac{o}{C':C}$  (второй путь), см. общую формулу украинского языка.

Для эпохи распада следует ожидать еще большую «свободу выбора» первого или второго пути распада каждой отдельной группофонемы даже в отдельном конкретном слове. На выбор может повлиять качество соседней syllabемы (диезной или недиезной). Это будет еще одним из проявлений «перешагивания» через границу группофонемы, о чем говорилось выше:  $'(CV) + (CV) \rightarrow C' + (VC) + V$ ;  $'(CV) + '(CV) \rightarrow C' + '(VC) + V$ . Syllabемы распадаются, но сингармонизм (уже межслоговой) остается. И это — древний процесс, процесс эпохи третьей палатализации и самого начала проявлений общего процесса падения редуцированных. Это еще одно проявление взаимосвязи двух соседних слогов.

Такого рода влияние последующего твердого или мягкого слога наблюдается во многих славянских языках (русском, польском, полабском, болгарском, лужицких). Сюда подводятся явления типа русского еканья, умеренного яканья и т. п. Здесь можно видеть предпосылку совпадения обоих еров в гласном переднего ряда в польском, чешском и т. п. На выбор пути распада группофонемы может повлиять качество согласного своей или соседней syllabемы: зубные согласные иногда ведут себя несколько иначе, чем заднеязычные или губные, особенно в польском языке. На выбор пути распада группофонемы может влиять, наконец, и качество гласного. Верхние гласные могут обусловить один путь распада (ср. конвергенцию оппозиции  $i \times y$  в некоторых славянских языках:  $i \times y \rightarrow i$  или  $i \times y \rightarrow y$ ), а нижние — другой. Распад syllabем с редуцированными может пойти по одному пути, а с прочими гласными — по другому. И, наконец, может быть различие у syllabем со слабыми и сильными редуцированными, как, например, в украинском языке. Последующие процессы так или иначе упорядочат первоначальную разноречивость, увеличат или уменьшат число позиций нейтрализации или релевантности в вокалических и консонантных оппозициях.

Дальнейшее развитие фонологической системы праславянского языка требовало, чтобы, во-первых, где-то, в одной из syllabем, был утрачен

признак вокальности (см. выше, п. 7), чтобы, во-вторых, где-то, в одной из силлабем, элиминировал гласный, с сохранением признака дизности согласным. Выбор пал на редуцированные потому, что только они обладали этими двумя признаками. При этом признак дизности был в значительной мере избыточным, его проявление предсказывалось предшествующим согласным:  $\langle C\check{\text{ь}} \rangle : \langle C\text{ь} \rangle$ . Не случайно оба ера могли заменяться одним знаком на письме (ерком, речником, воосом, паерком). Выбор пал на слабые редуцированные потому, что они еще раньше утратили слоговость.

Действительно, если таким образом утратится редуцированный, то на реляционном фонологическом уровне, на уровне отношений ничего существенного не произойдет, прежние полезные противопоставления сохранятся:  $\langle C\check{\text{ь}} \rangle : \langle C\text{ь} \rangle \rightarrow \langle C' \rangle + \emptyset : \langle C + \emptyset \rangle = \langle C' \rangle : \langle C \rangle$ . Но только благодаря действию такого процесса отдельные фонемы получают большую автономию, признак дизности будет явно релевантным для отдельной фонемы, а не для силлабемы. Праславянский язык делает самый решительный шаг в сторону языков фонемного строя, силлабемы распадутся, образуются закрытые слоги и т. п.

Следует полагать, что во всех славянских языках слабые редуцированные пали, конвергировав в нуле звука, но прежние полезные противопоставления во всех славянских языках первоначально сохранились в консонантной оппозиции  $\langle C' \rangle : \langle C \rangle$ , в противопоставлении дизный — недизный (смягченный — несмягченный), либо лабиовеляризованный — простой согласный:  $\langle C\check{\text{ь}} \rangle : \langle C\text{ь} \rangle \rightarrow \frac{\emptyset}{C : C^{\circ}}$ . Иначе падение редуцированных не имеет смысла. Об этом свидетельствует не только логика процессов, но и данные «внешней» типологии. Так, во французском языке окрестностей Квебека<sup>13</sup> процесс падения «редуцированных» идет дальше, чем в общепольском, захватив и гласные верхнего подъема. При этом прежние полезные противопоставления сохраняются в консонантизме: *illusion* : *élision* (= il'zjõ : elzjõ); *député* : *dépité* (=dep<sup>o</sup>te : dep'te); *si sa table* : *sur sa table* (=s'satab : s<sup>o</sup>satab). Фактически гласные утрачивают слоговость.

Итак, явления, подводимые под так называемое правило Гавлика, есть утрата слоговости гласными в результате трансформации: две силлабемы → один слог. Это является необходимым следствием распада силлабем праславянского языка позднего периода.

<sup>13</sup> См.: L. S a n t e r r e, La disparition des voyelles hautes et la coloration consonantique en rapport avec la syllabe en français québécois, «VIII International Congress of Phonetic Science. Abstracts of papers», Leeds, 1975, стр. 250.

АХМАНОВА О. С., МИНАЕВА Л. В.

# МЕСТО ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ В НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

Как известно, на протяжении уже не одного десятилетия ученые вновь и вновь обращаются к поискам ответа на вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи. Всем давно известно о работах в области лингвистики речи. Большое развитие получили методы и приемы, объединяемые общим термином «фонетические науки». Известны обширные инструментально-фонетические исследования, выполняемые школой К. К. Барышниковой, Ж. Фора и мн. др.

Тем не менее в течение уже довольно долгого времени у многих исследователей все более отчетливо создавалось впечатление, что подлинное языкознание, т. е. языкознание, которое базировалось бы на реальных фактах звуковых человеческих языков и ставило бы себе определенные народнохозяйственные задачи, которое занималось бы вопросами языкового строительства (орфоэпией, фоностилистикой, культурой речи и т. д.), в появившихся в последние двадцать лет специальных работах как бы оттесняется и переходит на второй план. Причины такого положения, по-видимому, кроются в постулировании абстрактной «теории», обладающей мифической «объяснительной силой», претендующей на объяснение всего, что угодно, но только не реального человеческого языка; в погоне за разного рода сенсациями и «открытиями» (вроде того, что язык вообще не изменяется, так как изменяются лишь «поверхностные структуры», к «лингвистике» отношения не имеющие; того, что все языки являются «переводами» с некоторой не раскрытой никем трансцендентной «системы»); в возврате к разнообразным логическим теориям с распространившейся тенденцией к своего рода «унии» между языкознанием и лингвистической философией (логическим позитивизмом) и т. д. и т. п. Все эти обстоятельства привели к необходимости серьезного и решительного вмешательства в сложившееся положение дел со стороны тех, кто кровно заинтересован в развитии нашей науки в подлинном смысле этого слова; тех, кто убежден в громадной общественной значимости нашей науки; тех, кто никак не может согласиться, что языкознание — спекулятивная наука; тех, кто постоянно работает в различных областях языковой деятельности (языковеды, переводчики, преподаватели языков, актеры и певцы, работники радио и телевидения, журналисты, акустики, работники связи и т. д.). У всех этих людей возникла совершенно ясно осознанная потребность вновь возродить подлинную науку о языке, что особенно важно теперь, когда все больше людей занимаются вопросами языкового строительства, так как с каждым днем все больше крепнут международные связи.

Мы сочли необходимым предварить основное содержание статьи таким предисловием, потому что иначе было бы непонятно, откуда могла взяться идея о необходимости ввести в металингвистическую систему языкознания еще один общий термин. Мы имеем в виду «speechology»<sup>1</sup>, термин,

<sup>1</sup> Этот термин может быть переведен на русский язык как «речеведение».



который, по мысли японских фонетистов, должен определить и выявить самый основной аспект изучения человеческих языков и дать языковедам всего мира как бы новое знамя, объединившись под которым, они могли бы, с одной стороны, дать отпор тем тенденциям, которые уже принесли существенный вред нашей науке, а с другой, создать начало для развития и обоснования целого ряда положений, которые выступают как «новые» (если, конечно, считать «новым» незаслуженно забытое старое) <sup>2</sup>.

То, что эта идея возникла и, получив широкое признание, активно развивается в Японии, — неудивительно, потому что те, кто следил за развитием японской науки о языковом существовании, знают, что в послевоенной Японии чрезвычайно обострился интерес к вопросам культуры речи <sup>3</sup>. В центре внимания теории языкового существования находится реальное языковое общение, взаимодействие говорящего и слушающего, возникающие при этом различия и то, как эти различия влияют на язык, определяя его движение и изменение. Она ищет путей оптимизации языка на основе глубокого изучения изменяющихся потребностей общения в связи с развитием не только техники, но и средств массовой коммуникации.

Многообразие речевых действий, которым надо систематически обучать по плану «языкового существования», чрезвычайно велико. Так, специальному исследованию подвергается проблема собеседника и внимание к нему с включением таких моментов, как поза и дыхание. Понятно, что исключительное значение эти моменты приобретают при обучении публичной речи, с тщательным разграничением «массовой коммуникации малых форм» и собственно массовой коммуникации. При всех своих недостатках, среди которых основным является тенденция к философскому позитивизму, теория языкового существования имеет большое значение как составная часть того, что лучше всего может быть описано как «ортология речи»: «речеведение» является, таким образом, естественным развитием тех положений, которые лежат в основе данной теории.

Если попытаться кратко изложить основные положения «речеведения», то необходимо остановиться на следующих моментах <sup>4</sup>.

Масао Ониси исходит из того, что изучение звуковой стороны языка началось с фонетики в узком смысле этого слова и, развиваясь, постепенно достигло уровня классической фонологии, поставившей себе задачу дать теоретическую основу данной области исследования. По отношению к тому, что Ониси называет «классической фонетикой», его «нео-макро-фонетика» или «speechology», представляет новый шаг в развитии науки о языке. Не вызывает никакого сомнения его утверждение, что любой язык состоит из звуков и что все существующие системы письма являются вторичными по отношению к его реальному звучанию, по отношению к тому, что существует в объективной действительности независимо от воздействия человека. Особенно важен для «речеведения» следующий тезис: язык букв является формализованным и условным и не выдерживает никакого срав-

<sup>2</sup> Может быть, главной причиной, почему этот вопрос нам представляется необходимым поставить на страницах «Вопросов языкознания», является то, что Всемирная Ассоциация Фонетистов баллотирует предложение переименовать «фонетику» в «речеведение», так как «phonetics» не обладает способностью охватить весь круг проблем, которыми занимается наука о звучащей речи. Переход к «речеведению» (speechology) можно рассматривать как выход из создавшегося положения (см.: «International Society of phonetic sciences. Circular letter № 24», December, 1976).

<sup>3</sup> См., например: С. В. Н е в е р о в, Об одном направлении лингвистической науки в Японии, ВЯ, 1963, 6; е г о ж е, Основы культуры речи современной Японии (теория языкового существования). АДД, М., 1975.

<sup>4</sup> См., например: М. O n i s h i, Two phases of linguistic content. Psychological meaning against linguistic meaning: their nature and function, «Phonetica Pragmensia», 1972, 3; International Approval of Japanese Theory, «Mainichi Daily News», August, 23, 1976.

нения с реальным звуковым языком в смысле богатства, тонкости и разнообразия передаваемых оттенков речи-мысли.

Таким образом, «речеведение» является наукой, занимающейся установлением непосредственных корреляций между внешним миром и умственными процессами, с одной стороны, и теми богатейшими возможностями их передачи, которые представляет естественный человеческий язык звуков, с другой. Понятно, что заострение внимания на «речеведении» должно явиться вкладом в общегуманитарное воспитание человечества вообще. Поэтому задачи речеведения очень разнообразны: это не просто раздел фонетики: речеведение должно учить людей говорить, выражать свои мысли и чувства в наиболее совершенном виде, воздействовать на слушающих, обеспечивать прямой контакт с ними.

Изложенные соображения и положения этого направления определили и программу III Международного конгресса фонетистов, проходившего 23—28 августа 1976 г. в Токио и организованного Японским фонетическим обществом (Phonetic Society of Japan). На пленарное заседание были выдвинуты доклад Масао Ониси «Сфера приложения нео макро-фонетики», доклад С. К. Чэттерджи «Чем должна быть „лингвистическая фонетика“» и доклад Х. Балкенхола «Вопросы совершенствования терминологии и нотации». Таким образом, наряду с вопросами, связанными с сущностью, целями и задачами новой фонетики, обсуждались важнейшие вопросы развития метаязыка науки о звучащей речи и придания ему системного характера.

Многообразие различных сторон звучащей речи и подходов к ним наиболее отчетливо проявляется в перечне тех вопросов, которые выносились в качестве предмета специального обсуждения на разных Международных фонетических съездах. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению того нового, что внес III Международный конгресс фонетистов в Токио, необходимо остановиться кратко на материалах восьми Международных фонетических съездов, на которых обсуждались кардинальные вопросы науки о звучащей речи.

Продолжая работу по обобщению тематики фонетических исследований О. Балкаровой и О. С. Ахмановой<sup>5</sup>, можно показать, что дальнейшее развитие «фонетических наук» приняло следующий вид. На первых пяти съездах довольно естественно выделялось семь главных направлений внутри этой обширной области знания. На VI съезде разнообразие работ увеличилось настолько, что оказалось необходимым добавить еще четыре направления, а именно: сегментную структуру речи, детский язык, вопросы произносительных норм и фоностилистику. Таким образом, уже и до того достаточно обширная и многообразная область «фонетических наук» еще больше расширила свои пределы, включив новые аспекты изучения плана выражения человеческой речи. В этой связи существенно обратить внимание на то, что проблемы детской речи приобретают сейчас все больший удельный вес, и, в частности, современная психолингвистика все больше сосредоточивается на этих вопросах. Понятен также возросший интерес к проблемам нормы и нормализации, и, конечно, возможность выделения фоностилистики как нового направления явилась для VI съезда очень важным событием.

Как можно охарактеризовать дальнейшее развитие фонетических на-

<sup>5</sup> Ср.: О. Балкарова, Cumulative index of papers presented at the 1-st—5-th International Congresses of Phonetic sciences, Philologica 6: *Phonetica Pragensia*, 1967 (Acta Universitatis Carolinae), а также ср.: О. С. Ахманова, VI Международный конгресс фонетических наук, итоги и перспективы («Вестник МГУ», 1968, 3 и 4); е е же, *Phonology, morphonology, morphology*, The Hague — Paris, 1971, стр. 67—68.

ук? На VII съезде<sup>6</sup> появляются новые таксономии, которые еще больше расширяют их объем, прежде всего за счет специальных работ, в которых ставится вопрос о теории данной области знания (например: М. Халле, Теоретические вопросы фонологии в 70-х годах текущего столетия; Г. Пильх, Фонологическая теория; С. Беласко, Соотношение акустических дистинкторов и теория дифференциальных признаков; и др.). Увеличивается удельный вес исследований, посвященных вопросу фиксации звучащей речи на письме (см., например: В. Горейши, Фонология, орфоэпия и орфография языков в их взаимосвязи и взаимодействии; Х. М. Труби, Фонетические иллюзии обесценивают фонетические транскрипции; и др.). Оказалось совершенно необходимым выделить в качестве отдельных направлений нейрофонетику и психофонетику (см., например: Г. А. Уитекер, Травмы мозга и фонологическая организация; Т. Слама-Казаку, Исследование в области соотношения психологических и лингвистических единиц на фонетическом уровне; и др.). Работы Я. Ондрачковой «Деятельность голосовых связок, ее динамика и роль в речеобразовании», Т. Шиппа, Р. МакГлона, Ф. Моррисси «Некоторые физиологические корреляты изменений частоты и интенсивности в процессе голосообразования» и некоторые другие потребовали выделения антропофонии, потому что в значительной мере увеличился интерес к тем процессам, которые осуществляются в человеческом организме в процессе речеобразования. Таким образом, сама проблема физиологии звуков речи оказалась чрезвычайно расширенной по сравнению с предыдущими съездами. Естественно, огромную роль стали играть языковые контакты в связи с быстро развивающимся международным сотрудничеством, что вызвало целый ряд работ, посвященных этой проблематике (например: К. О. Андерсон, Некоторые аспекты интерференции английского языка при обучении немецкой интонации; К. Адамс, Ритм английской речи с точки зрения иностранного учащегося; и др.). И, конечно, увеличивается число исследований тех явлений, которые характерны для отдельных языков. Понятно, что выделить эту совокупность докладов в рубрику «Отдельные языки» можно только условно, поскольку классификации перекрещиваются и классы не могут быть взаимоисключающими. Но, тем не менее, с точки зрения нашего предмета выделение этого направления очень важно, так как в нашу задачу входит рассмотрение тенденций в развитии фонетических наук. Поэтому нельзя не упомянуть и доклад, посвященный вопросу соотношения речи и музыки (И. Анхальт, Вопросы соотношения речи и мелодии), и несколько работ по морфонологии (Ц. Акаматцу, Функциональный уровень архифонемы; Д. Б. Делака, Вновь об аблауте в немецких сильных глаголах; и др.).

Следует также отметить, что именно на VII съезде появился термин «speechology» в докладе С. Эмото. В программу VII съезда была также включена дискуссия под руководством профессора Ониси с целью подготовки тех идей, которые получили наиболее полное развитие на III конгрессе фонетистов в Токио.

VIII съезд по существу не дал ничего нового по сравнению с VII за исключением того, что фонетическая интерпретация термина «социолингвистика» получила большее звучание. К этому времени число таксономий, входящих в фонетические науки, возросло до двадцати, т. е. по сравнению с материалами первых пяти съездов почти утроилось.

Как же эти направления были представлены в программе III конгресса фонетистов в Токио? Здесь следует указать, что, хотя общее число док-

<sup>6</sup> См.: «VII-e Congrès International des Sciences phonétiques. Programme. Résumés, Montreal 22—28 août, 1971».

ладов было меньше, чем на съездах, упомянутых выше, на III конгрессе были представлены все основные части фонетических наук за исключением детской речи. Также следует отметить сокращению внимания к морфологии. Зато расширился круг вопросов патологии, различных расстройств речи и их терапии. Большое значение начинают приобретать проблемы прикладной лингвистики (преподавание языков, оптимизация специального образования в области речеведения, искусство речи и целый ряд других аспектов практического применения достижений фонетических наук). В целом можно сказать, что III конгресс обогатил прежде существовавшую практику фонетических наук большим вниманием к проблемам восприятия передаваемых содержаний, к проблемам тех психологических процессов, с которыми связано образование и восприятие речи, причем гораздо больше внимания уделялось сверхсегментным явлениям.

Как уже было сказано, III Международный конгресс фонетистов имел целью изучение речеведения в мировом масштабе с тем, чтобы в дальнейшем применить его достижения на уровне международного научного общения. Те решения, которые были приняты на этой конференции, получили широкий отклик. Было принято решение об объединении ранее разрозненных организаций, что нашло отражение в новом составе Всемирной Ассоциации Фонетистов.

Как уже было сказано выше, сейчас ставится вопрос о переименовании «фонетических наук» в «речеведение», причем это символическое переименование предлагается для того, чтобы коренным образом переменить направление и содержание данной области исследования. Понятно, что у специалистов, активно занимающихся звуковым языком, с точки зрения тех положений, которые были изложены выше (не подозревая о том, что они занимаются «речеведением» или «нео-макро-фонетикой»), не могут не возникнуть некоторые сомнения. В качестве примера остановимся на работе кафедры английского языка филологического факультета МГУ, которая на протяжении многих лет ставит во главу угла именно эту проблематику. Конечно, в пределах одной статьи мы не можем дать детальную характеристику всей работы, поэтому мы остановимся лишь на нескольких аспектах.

Прежде всего необходимо сказать, что фонетисты кафедры уже давно выделили три основные направления работы: лексикологическую фонетику, риторическую фонетику и филологическую фонетику.

Лексикологическая фонетика выдвигает на первый план анализ фонетических реализаций тех категорий, которые характеризуют слово как лексическую единицу. Она ставит в центр внимания решение чисто лексикологических проблем и подходит к слову как к факту, элементу, единице в составе звучащей речи. Следуя традициям советского языкознания, лексикологическая фонетика исходит из того, что отдельное слово объективно существует не только как часть создаваемых говорящим (или пишущим) произведений речи, но и как общественно закрепленный эквивалент расчлененной действительности. Лексикологическая фонетика, таким образом, изучает различные фонетические средства, при помощи которых слово выделяется в потоке речи, т. е. просодически реализуется семантическая структура лексем, их ингерентные и адгерентные коннотации.

Филологическая фонетика занимается проблемами транспозиции текста художественной литературы из письменной формы языка в устную. Теоретической основой этого типа фонетики является дихотомия «язык — речь», но не на семантическом уровне, т. е. не в рамках передачи интеллективной информации, а на уровне разнообразных метасемиотических явлений, характерных для словесно-художественного твор-

чества. Задачей филологической фонетики является раскрытие художественного замысла автора средствами звучащей речи.

Выделяя риторическую фонетику, мы ближе всего подошли к тому, что Масао Ониси вкладывает в термин «нео-макро-фонетика». Здесь мы исходим из того, что речь — это не просто инструмент для передачи информации, а способ воздействия на людей, способ установления определенных контактов между ними. Риторическая фонетика, следовательно, занимается изучением тех просодических и паралингвистических признаков, которые используются говорящим для установления контакта со слушающим и воздействия на него. Рекомендации, разработанные риторической фонетикой, могут дать очень много для повышения действенности всех видов человеческой деятельности при помощи звукового языка вообще и средств массовой коммуникации в частности.

В целом ряде публикаций кафедра английского языка изложила основные положения и взгляды, касающиеся важности изучения звучащей речи<sup>7</sup>. Так, например, в учебнике по фонетике для первого курса прямо указывается на необходимость применения «доброотно-звукового подхода» к языкознанию (*sound approach*, где *sound* не только «звуковой», но и «надежный, добротный»). Сама структура этой книги отражает «речеведческий» подход к решению основных проблем исследования звукового человеческого языка. Здесь уделяется особое внимание тесной связи между сегментным и сверхсегментным аспектами звучащей речи, а также той важной роли, которую фонетика играет при построении морфологии, лексикологии, синтаксиса и лингвистилистики.

В книге «*Prosody of speech*», которая является дополнительным пособием по курсу фонетики, в центре внимания находятся еще плохо изученные вопросы взаимосвязи ритма и просодического оформления потока речи. Эти вопросы получают дальнейшее развитие в монографии «*Registers and rhythm*», где делается попытка применить метод просодического и ритмического анализа не только для изучения сегментной структуры текста, его лексических и синтаксических особенностей, но и выяснить его возможности при решении проблем поэтического перевода, исследовании речевых характеристик, вопросов индивидуального стиля писателя и т. д. На этой же основе строятся курсы морфологии, лексикологии и синтаксиса.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что идеи III Международного конгресса фонетистов в Токио, которые теперь так энергично развиваются, заслуживают самого пристального внимания со стороны языковедов. Важность этих положений заключается в том, что, хотя, как мы видели, общая тенденция выражалась в расширении предмета фонетики, всеми аспектами фонетических наук занимались до сих пор лишь «фонетисты» (исследователи в области инструментальной фонетики, фонологии и т. д.), почему и создавалось впечатление, что существуют совершенно разные направления в языкознании: фонетика, морфология, лексикология, семасиология, синтаксис и лингвистилистика, которые не имеют ничего общего между собой. «Нео-макро-фонетика» призывает к тому, чтобы не отделять другие аспекты изучения языка от фонетики.

Мы не будем стремиться делать какие-либо выводы мегалингвистического характера, т. е. предлагать то или иное решение в отношении переименования Ассоциации фонетических наук. Но мы не можем не выразить очень высокой оценки тех предложений, которые были выработаны на III конгрессе, организованном Японским фонетическим обществом в

<sup>7</sup> «An outline of English phonetics», ed. by O. Akhmanova and L. Minaeva, M., 1973, «Prosody of speech», ed. by O. Akhmanova and T. Siškina, M., 1973, «Registers and rhythm», ed. by O. Akhmanova and T. Siškina, M., 1975.

Токио. Сама жизнь требует сейчас, чтобы языковеды всерьез обратились к тем проблемам, которые важны для всего человечества. Народы, добивающиеся независимости, сталкиваются с такими вопросами, как проблема нормализации языка и создание литературных языков — со всей той огромной совокупностью языковедческих проблем, которые составили содержание языкового строительства в первые годы после Октябрьской революции в нашей стране. Эти и многие другие проблемы настоятельно требуют, чтобы языковеды вернулись к своему основному предмету и положили в основу своей работы серьезные и глубокие исследования естественного человеческого языка.

КОТКОВ С. И.

## О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИИ

В пятидесятые — семидесятые годы изучение русского языка в его современном состоянии и в историческом аспекте значительно продвинулось вперед. Созданы академическая грамматика и фундаментальный словарь литературного языка, разрабатываются вопросы культуры речи, стилистики и терминологии. Изучается функционирование русского языка как международного и как средства межнационального общения народов Советского Союза. Получили широкое развитие диалектологические разыскания, выходит обширный словарь народных говоров, появились обстоятельные монографии по истории русского языка и лингвистические издания памятников древнерусской эпохи и более поздней поры. С учетом современных научных достижений совершенствуются основы преподавания языка, пишутся учебники для вузов и школ.

В условиях общего подъема филологических исследований в нашей стране возникло новое научное направление — лингвистическое источниковедение. Его формированию благоприятствовали и длительный опыт отечественной филологии, особенно в области исследования и издания памятников языка, и наличие в хранилищах СССР неисчислимых фондов старинной письменности. Особую роль сыграло при этом положение, которое сложилось в разработке истории русского языка. При всех достижениях данной науки остаются еще не решенными особенно сложные проблемы его минувшей жизни, знание которых необходимо не только в чисто теоретическом плане, но и для освещения определенных моментов его современного состояния, а также, в известной степени, и прогнозирования развития. Пока еще не в полной мере выяснено, какой была основа древнерусского литературного языка — русской или церковнославянской, возникшей на базе заимствованной старославянской письменности; не получил достаточной характеристики язык великорусской народности; во многом еще не изучен процесс формирования русского национального языка, нуждается в интенсивном исследовании история стилей литературного языка и т. д. Для решения названных и других проблем, помимо совершенствования методов исследования, необходимо введение в научный оборот и квалифицированное освоение новых источников. Опыт разработки указанных проблем свидетельствует об этом со всей определенностью.

Так, выясняя процесс образования и природу древнерусского литературного языка, русисты обыкновенно оперируют сравнительно ограниченным кругом источников (в основном такими, как «Русская правда», сочинения Владимира Мономаха, «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве», и, кроме того, летописями). Хотя упомянутые источники и являются особенно важными для разработки истории русского языка, их данных все же недостаточно для более или менее обстоятельных суждений по этим сложным вопросам. Между тем хранилища нашей страны располагают обширным рукописным фондом древнерусских памятников, представленных главным образом в списках и в значительной степени еще

не изученных. Одних только рукописных книг XI — рубежа XIV — XV вв., которые могут быть отнесены к разряду литературных памятников, учтено 1494<sup>1</sup>. Возможности познания по этим текстам роли в древнерусской культуре, с одной стороны, церковнославянского, с другой — восточнославянского начал, в сущности, мало изучены. К тому же их лингвистические издания единичны. Словом, материальная база, необходимая для исследования древнерусского литературного языка, остается во многом не освоенной.

Отсутствие в русистике конкретного представления о языке великорусской народности (XV — XVI вв.) преимущественным образом также связано с недостаточным знанием соответствующих памятников, хотя, в отличие от древнерусских, в основном церковноканонических, немалая часть их (актовые материалы) довольно наглядно отражает стихию народно-разговорной речи. Заметим, их лингвистические публикации также единичны. Недостаточное внимание историков языка к памятникам XV — XVI вв. до некоторой степени обусловлено все еще господствующим в науке, хотя и необоснованным мнением, что современный фонетический облик и грамматический строй русского языка к XV — XVI вв. в общем уже сложились и поэтому более поздние памятники каких-либо существенных данных о его фонетико-грамматическом развитии, собственно, не содержат.

Исключительное значение приобрел источниковедческий аспект исследования в разработке проблемы образования русского национального языка. Связано это прежде всего с тем традиционным обременением, что памятники южновеликорусского происхождения как относительно поздние (не ранее XVI в.) внимания лингвистов не привлекали. В непосредственном, рукописном виде историки русского языка их никогда не исследовали, а отдельные издания этих текстов осуществлялись учеными-нефилологами либо историками-любителями, с весьма упрощенным воспроизведением текста, не отвечавшим требованиям лингвистического исследования. В результате история русского языка национального периода строилась только на показаниях памятников северно- и средневеликорусского происхождения, без учета влиятельной в этом процессе роли южновеликорусского наречия, была историей во многом неполной и явно односторонней. Значение северновеликорусского вклада в образование национального языка обычно преувеличивалось, хотя развитие России в течение этого времени никаких оснований для признания подобной концепции сложения национальной речевой культуры, в общем, не давало. Ср., например, такой факт: в XVII столетии экономический центр тяжести Московского государства перемещается на юг<sup>2</sup>.

Пытаясь решать проблему образования национального языка, русисты восполняли отсутствие каких бы то ни было сведений из южновеликорусских памятников некоторыми показаниями современных южновеликорусских говоров, но усилия эти были напрасны, потому что в современных говорах мы не находим многого из того, что отличало их бывшее состояние.

Заметим, кстати, пока ученые, исследуя язык национального периода, ограничивались памятниками деловой письменности северно- и средневеликорусского происхождения, не удавалось вполне убедительно установить принадлежность периферийных писцов к местным уроженцам. Помимо известной неустойчивости правописания, в условиях которой выделение в письме дифференцирующих говоры диалектных черт было

<sup>1</sup> См.: «Предварительный список славяно-русских рукописей XI — XIV вв., хранящихся в СССР (для „Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР“, до конца XIV в., включительно)», в кн.: «Археографический ежегодник за 1965 год», М., 1966.

<sup>2</sup> См.: Ю. В. Готье, Замосковский край в XVII веке, М., 1937, стр. 88.



несколько затруднено, объяснялось это и тем, что вследствие некоторых свойств северно- и средневеликорусских говоров (например, отсутствия или слабости проявления редукции безударных гласных) их специфические признаки в старинной деловой письменности проступали менее выразительно, нежели специфические признаки южновеликорусских говоров. В результате в науке утвердилось мнение, что писцы на периферии в большинстве были не местными, а присланными из Москвы. Отсюда, естественно, вытекало сомнение в возможности плодотворного изучения по материалам старой периферийной письменности локальных разновидностей народной речи. Осуществленное нами широкое обследование рукописей делового содержания XVI — XVII вв., написанных в южновеликорусской области, позволило бесспорно установить: писцы обширной южной периферии, за самыми редкими исключениями, были людьми местными<sup>3</sup>. Особенно убедительны в этом отношении свидетельства отказных книг, характерных именно для Юга с его военнотрудовым землевладением, в которых наряду с яркими диалектными встречаем и прямые, формальные указания на местное происхождение писцов<sup>4</sup>. Есть основания полагать, что и в других областях Русского государства писцы в основном принадлежали к местным уроженцам.

Приведенные и многие другие факты склоняют к выводу: назрела необходимость в специализации изучения лингвистических источников. Поскольку выполнение подобной задачи не могло быть обеспечено разрозненными усилиями, в 1958 г., по предложению автора этих строк, в составе Института русского языка АН СССР был образован соответствующий сектор, который впоследствии получил наименование Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка. Особое выделение в этом наименовании исследования памятников языка находит объяснение в современном состоянии разработки истории русского языка: к сожалению, старинные русские тексты в их первоизданном состоянии — в рукописях — пока среди языковедов изучают еще немногие, обыкновенно пользуются изданиями памятников.

Со страниц журнала «Вопросы языкознания» мы обратились к филологам с вопросом, издание каких древних и поздних памятников русского языка было бы особенно актуально<sup>5</sup>, и получили обстоятельные ответы — свидетельства глубокой заинтересованности ученых в развитии источниковедческих исследований. С учетом рекомендаций научной общестественности была намечена программа как теоретических исследований, так и практических работ, особенно введения в научный оборот новых лингвистических изданий старинных русских текстов. Обобщение предшествующего научного опыта публикации источников нашло выражение в составлении правил лингвистического издания памятников древнерусской письменности<sup>6</sup>. В процессе выявления, описания и, особенно, исследования источников по истории русского языка, а также анализа источников, представляющих современный русский язык (с учетом опыта их издания), складывались теоретические основы лингвистического источниковедения и разрабатывались некоторые вопросы эдиционной теории.

<sup>3</sup> См., например: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология), М., 1963, стр. 17—27.

<sup>4</sup> См.: С. И. Котков, Отказные книги, ВЯ, 1969, 1.

<sup>5</sup> Л. П. Жуковская, С. И. Котков, О публикации памятников русского языка и письменности, ВЯ, 1960, 4.

<sup>6</sup> «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности», М., 1961.

Самый объект исследования, с точки зрения лингвистического источниковедения, можно определить следующим образом: лингвистический источник представляет собой единицу непосредственного (инструментально-физического) или опосредствованного (графического) запечатления языка или его элементов, объем, содержание и характер которой определяются, с одной стороны, возможностями и потребностями общения, с другой, — строем запечатленного. По происхождению лингвистические источники делятся на объективно сложившиеся и формируемые исследователями в соответствии с характером и задачами исследования — материалы, собранные по анкетам и программам. Поскольку лингвистическое наполнение вторых, формируемое по анкетам и программам, в определенной мере задано, их можно с известным основанием относить к источникам с заданными свойствами. Источники делятся, кроме того, на первичные и вторичные. В категорию первых входят те, лингвистическое наполнение которых сохраняется в первоизданном виде; категорию вторых образуют те, лингвистическое наполнение которых в процессе подготовки к исследованию либо в целях справочной службы было адаптировано — лингвистические картотеки, словари.

И лингвисты-источниковеды, и лингвисты иных специальностей изучают одни и те же источники, но первые в процессе изучения следуют от знания живой материи языка к познанию ее запечатлений в источниках, вторые — от знания запечатлений к познанию живой материи языка. Лингвистическому источниковедению свойственны особый предмет исследования и особый метод исследования. Определение предмета лингвистического источниковедения имеет своим основанием понятия лингвистической содержательности и лингвистической информационности источника.

Лингвистическая содержательность — это совокупность заключенных в источнике лингвистических данных, определяемая его содержанием и отношением данного источника к определенному лингвистическому образованию (языку, наречию, говору), а также степенью познания последнего. Лингвистическая информационность представляет собой определяемую условиями образования источника степень прямой и косвенной отраженности в нем лингвистической содержательности. Если лингвистическая содержательность — понятие собственно языковое, то лингвистическая информационность имеет отношение прежде всего к внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов, уровень и состояние звукозаписывающей техники и т. д.). Исследование источников со стороны их лингвистической содержательности и информационности и составляет предмет лингвистического источниковедения. Метод рассматриваемой науки состоит в изучении лингвистической содержательности в соответствии с иерархией ее обусловленности содержанием источника, в направлении от непосредственной ко все более опосредствованной, а также в исследовании лингвистической информационности в ее многообразной обусловленности культурой запечатления языка.

Означенные предмет и метод исследования отграничивают лингвистическое источниковедение от других лингвистических наук и от смежных историко-филологических, таких, как, скажем, текстология, палеография и археография; отграничивают и от того источниковедения, которое обслуживает историческую науку. Несколько слов о соотношении лингвистического источниковедения и археографии, содержание которой обыкновенно видят в разработке правил публикации письменных источников и подготовке их к изданию. В основе (предмет и метод исследования) их функции различны, но в одном отношении совпадают: издание письменных памятников, составляющее суть археографии, занимает определенное мес-

то и в рассматриваемом источниковедении. Означает ли это, что в данной сфере разграничение указанных наук невозможно? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить два момента: органична ли эдиционная функция для лингвистического источниковедения и свойственны ли ей особые правила, отличные от принятых в археографии. Относительно первого момента можно сказать следующее: введение памятников в научный оборот, а это осуществляется и посредством издания, — неперемнная конечная цель лингвоисторического исследования. Относительно второго момента следует заметить, что лингвистические воспроизведения текстов имеют своим основанием правила, отличные от принятых в археографии: для выражения лингвистической специфики археографические во многом неприемлемы. Таким образом, и в эдиционной сфере между археографией и лингвистическим источниковедением существует осязательное разграничение.

Ориентация в море лингвистических источников становится все затруднительней. Оно непрерывно расширяется за счет буквально необъятной массы печатных произведений, а также огромной письменности, бесчисленных магнитофонных и других записей и т. д. Правда, из этой массы материалов далеко не все остается в государственном и личном хранении, но и то, что остается, поистине безгранично. Наступает время систематизации источников, основанной на их лингвистической оценке. Правомерной была бы систематизация по лингвистической содержательности. В пределах этой основной систематизации возможно распределение источников по признакам иного рода, например, по способам образования — графические, инструментально-физические; по характеру графики — печатные, письменные, а в пределах последних — уставные, полууставные, скорописные. Систематизация лингвистических источников, сделав их в общем обозримыми, облегчит их выбор для исследования и научной публикации.

По мере перехода от древнерусских к источникам эпохи великорусской народности и затем к источникам эпохи национального развития русского языка, в особенности современным, сложность этой задачи возрастает. Попытки известной систематизации памятников русского языка пока выражаются, главным образом, в учете рукописного наследия древнерусской поры. Однако эта важная систематизация (вернее, инвентаризация) памятников все еще не является полной (для древнерусских вполне возможной), не объединяет их в определенные группы и, замыкаясь в археографических рамках, не раскрывает их лингвистического значения. Опытов систематизации и даже инвентаризации старорусских памятников языка лингвисты, в сущности, не предпринимали и получают ориентировочные сведения о них обыкновенно лишь из архивных описей и путеводителей, чего для выбора источников, даже предварительного, с целью их исследования и издания недостаточно. А что касается материалов, в которых получает запечатление современное состояние русского языка, то они в огромном большинстве либо не могут быть учтены (например, значительная часть переписки учреждений, не подлежащая долговременному хранению, а также частная переписка или, скажем, сочинения школьников), либо еще и выборочно не отложились в архивохранилищах.

Необыкновенное обилие и разнообразие современных запечатлений языка делает их источниковедческое изучение, в частности систематизацию, в достаточной мере трудными. Возможно, именно поэтому исследования в указанном аспекте и не развиваются. Едва ли не полное отсутствие источниковедческого аспекта в исследовании русского языка по современным материалам объясняется, по-видимому, и тем, что восприятию ученого-современника этот язык доступен не только в запечатлениях-источниках,

но и в живом исполнении, что как будто само собой, без особого изучения источников как запечатлений, позволяет ему уверенно интерпретировать показания последних. В общем, бесчисленные современные материалы, привлекаемые для изучения языка, уже вследствие их принадлежности к современным, источниковедческому анализу обыкновенно не подвергаются. Между тем он оказывается не лишним, поскольку ни один исследователь не в состоянии обладать знанием всех современных источников, необычайно разнообразных во многих отношениях, в значительной мере массовых, таких, к примеру, как материалы почтовой и телеграфной корреспонденции, материалы письменного делопроизводства, радио- и телеинформация, газетная и журнальная периодика, магнитофонные записи и т. д.

Систематизация подобных источников, основанная на полном их учете, является немыслимой. Предстоит разработка критериев отбора из разновидностей-серий этих источников, так сказать, типичных, необходимых для общей характеристики каждой из данных серий по ее лингвистической содержательности, а характеристики в свою очередь послужат основой систематизации. Наиболее сложной представляется систематизация в качестве лингвистических источников текстов художественной литературы, что связано главным образом с тем, что их лингвистическая содержательность, наряду с основным для данных текстов литературным языком, во многих случаях отражает, хотя бы и частью, в элементах, и другие лингвистические образования (назовем проявления локальной речи и арготического общения, элементы социальных терминологий и т. д.). Да и в литературном языке, запечатленном в текстах подобного рода, наличествуют стилистические разновидности, которые нельзя не учитывать.

Специализированное изучение некоторых источников приводит к необходимости их введения в широкий научный оборот посредством публикации и вместе с тем определяет целесообразную форму этой последней. Публикация может быть наборной или факсимильной или заключающей в себе и то и другое воспроизведение текста. И способы, и средства факсимильного воспроизведения рукописных текстов в наше время все более и более совершенствуются, что позволяет вовлекать в интенсивное исследование в виде подобных воспроизведений уникальные и поэтому мало доступные для непосредственного изучения рукописные памятники языка. В связи с этим появляются высказывания, что наборные издания данных памятников становятся ненужными. Полагаем, такие высказывания совершенно несостоятельны. Как известно, в старинных русских рукописях (уставных, полууставных и скорописных) текст не делится на слова, а является сплошным. Естественно, в том же виде воспроизводится он и в изданиях, осуществляемых факсимиле. Наборные издания отличает возможность деления текста на слова, а это необходимый начальный этап его лингвистического исследования. Указанное преимущество наборных изданий имеет особое значение при исследовании древнерусских текстов, правильное прочтение которых, в частности переводных с греческого, иногда особенно затруднительно. Факсимильное воспроизведение сплошного текста, т. е. без деления на слова, в сущности говоря, исключает возможность составления к нему указателей слов и форм, а также значительно затрудняет соотнесение с соответственными местами текста палеографических и иных примечаний. При отсутствии упомянутых недостатков, наборное издание удовлетворяет требованиям введения публикуемых текстов в широкий научный обиход при помощи такой печатной графики, к которой, за немногими исключениями, прибегают и в сфере других наук и в общем литературном обиходе (книжная, журнальная и газетная

печать). Определенными достоинствами, в сравнении с наборными, обладают и публикации-факсимиле, и прежде всего — идентичностью графики графике рукописной. Учитывая особенности тех и других воспроизведений рукописных текстов, приходим к заключению: оптимальной лингвистической публикацией можно считать такую, в которой представлено и наборное, и факсимильное воспроизведение рукописного текста или по меньшей мере его фрагментов.

Осуществляемое Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка издание старинных рукописных источников ориентировано, с учетом реальных возможностей, именно в этом направлении. Программа печатного воспроизведения памятников русского языка реализуется в двух сериях — в издании древнерусских источников, писанных уставом и полууставом, и в издании скорописных источников XV — XVIII вв. Начало первой серии было положено публикацией знаменитого «Изборника 1076 г.»<sup>7</sup> — самого раннего памятника не столько церковнославянского, сколько русского языка, причем впервые в СССР при лингвистическом издании рукописи в этом случае был применен оптико-фотографический анализ. Затем последовало издание рукописи XI — XII вв. — «Синайский патерик»<sup>8</sup>, в которой выразительно представлено взаимодействие русской и старославянской стихий. В той же серии был опубликован «Успенский сборник XII — XIII вв.»<sup>9</sup>. В нем, наряду с переводными, находим первые оригинальные русские литературно-художественные произведения. Осуществлена и публикация «Выголексинского сборника»<sup>10</sup> того же самого времени. В «Сборнике» выразительно представлен язык переводной литературы, занимавшей в древнерусской культуре значительное место. Введение в широкий научный оборот этих древнерусских памятников связано с разработкой актуальных проблем истории древнерусского языка. Решению не менее актуальных проблем истории русского языка более поздней эпохи подчинено издание скорописных источников. В «Назирателе»<sup>11</sup> получили отражение русский литературный язык XVI в. и русско-польские культурные связи. Большое значение для исследования вопросов образования национального языка, познания былого состояния русской народно-разговорной речи, формирования московского койне и истории литературного языка имеют публикации разнообразных текстов делового содержания, в частности эпистолярных<sup>12</sup>. Отметим далее издание вестей-курантов XVII в.<sup>13</sup>, подготовивших появ-

<sup>7</sup> «Изборник 1076 г.», изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов, под ред. С. И. Коткова, М., 1965.

<sup>8</sup> «Синайский патерик», изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, под ред. С. И. Коткова, М., 1967.

<sup>9</sup> «Успенский сборник XII—XIII вв.», изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон, под ред. С. И. Коткова, М., 1971.

<sup>10</sup> «Выголексинский сборник», изд. подг. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко, под ред. С. И. Коткова, М., 1977.

<sup>11</sup> «Назиратель», изд. подг. В. С. Голышенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова, под ред. С. И. Коткова, М., 1973.

<sup>12</sup> С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, М., 1964; «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А. И. Безобразова)», изд. подг. С. И. Котков, Н. И. Тарабасова, М., 1965; «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», изд. подг. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова, М., 1968; «Грамотки XVII — начала XVIII века», изд. подг. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова, под ред. С. И. Коткова, М., 1969.

<sup>13</sup> «Вести-Куранты. 1600—1639 гг.», изд. подг. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина, под ред. С. И. Коткова, М., 1972; «Вести-Куранты. 1642—1644 гг.», изд. подг. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина, под ред. С. И. Коткова, М., 1976.

ление в России периодической печати. Включая заметный элемент народно-разговорной стихии, они до некоторой степени представляли и то лингвистическое начало, из которого впоследствии развивались лексико-фразеологические средства русского литературного языка, характерные для сферы общественных отношений, публицистического стиля.

Вопросы теории и практики лингвистического источниковедения, в том числе и описания и издания памятников языка, освещаются в специальных источниковедческих сборниках. С 1963 по 1976 г. вышло десять таких сборников. Расширение и углубление работ по лингвистическому источниковедению становится необходимым условием дальнейшего развития русистики и в целом языкознания.

КРИВОНОСОВ А. Т.

# ОТКРЫВАЕТ ЛИ «ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ГРАММАТИКА» НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ЛИНГВИСТИКЕ?

Одним из наиболее последовательных пропагандистов идей Н. Хомского в зарубежной лингвистике является Дж. Лайонз<sup>1</sup>.

Главное место в своих работах Дж. Лайонз отводит оценке и развитию теории «порождающей грамматики», критически относясь лишь к ее предшественнице — модели непосредственно-составляющих (НС). Нельзя не согласиться с мнением Дж. Лайонза, что модель НС — относительно слабая модель. Однако слабость этой модели мы усматриваем, вопреки Дж. Лайонзу, прежде всего не в том, в чем ее видит Дж. Лайонз, — в неспособности модели НС вскрыть иерархическую структуру так называемых двусмысленных (ambiguous) фраз, а в том, что эта модель обнаруживает поразительную слабость в анализе обычных, семантически однозначных предложений.

Сущность анализа по НС, как известно, заключается в установлении определенной иерархии языковых структур и в проведении синтаксического анализа в строгом соответствии с этой иерархией путем последовательного дробления речевого отрезка на все меньшие единицы. НС — это единицы, из которых непосредственно образована та или иная конструкция. Однако это только теоретические установки. Как только мы переходим к практическому дроблению речевого отрезка на все меньшие единицы, мы сразу сталкиваемся с трудностями анализа по НС: а) модель НС уже с момента ее создания была обречена, ибо не могла решить многие вопросы синтаксиса, главным из которых является вопрос о синтаксических связях. В этой модели устанавливается только один тип синтаксической связи — *подчинение*<sup>2</sup>, хотя синтаксические связи в предложении, как показал уже анализ предложения в терминах традиционной модели членов предложения, не сводятся к одному подчинению; б) место разрыва конструкции по НС отнюдь не самоочевидно. Номенклатура НС, будучи односторонней (в модели НС существуют только подчинительные связи), отражает не синтаксические функции единиц предложения, а иерархическую последовательность членения предложения или иерархическое включение слов в предложение. Вследствие этого возникают очередные трудности в последовательности (правилах) рассечения предложения на НС<sup>3</sup>. В связи с этим вводится серия правил установления места «разреза» кон-

<sup>1</sup> См. сб. «New horizons in linguistics», ed. by J. Lyons, Harmondsworth, 1972; ср. также: J. Lyons, Structural semantics, Oxford, 1963; его же, Introduction to theoretical linguistics, London — New York, 1969; его же, Semantics, I, Cambridge, 1977.

<sup>2</sup> Трудно согласиться с мнением тех лингвистов, которые этот признак модели НС относят к ее положительным признакам. Ср., например: Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966, стр. 175—176.

<sup>3</sup> См., например: K. L. Pike, Taxemes and immediate constituents, «Language», XIX, 2, 1943; R. Wells, Immediate constituents, «Readings in linguistics», ed. by M. Joos, I, Chicago, 1957; S. Chatman, Immediate constituents and expansion analysis, «Word», XI, 3, 1955, стр. 378.

струкции по НС, многие из которых основаны на «интуиции и здравом смысле». А эти последние оказались не одинаковыми у различных исследователей. В конечном счете трудности установления места разрыва предложения на НС привели к тому, что сама идея объективности синтаксического анализа предложения свелась к «установлению порядка членения путем с п и с к а п р а в и л, устанавливающих — более или менее произвольно — последовательность такого членения» (разрядка наша. — А. К.)<sup>4</sup>; в) наконец, запись анализируемого предложения в символах НС, особенно если предложение выходит за рамки простейшего типа (скобки, правила подстановки, «деревья»), приобретают с д в а л и о б о з р и м ы й вид. Сам Н. Хомский, духовный отец Дж. Лайонза, убедился в том, что «как только мы рассмотрим предложения, выходящие за пределы простейшего типа, и в особенности попытаемся установить какую-то очердность среди правил, порождающих эти предложения, мы наталкиваемся на многочисленные сложности и затруднения»<sup>5</sup>.

Продолжая верить в непогрешимость модели НС и видя ее слабость лишь в неспособности вскрыть иерархическую структуру «двухмысленных» фраз, Дж. Лайонз вслед за Н. Хомским пытается усилить модель НС введением понятия «labelling» («наклеивания этикеток», «маркирования»), т. е. введением таких понятий, как «подлежащее», «дополнение», которые он называет «функциональными маркерами» (functional labels), а также введением таких категорий, как «существительное», «глагол», которые он называет «категориальными маркерами» (categorical labels)<sup>6</sup>. «Усиление» модели НС, как видим, идет за счет введения понятий, известных еще из традиционной грамматики, — ч л е н о в п р е д л о ж е н и и и ч а с т е й р е ч и.

Если Дж. Лайонз для теоретического обоснования порождающей грамматики стремится усилить модель НС, лежащую в ее основе, за счет введения каких-то новых понятий, то естественно предположить, что эти новые понятия сами должны быть строгими, точными, непротиворечивыми, однозначными и т. д. Однако терминам «член предложения» и «часть речи» такие характеристики приписать нельзя.

Средством разграничения членов предложения служит характер вопросов, которые, как известно, не могут считаться объективными. Например, словосочетание типа «предлог + существительное» (*Жизнь в деревне однообразна*), по мнению Л. В. Щербы, может рассматриваться или как обстоятельство (на вопрос «где?»), или как дополнение (на вопрос «в чем?»), или как определение (на вопрос «какая?»). Различия между второстепенными членами предложения регулируются семантическими критериями «употребительности» или «принятости» того или иного вопроса<sup>7</sup>. Метод разграничения членов предложения путем постановки вопросов ведет к к о н т а м и н а ц и и семантических и структурных признаков во второстепенных членах предложения. Поэтому в номенклатуре второстепенных

<sup>4</sup> Л. С. Бархударов, Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966, стр. 136.

<sup>5</sup> Н. Хомский, Синтаксические структуры, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 440.

<sup>6</sup> Небезынтересно отметить, что еще пятьдесят лет тому назад Л. В. Щерба также называл части речи «категориями» (см.: Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 66).

<sup>7</sup> Слабость методики, применяемой с целью разграничения членов предложения, отмечалась и ранее. См., например: Л. В. Щерба, О второстепенных членах предложения, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», 4, Л., 1958; G. H e l b i g, Die methodische Konzeption der Sprachbeschreibung bei Charles C. Fries, «Deutsch als Fremdsprache», 1965, 4, стр. 2—3; P. B o r i s s e w i t s c h, Vier grammatische Analyseproben (traditionelle, Distributions-, IC- und Transformationsanalyse eines Probetextes), «Deutsch als Fremdsprache», 1969, 6.



членов не всегда содержится нечто такое, что вытекало бы из их синтаксической сущности. Однако главный недостаток модели членов предложения заключается в противоречии и между линейным характером номенклатуры членов предложения и фактическим иерархическим анализом предложения, это противоречие, собственно, и послужило основной причиной отказа от традиционной модели членов предложения в структурной лингвистике и введения новой модели — модели НС.

Что касается классификации, определения и номенклатуры «частей речи», путем введения которых Дж. Лайонз пытается усилить модель НС, то здесь также много спорного. Правда, вопрос о классификации изменяемых слов, т. е. слов, обладающих морфологическими категориями, практически решен для любого, по крайней мере, флективного языка<sup>8</sup>. Но как только мы выходим за пределы изменяемых частей речи, мы сталкиваемся с полнейшим разнообразием в классификации неизменяемых слов. Достаточно сказать, что из 26 рассмотренных нами *ad hoc* наиболее полных грамматик немецкого языка (19 зарубежных и 7 отечественных) мы не обнаружили и двух, в которых классификация неизменяемых частей речи была бы одинаковой<sup>9</sup>.

Итак, пытаясь обосновать научность, а, следовательно, по его мнению, и единственность трансформационной грамматики, Дж. Лайонз стремится усилить модель НС, лежащую в основе трансформационной грамматики, за счет использования в ней понятий «членов предложения» и «частей речи», не имеющих, как было показано выше, строгого научного статуса. Следовательно, Дж. Лайонз избрал недостаточно научно обоснованный путь исследования, который не ведет к намеченной цели — построению «порождающей» грамматики. Если же согласиться с мнением лингвистов, которые считают, что «едва ли кто-нибудь будет сомневаться в точности понятий частей речи и членов предложения (наименования, хорошо известные каждому со школьной скамьи)»<sup>10</sup>, то возникает другое противоречие: модель НС, задуманная ее авторами как более строгая модель описания синтаксической структуры предложения и возникающая, собственно, как реакция на недостатки «традиционной» модели членов предложения, заимствует из этой модели то, что было ранее отвергнуто как недостаточно научное. Однако Дж. Лайонз, как, впрочем, и его предшественник по теории Н. Хомский, старается этого не замечать, и это вполне объяснимо: ведь для них каждое предложение в конечном счете обладает линейной структурой, хотя модель НС ориентирована на структуру предложения, имеющего иерархический характер.

Если с целью построения порождающей грамматики Дж. Лайонз, с одной стороны, пытается усилить модель НС за счет введения понятий «членов предложения» и «частей речи», то, с другой стороны, модель НС усиливается определенной процедурой «порождения» предложения, благодаря чему грамматика НС должна превращаться в «порождающую» грамматику. Эта теория в свою очередь служит как бы трамплином для следующей,

<sup>8</sup> Ср.: В. Н. Ярцева, Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка, сб. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, стр. 35; В. М. Жирмунский, О природе частей речи и их классификации, «Тезисы докладов». Л., 1965, стр. 5.

<sup>9</sup> Например, на материале немецкого языка различные авторы выделяют самое различное количество неизменяемых частей речи: от одной (см.: L. Sütterlin, Die deutsche Sprache der Gegenwart, 4. Aufl., Leipzig, 1948, стр. 97 и сл.; H. Brinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1962, стр. 150 и сл.; J. Erben, Deutsche Grammatik. Ein Leitfadern, Frankfurt-am-Main, 1968, стр. 100) до семи (см.: О. И. Москальская, Грамматика немецкого языка. Теоретический курс, М., 1956).

<sup>10</sup> См.: Р. А. Будагов, О предмете языкознания, ИАН ОЛЯ, 1972, 5, стр. 405.

более высокой ступени той же порождающей грамматики — «трансформационной» грамматики, состоящей из одних трансформационных правил.

Согласно Н. Хомскому, человек владеет языком благодаря тому, что ему свойственна некая врожденная «языковая способность» (*linguistic competence*), которая позволяет понимать, идентифицировать и строить бесконечное число речевых произведений (*performance*). Именно трансформационная грамматика, призванная описывать эту языковую способность, обеспечивает наибольшую адекватность описания языка<sup>11</sup>. Существуют якобы «исходные единицы» языка — ядерные структуры, порождающие «глубинные» синтаксические структуры, каждая из которых состоит из ряда лексических элементов, на которые наложена иерархия синтаксических категорий и их отношений. Каждый лексический элемент представлен в виде определенной фонологической, синтаксической, морфологической и семантической структуры. С помощью набора трансформационных правил, являющихся уникальными в каждом отдельном языке, глубинная структура такого рода порождает затем соответствующие им поверхностные структуры, которые материализуются в цепочке звуковых (буквенных) символов. Глубинная структура предложения, таким образом, «ведает» формированием его значения, а поверхностная структура — звуковым воплощением этого значения. «Грамматика языка в том смысле, в каком я буду употреблять этот термин, в общих чертах может быть охарактеризована как система правил, выражающих соответствие между звуком и значением в языке»<sup>12</sup>. Семантическое значение всего предложения выводится из его глубинной синтаксической структуры с помощью определенных универсальных операций. Речь идет лишь об «установлении связей» между значениями и их формами, фактически рассматриваемыми как две взаимонезависимые сущности языка, построенные параллельно и независимо одна от другой и имеющие лишь точки соприкосновения.

В трансформационной грамматике вводится ряд правил, которые будут «генерировать», например, предложение *My friend opened the door*. Этому предложению приписываются определенные шаги членения, состоящие в следующем: вводятся 8 правил, указывается символ, который расшифровывается более развернутым символом. Все предложение (S), таким образом, делится на две НС (NP и VP), каждая из которых в свою очередь делится на две НС (VP → verb + NP), (NP → артикль + N), (verb → мод. глагол + основной глагол). Правила 1—4 воспроизводят уже порожденное, т. е. исходное или «ядерное» предложение. Правила 5, 7 — это правила с открытыми рядами слов (*my, ...the*), (*will, ...can*), а правила 6, 8 — с открытыми рядами слов (*friend, door...*), (*open, eat...*).

Таким образом, сущность «порождения» предложения, как явствует из примеров Н. Хомского и Дж. Лайонза, состоит в введении правил «развертывания» цепочки слов в предложение, причем это развертывание основано: а) на готовом предложении, уже «порожденном» без правил (т. е. на неизвестных нам правилах), б) на том, что можно заранее задать набор слов, из которых мы бы хотели «породить» предложение; это предложение строится на основе знания языка, хотя грамматика здесь никаких правил не предписывает. Дж. Лайонз пишет, что порождающая грамматика «генерировала предложение *My friend will open the door* с желаемой конституентной структурой» (разрядка наша. — А. К.). Эту «желаемую конституентную структуру» (т. е. дерево НС. — А. К.) автор называет «фразовым маркером» (*phrase marker*), а всю процедуру — фразово-струк-

<sup>11</sup> N. Chomsky, 'Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 4—16, 18.

<sup>12</sup> N. Chomsky, Deep structure, surface structure and semantic interpretation, сб. «Studies in general and Oriental linguistics», Tokyo, 1970, стр. 52.

турной грамматикой (phrase-structure-grammar). В действительности это предложение уже дано в готовом виде, автор лишь «препарировал» его, разбил на соответствующие НС, не показав эксплицитно никаких грамматических правил, на основе которых оно построено. Порождение предложения здесь действительно происходит, но оно осуществляется не на основе правил порождающей грамматики, а благодаря владению языком, знанию языка.

В связи с изложенным становятся понятными и выводы Дж. Лайонза, согласно которым термин «порождающая грамматика» имеет два значения, которые он строго разграничивает: 1) под «порождающей грамматикой» понимается «формализованная», «эксплицитная» грамматика, т. е. любая система правил, посредством которых можно описать структуру бесконечного числа предложений; в этом смысле традиционная грамматика была «порождающей» и 2) под «порождающей грамматикой» Дж. Лайонз понимает также творческий аспект языка, т. е. систему правил, позволяющих конструировать все правильные и только правильные предложения. Язык в понимании Н. Хомского и Дж. Лайонза — сумма правильных предложений, порожденных грамматикой.

Что положительного можно усмотреть в трансформационной грамматике? В о - п е р в ы х, неоспоримо, что развитие трансформационной грамматики явилось важнейшим фактором в пробуждении интереса к семантике, в частности, к структурированию семантики, что могло бы, при учете тесной связи формы и содержания, значительно продвинуть теорию семантики. В о - в т о р ы х, развитие трансформационной грамматики привело к сознательному и систематическому использованию трансформационных правил, которые служат полезным аппаратом не только для раскрытия разных значений внешне одинаковых построений, но и для проведения эксперимента в языкознании. Речь может идти в основном о трансформационных тестах как об эксперименте в языкознании, в том числе и об отрицательном языковом эксперименте. Введение некоторых трансформационных правил, собственно, и является наиболее ценным во всей трансформационной грамматике. В - т р е т ь и х, формализованная и эксплицитная теория всегда предполагает построение модели объекта, а построение модели объекта лежит в основе теоретического изучения объекта. Следовательно, требование формального и эксплицитного подхода в трансформационной грамматике означает требование научного подхода, что, впрочем, не чуждо было и традиционной грамматике (по крайней мере, в ее лучшем варианте). Требование «научности» подхода к объекту может, однако, и не означать создания принципиально новой теории грамматики.

Однако основные положения трансформационной грамматики остаются неясными, декларативными, противоречивыми, давно известными или просто надуманными. Нисколько не претендуя на полноту и глубину изложения теории трансформационной грамматики, нам хотелось бы высказать по этому вопросу лишь некоторые критические замечания.

1. Если, как это делает Н. Хомский, называть порождающую грамматику трансформационной грамматикой, которая исходит из ядерных предложений, то возникает немало трудностей. Например, неясно, откуда и на основе каких правил появились ядерные предложения (разумеется, не на основе трансформационных правил, так как трансформационная грамматика основывается уже на готовом корпусе ядерных предложений: ядерное предложение у Н. Хомского — это «готовое» предложение, которое не образуется путем обращения к эксплицитным трансформационным правилам). Если предположить, что это — грамматика поверхностной синтаксической структуры предложения, которая долгое время была представлена традиционной моделью членов предложения и в последние деся-

титетия — грамматикой НС, то данное предположение не согласуется с самой теорией трансформационной грамматики, согласно которой поверхностная синтаксическая структура предложения порождается с помощью трансформационных правил глубинной структурой предложения. Следовательно, допускается еще какая-то иная, нетрансформационная грамматика, существующая до и помимо трансформационной грамматики.

2. Эта грамматика не «порождает» предложения, а лишь моделирует предложения в соответствующих символах, лишь объясняет уже «порожденные» по неведомым нам правилам предложения. Из «правил» трансформационной грамматики не вытекает с необходимостью выбор или предпочтение того или иного трансформации, как пишет Н. Д. Андреев, отсутствует тот оператор, который обязывает говорящего предпочесть переход ядерной структуры в пассивную или активную конструкцию<sup>13</sup>. Обязательные трансформационные операции, заданные трансформационной грамматикой (там, где они вводятся), являются в определенной степени произвольными и, следовательно, не составляют внутренне завершенную систему правил.

3. В качестве примера Дж. Лайонз приводит лишь наиболее очевидное правило трансформационной грамматики — преобразование «активного» предложения в «пассивное», т. е. преобразование поверхностной структуры в глубинную структуру. В сущности преобразование *My friend will open the door* → *The door will be opened by my friend* ( $NP_1$  — модальный глагол — V —  $NP_2$  →  $NP_2$  — модальный глагол — be-en-V-by- $NP_1$ ) представляет собой не что иное, как те же традиционные правила, записанные не в символах членов предложения, а в символах частей речи.

Если под порождающей грамматикой понимать систему правил, посредством которых можно описать структуру предложений, то порождающая грамматика по ее теоретической целеустановке совпадает с традиционной (разумеется, в ее лучшем варианте), или, как пишет сам Дж. Лайонз, традиционная грамматика была «порождающей». Однако по уровню практической реализации своих постулатов трансформационная грамматика оказалась далеко позади традиционной грамматики, в которой, напротив, находим только «практическую реализацию» без достаточного теоретического обоснования. Трансформационная модель предложения, которая должна заменить, по замыслу ее создателей, модель НС, сама оказалась во многих отношениях даже слабее модели членов предложения, «испровергнутой» еще моделью НС, и знаменует возврат к наименее зрелым этапам традиционной грамматики. Если все-таки согласиться, что порождающая грамматика — то же, что и традиционная грамматика, то остается неясным, в чем новизна порождающей грамматики. Тем более, что ей неизвестны такие понятия, как форма, слово, парадигма, окончание, лицо, число, порядок слов и т. д., т. е. весь тот грамматический арсенал, который накопился за века существования традиционной грамматики, взамен чему Н. Хомский и Дж. Лайонз ничего не предложили.

Трансформационную грамматику можно было бы считать шагом вперед по сравнению с традиционной грамматикой, если бы трансформационная грамматика представляла собой, скажем, более высокую ступень формализации того, что уже известно из традиционной грамматики. Однако трансформационная грамматика не только игнорирует весь лингвистический арсенал прошлого, но и не нацелена на какой-либо иной, скажем, более научный, более обобщенный, более тонкий анализ языкового материала.

4. Рассмотрение грамматики как системы правил перехода «от звука к значению» (для слушающего) и «от значения к звуку» (для говорящего)

<sup>13</sup> См.: Н. Д. Андреев, Квасилингвистика Хомского, ВЯ, 1976, 5, стр. 59.

не может быть принято уже потому, что такое определение грамматики основано на чисто механическом подходе к грамматическому устройству языка. Н. Хомский, оставаясь на поверхности явления, видит лишь связь материального (звук) и идеального (значение), не проникая в сущность их взаимодействия, основывается на допущении, что за звуком нет ничего, кроме физической материи<sup>14</sup>. На самом же деле за чисто звуковой (графической) материей скрыты некие «звуковые типы»<sup>15</sup>, встает система смысло-различительных признаков, фонем, как бы мы их ни понимали, система, которая и позволяет говорящему и слушающему увидеть в бесконечно переменных звуковых величинах совершенно определенные значимые единицы. Физические звуки выполняют свою функцию как материальные единицы языка лишь в силу того, что за ними стоит система фонем, организующая бесконечный калейдоскоп звуков в значимые единицы. Если, далее, под грамматикой понимать систему правил перехода от «звука к значению», то это означает, во-первых, что Н. Хомский в описании звукового строя языка должен был отказаться от фонологии — самого блестящего достижения новейшего языкознания — и встать на точку зрения старой фонетики, отраженной еще в работах Э. Брюкке и Э. Зиверса<sup>16</sup>, что Н. Хомский, оставаясь в этом вопросе последовательным, фактически и сделал в своих фонологических работах<sup>17</sup>. Во-вторых, если бы Н. Хомский под грамматикой понимал систему правил перехода от «фонемы (а не от звука) к значению», то и в этом случае не была бы раскрыта сущность грамматики, в которую, как известно, входит не учение о фонемах, а учение о грамматическом строе языка.

5. В основе грамматики Н. Хомского лежит «глубинная структура», представляющая собой не что иное, как область понятийных значений, логическое содержание предложений, которое само по себе не составляет предмета грамматики, занимающейся, как известно, лишь формальным аппаратом языка — морфологическими и синтаксическими формами. Хотя семантика предложения имеет прямое отношение к грамматике и выражается средствами грамматики, однако семантика не сводится к грамматике, а является особым уровнем языковой структуры. Следовательно, «глубинная структура» не есть составная часть грамматики, и тем более — не грамматика.

6. Понятие трансформации опирается на понятие семантического инварианта как нечто неопределенное, аморфное. Попытка построить грамматику на основе глубинных структур — это попытка подменить грамматику категориями семантики. Глубинные структуры оказались фактически объектом изучения логики. Поскольку же логические категории отражают обобщенные категории внешнего мира, постольку эти значения обнаруживаются во всех языках в виде универсальных категорий. Глубинные структуры английского языка, на материале которого они были добыты Н. Хомским, оказались одними и теми же глубинными структурами русского, немецкого, французского и других языков, превратившись в некие логические универсалии. Поэтому универсальность глубинных структур отражает лишь *н е с п е ц и ф и ч е с к и й* (разрядка наша. — А. К.)

<sup>14</sup> Как справедливо отмечает В. М. Солнцев, проблема соотношения звука и значения — не грамматическая, а, скорее, семиотическая проблема (см.: В. М. Солнцев, Относительно концепции «глубинной структуры», ВЯ, 1976, 5, стр. 16—17).

<sup>15</sup> См.: Л. В. Щербачева, Фонетика французского языка, М., 1963, стр. 18.

<sup>16</sup> См.: E. Brücke, Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute für Linguisten und Taubstummenlehrer, 2. Aufl., Wien, 1876; E. Sievers, Grundzüge der Phonetik, 5. Aufl., Leipzig, 1901.

<sup>17</sup> См.: Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, сб. «Новое в лингвистике», IV, 1965, стр. 519—567; N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York, 1968.

для каждого данного языка характер»<sup>18</sup>, в то время как цель и назначение грамматики — изучение специфического грамматического устройства каждого языка<sup>19</sup>.

7. Поскольку сущность трансформационной грамматики определяется глубинной структурой языка, а глубинная структура каждого предложения по Н. Хомскому — это его семантическое значение, трансформационная грамматика идентифицируется с мышлением как процессом или с сознанием как статическим состоянием процесса мышления. Это в свою очередь ведет к двум следствиям: во-первых, мышление, оказавшись областью изучения грамматики и, следовательно, языка, является единственным предметом языкознания (в таком случае неясно, какими же сторонами мышления занимаются такие науки, например, как психология, логика, философия); поскольку же, во-вторых, мышление как процесс является объектом изучения психологии, вполне естественно, что трансформационная грамматика по своей сути оказалась психологичной. Неудивительно, что язык у Н. Хомского — область психологии, а языкознание — часть психологии.

8. Вся трансформационная грамматика представлена как описание различных абстрактных категорий и отношений, не очень четко и внятно связанных с «живыми» предложениями языка. В сущности, эта грамматика — неконструктивна, она не служит в руках исследователя инструментом, который помог бы построить, «генерировать» предложение. Эта модель, в лучшем случае, описывает, какое ядерное предложение перешло в трансформ, однако все это показано на отдельных примерах, не позволяющих судить об эффективности трансформационной грамматики в языке вообще. Созданная Н. Хомским с целью описания соотношения формы предложения и его семантики, «порождающая грамматика» фактически описывает не структуру языка, а принадлежит лингвистической «теории» в виде некоторой абстрактной схемы, в виде метаязыка для описания семантической структуры предложения.

9. В мировой лингвистической литературе сломано немало копий по поводу трансформационной грамматики. Однако «трансформационной грамматики» как таковой, по-видимому, пока еще не существует. Эта теория не нашла пока своей полной реализации на материале ни одного языка, чего нельзя сказать о «традиционной грамматике», реализованной, как известно, на материале многих языков. При описании «трансформационной грамматики» мы имеем дело лишь с разрозненными фрагментами языка, примерами применения в «трансформационной грамматике» лишь отдельных предложений как полигона для теоретических упражнений, для декларирования определенных теоретических постулатов, большей частью непоследовательных и противоречивых. Эта «грамматика» построена на тривиальных предложениях, приводимых в качестве примеров, без обращения к массовой обработке и анализу предложений языка.

10. Для авторов трансформационной грамматики большое значение, как кажется, имеет терминология, нередко подменяющая суть исследуемых проблем. Трансформационная грамматика направлена не на коренное усиление старых грамматических представлений, смотрит не на суть явления, а имеет своим объектом второстепенные детали предложения, игнорируя даже то устоявшееся и объективное, что так хорошо известно из традиционной грамматики. Создается впечатление, что авторам трансформационной грамматики стало тесно внутри традиционных терминов и они захотели освободиться от старых представлений. Но, создав новые

<sup>18</sup> В. М. Солнцева, указ. соч., стр. 23.

<sup>19</sup> Там же, стр. 25.

термины, они не создали исчерпывающей, последовательной, объективной теории, основанной на реальных фактах языка. Хотя трансформационная грамматика Н. Хомского <sup>20</sup> позже была усилена за счет более разумной теории <sup>21</sup> (она состоит из трех наборов правил: синтаксических, семантических, фонологических), однако и это новшество не придало трансформационной грамматике принципиально нового теоретического импульса.

11. Н. Хомский считает, что человек обладает языком в силу его врожденной «языковой способности». Это должно означать, что в человеке *ab ovo* заложен «естественный» язык. Какой? Разумеется, язык родителей. Однако давно известно, что ребенок лишь к двум — трем годам усваивает языковую систему окружающих. Уже это одно свидетельствует о том, что язык — приобретенное явление и не заложен в мозгу человека от рождения. Если бы это было не так, то новорожденный с самого начала должен был бы обладать способностью к анализу свойств предметов, выделению наиболее существенных признаков в предметах. А процесс выделения существенных признаков есть процесс анализа и процесс фиксации результатов анализа в языковой системе. Это означало бы, далее, что уже новорожденный способен обладать наивысшей формой отражения действительности — абстрактным мышлением, т. е. обобщением выделенных свойств в словах естественного языка. Совершенно очевидно, что новорожденному непосильно понятие абстракции. Если же допустить, что Н. Хомский имеет в виду не врожденную «языковую способность», а «предрасположенность» человека к усвоению естественного языка, то с этим можно согласиться. Однако это свойство человека остается не более как физиологической предпосылкой человеческого организма, не более как «предрасположенностью», если она не попадает на благодатную почву соответствующего языкового окружения.

12. Что же касается определения языка Н. Хомским как суммы правильных предложений, суммы индивидуальных «речей», множества предложений, порожденных этой «порождающей грамматикой» <sup>22</sup>, то этот тезис ведет к неразрешимым теоретическим трудностям.

а) Если под «порождающей» грамматикой понимать ее творческий характер, ее способность «порождать» правильные предложения языка, то остается загадкой, как это «порождающее» свойство языка совместить с определением языка как простой суммы предложений, суммы, которая как бы является постоянной, заданной, готовой, и не предполагать ни того, что она сама — сумма творческих актов, ни того, что она постоянно меняется в количественном отношении.

б) Если рассматривать язык как множество правильных предложений, порожденных трансформационной грамматикой, то мы не можем избавиться от мысли о полном параллелизме между языком, трансформационной грамматикой и текстом. Это в свою очередь ведет к следствию, что 1) такие аспекты (или уровни) языка, как фонология, морфология, синтаксис (два последних объединяются под термином «грамматика»), лексикология, фразеология, просодика, логико-грамматический уровень, семасиология как видовые понятия объединяются родовым термином «трансформационная грамматика», который, вопреки логике, оказался более узким по сравнению с видовыми понятиями, ибо оставляет практически вне своей сферы

<sup>20</sup> См.: N. Chomsky, *Syntactic structures*, The Hague, 1957.

<sup>21</sup> См.: N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*.

<sup>22</sup> Этой точки зрения придерживаются не только Н. Хомский и Дж. Лайонз, но и целый ряд других зарубежных лингвистов. См., например: Л. Блумфилд, *Язык*, М., 1968, стр. 66; Ч. Фриз, *Значение и лингвистический анализ*, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 110; Н. Мосер, *Deutsche Sprachgeschichte*, 5. Aufl., Tübingen, 1965, стр. 13.

большинство аспектов языка, хотя теоретически и отождествляется с языком; 2) понятие «трансформационной грамматики» отождествляется с известным из соссюрской дихотомии понятием «речи», ибо «текст» идентифицируется у Ф. Соссюра и у его последователей только с «речью». Следовательно, между «языком» и «речью» (через трансформационную грамматику) и «текст» ставится знак равенства. Однако Н. Хомский не аргументирует свою позицию, полагая, по-видимому, что оппозиция «язык — речь» сейчас уже не заслуживает внимания. Напротив, теория соотношения языка и речи заслуживает сейчас более, чем когда бы то ни было, самого пристального внимания хотя бы потому, что без правильного решения этого вопроса, нашедшего противоречивое решение у самого Ф. Соссюра, невозможно приблизиться к правильному решению вопроса о соотношении языка и мышления. Однако это специальная проблема.

в) Определение языка как суммы правильных предложений приводит к выводу, что «трансформационная грамматика» Н. Хомского остается на уровне наблюдения, не проникая в сущность явления, не устанавливая того общего, что лежит в основе бесконечного множества предложений, которые, как известно, построены на основе конечного набора лексических единиц и еще более конечного набора грамматических и лексических правил. Определение языка как множества предложений, во-первых, выбивает из-под ног почву для понимания, как говорит Н. Хомский, «творческого», «порождающего» характера языка, позволяющего генерировать бесконечное множество предложений, главным образом таких, какие говорящий никогда не слышал. Сам же Н. Хомский ратует за определение языка как некоего «порождающего устройства! Во-вторых, если языку приписать способность порождать бесконечный ряд предложений, то нельзя его определять как сумму предложений, ибо принципиально невозможно было бы овладеть языком и владеть им, если бы он состоял из бесконечного числа элементов (суммы предложений). Язык — не сумма предложений, и даже не сумма порожденных грамматикой предложений, а сумма а б с т р а к т н ы х п р а в и л (морфологических, синтаксических, лексикологических, семасиологических, логико-грамматических и др.), лежащих в основе бесконечной «суммы предложений».

В основе способности языка порождать бесконечный ряд уникальных предложений лежит его структурный характер. Например, количество фонем в русском языке — 41 (в том числе 6 гласных, т. е. 15%), в английском языке — 44 (в том числе 20 гласных, т. е. 39%), в немецком языке — 40 (в том числе 17 гласных, т. е. 38%). Каждый язык содержит морфем больше, чем фонем, а слов больше, чем морфем. И только наивысших единиц — предложений — бесконечное число. Сущность языка заключена не в «сумме предложений», а в его структурном характере, т. е. в способности ограниченного числа элементов языка (хотя и чрезвычайно большого) сочетаться с ограниченным количеством правил сочетания, что и позволяет «порождать» бесконечный ряд речевых произведений. Дж. А. Миллер подсчитал, что, например, в английском языке гипотетически существует  $10^{26}$  предложений. Если сравнить это количество с количеством отдельных слов языка ( $10^4$  или  $10^5$ ), то станет ясной «продуктивность» языка: для произношения  $10^{20}$  предложений, состоящих из 20 слов, нужно было бы затратить времени в тысячу раз больше, чем возраст Земли<sup>23</sup>. Из принципа структурности языка ясно, каким образом язык с ограниченным числом единиц, т. е. конечным набором единиц и конечным набором правил их связи, обладает бесконечными комбинационными воз-

<sup>23</sup> См.: Дж. А. М и л л е р, Психолингвисты, сб. «Теория речевой деятельности», М., 1968, стр. 256.



можностями. Ограниченность лексикона языка и правил связи слов — необходимый признак языка, связанный с компактностью и экономностью записи языковой системы в нейронных связях мозга, а в конечном счете — с ограниченностью человеческой памяти. П р о д у к т и в н о с т ь человеческого языка, которая зиждется не только на знании человеком всех строительных элементов языка и правил их связи, но и на психологических механизмах, приводящих в действие эти элементы (оба эти приобретения человека и формируют нашу способность конструировать и понимать бесконечный ряд предложений, включая предложения, которые мы никогда ранее не слышали), а также его с т р у к т у р н ы й характер — вот основная сущность языка. Признак «п р о д у к т и в н о с т и с т р у к т у р ы» указывает на сущностный характер языка как «языка в мозгу», т. е. как свойства мозга. Познавать эти свойства — значит одновременно перекинуть мост к соотношению языка и действительности, языка и мышления, языка и сознания, языка и речи (кстати, изучение этих соотношений и составляет то, что должно быть истинным предметом общего языкознания).

13. «Трансформационная грамматика» предстает перед нами не как грамматика в обычном, установившемся понимании этого термина (термин «грамматика» всегда употреблялся в двух значениях — как наука о грамматическом строе языка и как сам грамматический строй языка), а как попытка подменить грамматику порождающим механизмом языка. В связи с невозможностью прямого изучения порождающих механизмов языка в мозгу Н. Хомский создал трансформационную грамматику, возложив на нее функции нейрофизиологии и нейропсихологии. Действительно, в период создания этой грамматики такое смелое решение можно было оправдать слабостью экспериментальной физиологии и психологии. Вопрос о способах существования языка в мозгу не мог быть решен путем прямых экспериментов. Электроэнцефалографический метод не давал возможности выделить специфические показатели мыслительной деятельности и о порождающем механизме языка мы могли судить только по косвенным приметам (изучение речевых произведений, письменных и устных, а также изучение афазии)<sup>24</sup>. Попытка построить модель, имитирующую речевую деятельность человека, модель, которая позволила бы постичь тайны порождающих механизмов мозга, управляющих этой деятельностью, в 70-е годы уже не является неосуществимой мечтой<sup>25</sup>, и больше нет необходимости говорить о трансформационной грамматике как о единственном средстве проникновения в тайны порождающих механизмов мозга, ибо эта область входит в компетенцию не столько грамматики, сколько других наук. Согласно экспериментальным данным, порождающий механизм языка находится уже не «за семью замками», и у нас уже есть способ заглянуть в этот «черный ящик». Новейшие технические средства регистрации и обработки физиологических данных позволили приоткрыть занавес в изучении нейрофизиологического кода психических явлений. Было установлено, что импульсная активность клеток мозга соответствует определенным словесным сигналам. Итоги исследований позволяют сегодня предположить вполне определенную схему переработки словесной информации. Первоначально слова шифруются в мозгу в электрических импульсах как сложные звуковые сигналы. Возникший при этом код адресуется в долговременную па-

<sup>24</sup> См., например: Д. С. В о р о н ц о в, Общая электрофизиология, М., 1961, стр. 146; П. С. К у п а л о в, Учение о рефлексиве и рефлекторной деятельности и перспективы его развития, сб. «Философские проблемы физиологии высшей нервной деятельности и психологии», М., 1963, стр. 140.

<sup>25</sup> Проблема прямого исследования мозга человека успешно решается в Институте экспериментальной медицины АМН СССР, где в 1963—1975 гг. (за 12 лет) было обследовано более 2000 зон мозга (см.: Н. Б е х т е р е в а, Новое в изучении мозга человека, «Коммунист», 1975, 13).

мать, в результате активации которой возникает новый электрический код — смысловой код. Произнесенное говорящим знакомое слово, пройдя через стадию акустического кода, как бы «оживает» в мозгу. При необходимости речевого ответа в мозгу предварительно формируется управляющий код. Данные о кодировании слов как важнейшая ступень к изучению тончайших механизмов позволили выделить те звенья, в которых происходит кодирование слов и простейших логических операций. Стало возможным исследовать, «как и каким образом мозг человека кодирует эту сугубо человеческую информацию» (разрядка наша. — А.К.)<sup>26</sup>. То, что уже сделано в этой области, может рассматриваться как «получение результатов, позволяющих тем самым создать предпосылки для реализации предвидения И. П. Павлова о возможности наложения психологического узора на физиологическую канву, т. е. соотносить конкретные психические процессы с вполне определенным материальным базисом»<sup>27</sup>.

Если, далее, под порождающей грамматикой понимать порождающий механизм языка, а порождающий механизм языка, надо полагать, состоит в изучении механизма отражения действительности в мышлении, то авторы порождающей грамматики должны были бы заняться установлением соотношения между такими феноменами, как действительность, мышление, сознание, логика, язык, речь, т. е. изучением лингвистических аспектов теории познания. И действительно, Н. Хомскому не чужда эта тема. Он посвятил одной из проблем этой теории целую книгу<sup>28</sup>. Однако читатель не найдет в этой книге того, чему она посвящена, — описания взаимоотношения языка и мышления. Все сводится к той же «трансформационной грамматике». Сама трансформационная грамматика для Н. Хомского — это правила порождения языка. Но эти правила, как мы отметили выше, не могут быть ничем иным, кроме как механизмом, заложенным в мозгу. Как «работает» этот механизм, какова его связь с действительностью, мышлением, сознанием, логикой, речью — пока остается тайной, постепенно раскрываемой нейрофизиологией и нейропсихологией, но отнюдь не «трансформационной грамматикой».

\*

Таким образом, о трансформационной грамматике нельзя говорить как о грамматике в собственном смысле этого термина, т. е. в том смысле, в каком мы говорим о так называемой «традиционной» грамматике, посредством которой можно было бы описать структуру бесконечного числа предложений. Речь фактически идет не о грамматике какого-то типа, а о порождающем свойстве «языка в мозгу», которое нельзя свести к одной лишь грамматике, ибо это «свойство» предполагает, кроме грамматики (за данным термином закрепилось понятие системы морфологических и синтаксических правил), также систему фонологических, семантических, стилистических, логико-грамматических, статистических и др. правил. Порождающая грамматика теоретически предстает перед нами как всеобъемлющее учение о языке, а практически — как развертывание цепочки слов на основе интуитивного владения языком. Трансформационная грамматика — это языковая интуиция каждого отдельного индивида. Она растворилась в интуитивном «видении» языка, что отчасти было присуще и традиционной грамматике, с той лишь разницей, что традиционная грамматика существует реально, в то время как трансформационная — лишь попытка создания метаязыка для еще не существующей грамматики.

<sup>26</sup> См.: Н. Бехтерева, указ. соч., стр. 91; е е же, Зашифровано природой, разгадано человеком, «Наука и жизнь», 1976, 9, стр. 80 и сл.

<sup>27</sup> См.: Н. Бехтерева, Новое в изучении мозга человека, стр. 93.

<sup>28</sup> См.: Н. Хомский, Язык и мышление, М., 1972.

ЮРЧЕНКО В. С.

# СКАЗУЕМОЕ

(На материале русского языка)

I. Для современного состояния синтаксической науки важное значение приобрел вопрос о соотношении структуры предложения и сказуемого (грамматического предиката). На начальном этапе исследования этот вопрос можно сформулировать так: что чем обусловлено — сказуемое структурой предложения или, наоборот, структура предложения сказуемым? Многие современные синтаксические теории явно или скрыто, последовательно или непоследовательно придерживаются принципа, по которому структура предложения так или иначе обусловлена семантической и грамматической природой сказуемого. Согласно одним теориям, считается, что сказуемым предопределено, или обусловлено, количество и характер членов (актантов) в структуре предложения. Например, сказуемое *светает* предполагает нулевое окружение, т. е. отсутствие субъектного и объектных членов; сказуемое *спит* предопределяет наличие одного члена — субъектного (*Ребенок спит*); сказуемое *читает* при неабсолютном употреблении требует двух членов — субъектного и объектного (*Мальчик читает книгу*); сказуемое *подарил* требует трех членов — субъектного и двух объектных (*Брат подарил сестре книгу*) и т. д. В рамках подобных теорий структура предложения — это только «проявление», раскрытие того, что в имплицитном виде уже содержится в сказуемом, в его грамматической и особенно семантической структуре. Таким образом, получается, что сказуемое — это даже не член предложения, пусть главный, или ядерный, или конститутивный, а как бы свернутое предложение. Указанный принцип дополняется положением, согласно которому синтаксические члены, не обусловленные сказуемым, являются избыточными, ненужными для предложения. Так, считается, что обстоятельственный член, выражающий адвербиальный признак (например, *крепко* в предложении *Он спит крепко*), необязателен для предложения или даже вообще не входит в его структуру. В наиболее ярком и законченном виде данная теория представлена у Л. Теньера. Характерно, однако, что такой подход к предложению (от сказуемого) признан и разрабатывается многими лингвистами как зарубежными, так и отечественными, в том числе работающими на материале русского языка<sup>1</sup>.

В других теориях сказуемое детерминирует внутреннюю сущность предложения — предикативность, поскольку последняя оказывается равной грамматическим категориям времени и наклонения, выраженный

<sup>1</sup> См.: L. Tesnière, *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959; J. E. R. b. e. n., *Deutsche Grammatik. Ein Abriß*, München, 1972. Т. П. Ломтев, Структура предложения в славянских языках как выражение структуры предиката, в кн.: «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации», М., 1968; И. П. Распопов, Сказуемое как конструктивный центр предложения, в кн.: «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», Л., 1975.

формами сказуемого. Так, формы сказуемого *пишет, писал, будет писать, писал бы, пиши* предопределяют предикативность как единство грамматического времени и наклонения у следующих вариантов предложения: *Ученик пишет, Ученик писал, Ученик будет писать, Ученик писал бы, Ученик пиши*. Правда, считается, что предикативность как «единство синтаксического времени и объективной модальности» выражается не только формами глагола-сказуемого, но и другими средствами, в частности «самой структурной схемой предложения», однако здесь фактически имеются в виду различные нулевые формы глагольного компонента сказуемого, иногда в сочетании с глагольными частицами *бы, пусть* и др. Такой подход к предложению в наиболее ярком виде представлен в синтаксической концепции, изложенной в книге «Грамматика современного русского литературного языка»<sup>2</sup>.

Если объединить или обобщить названные теории, то можно сказать, что сказуемое детерминирует в них и объем предложения, т. е. количество его членов, и его внутреннее содержание — предикативность.

Однако эмпирический анализ и теоретическое осмысление языкового материала свидетельствуют, что синтаксическая теория, чтобы быть адекватной, должна руководствоваться принципом: не сказуемое «порождает» структуру предложения, а наоборот, структура предложения обуславливает грамматическую и в значительной мере семантическую природу сказуемого.

С точки зрения методологической, представляется странным и неестественным тезис о примате элемента над структурой, т. е., в нашем случае, объяснение особенностей предложения особенностями его сказуемого. Впрочем, если даже признать, что особенности предложения полностью или частично обусловлены особенностями его центрального члена — сказуемого, то познание предложения никак не может считаться на этом законченным, задача просто передвигается на другой уровень: а чем обусловлена природа сказуемого? Почему в языке имеются предикаты с различной, но ограниченной валентностью? От чего зависит валентность предиката и ее варьирование? Как соотносятся друг с другом разновалентные предикаты? Например, как соотносятся двухвалентный предикат (*строит*) и предикат с нулевой валентностью (*светает*)? Или одноместный глагольный предикат (*спит*) и одноместный именной предикат (*велик*)? Почему глагольное сказуемое (или глагольный компонент именного сказуемого) характеризуется формами времени и наклонения? Короче говоря, после перемещения задачи с «уровня» предложения на «уровень» сказуемого количество вопросов, подлежащих исследованию, не уменьшается. Теория «порождения» сказуемым своего окружения опирается обычно на глагольные предикаты, поскольку в их грамматической и семантической структуре действительно имеется указание (то более, то менее четкое) на предметные и некоторые обстоятельственные члены. Но при этом остается в стороне обширная область разнообразных именных предикатов, которые сами по себе, без глагольного компонента, не указывают на связь с другими членами предложения; например: *Он студент; Директор в отпуске; Человек без пальто; Кровать из дерева; Цветы для гостей*. Идя от сказуемого, нельзя объяснить различие между окружающими его членами, в частности между подлежащим и дополнением, нельзя понять их иерархию и их действительную роль в структуре предложения. На этом пути можно сделать и такой сомнительного свойства вывод, что вторым после сказуемого главным членом предложения является не под-

<sup>2</sup> См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970 (далее — «Гр. 70»), стр. 542—544.

лежащее, а дополнение, поскольку в ряде случаев отсутствие первого не ведет, а отсутствие второго ведет к структурной и семантической неполноте предложения; ср.: *Я подарю* и *Подарю сестре книгу*. Впрочем по тем же самым основаниям и обстоятельство может оказаться «главнее» подлежащего; ср.: *Я прихожу* и *Прихожу домой*. Наконец, при вербоцентрическом подходе предложение распадается на ряд разрозненных структурных моделей, число которых трудно определить, поскольку они обусловлены семантическим разнообразием предикатов. Нет возможности привести варианты предложения в систему и найти для них единую инвариантную структуру. Даже такие предложения, как *Он читает* (умеет читать) и *Он читает книгу*, должны быть отнесены к разным и никак не связанным между собою типам.

Анализ лингвистического материала показывает, что в морфемной и семантической структуре глагола-сказуемого находят свое «отражение» окружающие его члены. Так, в морфемной структуре русского глагола-сказуемого имеется показатель субъектного члена. Этот показатель служит одновременно характеристикой субъекта по признаку лица и числа (*Он питет*) или рода и числа (*Он писал*), или только числа (*Они писали*). В сказуемом может находиться также своеобразный морфемный показатель объектного члена — аффикс *-ся*, одна из функций которого — указывать на то, что субъект является одновременно объектом (*Он умывается*). Существенно, что данный аффикс сохраняется и в несказуемой форме глагола — инфинитиве (*умываться*). В семантической структуре глагола-сказуемого могут находить свое «отражение» объектные и обстоятельственные члены. Например, в лексическом значении глагола-сказуемого *подарил* содержатся семы, указывающие на косвенный и прямой объекты (*Он подарил сестре книгу*), а в лексическом значении глагола-сказуемого *приходит* содержится сема, указывающая на конечный пункт движения — обстоятельство места (*Он приходит домой*). Все эти семы сохраняются и в несказуемой форме глагола — инфинитиве (*подарить кому что; придти куда*). Однако делать из всех этих фактов заключение, что указанные компоненты морфемной и семантической структуры глагола-сказуемого (окончания, аффиксы, семы) обуславливают наличие в предложении соответствующих актантов (субъекта, объектов, обстоятельств), — значит следствие выдавать за причину, а причину — за следствие.

Хотя часть глаголов явно указывает на то, что они должны быть распространены зависимыми компонентами, но это, как показывает анализ и теоретическое осмысление языкового материала, объясняется тем, что такие глаголы, будучи извлечены из структуры предложения, потенциально сохраняют в своей семантике указание на элементы этой структуры, т. е. на окружающие их члены. Не потому необходимы при глаголе *подарил* члены *сестре* и *книгу*, что этого требует семантика данного глагола как нечто первичное, а наоборот, валентностный характер семантики обусловлен тем, что глагол может функционировать только при наличии прямого и косвенного объекта, т. е. в структуре *Брат подарил сестре книгу*. Как в гносеологическом, так и в лингвистическом смысле, не действие субъекта порождает объект, а наоборот, наличие объекта позволяет субъекту совершить действие.

Что касается грамматических категорий времени и наклонения, то задача состоит не в том, чтобы механически переносить их с глагола-сказуемого на все предложение (такая экстраполяция мало что дает синтаксической теории), а в том, чтобы выяснить, как и почему структура предложения обуславливает указанные категории, закрепляя их за формами глагола-сказуемого.

II. Анализ структуры предложения показывает, что глагольное сказуемое (*строит, бежит, читает*) выполняет три функции: категориальную, релятивную и модальную. Категориальная функция глагольного сказуемого состоит в том, что оно обозначает предикативный признак исходного (субъектного) предмета. Этот признак — элемент семантической структуры предложения, другими элементами которой являются синтаксические значения подлежащего и заглагольного члена — обстоятельства и дополнения. Категориальное значение предикативного признака служит основой, на которой «надстраивается» вещественное (лексическое) содержание глагольного сказуемого. Следует подчеркнуть, что категориальную функцию выполняют финитные формы только знаменательных глаголов. Но они отличаются друг от друга не этой функцией (она у них одна и та же — обозначение предикативного признака предмета), а лексическим содержанием.

Релятивная функция глагольного сказуемого состоит в том, что оно служит связующим и опосредствующим звеном в структуре отношения между подлежащим, с одной стороны, и заглагольным членом — обстоятельством и дополнением, с другой. Данная функция глагольного сказуемого лежит как бы в «глубине» предложения и поэтому имеет скрытый характер. Это объясняется следующим: поскольку глагольное сказуемое выражает предикативный признак и базирующееся на нем лексическое содержание, то естественно, что заглагольный член (обстоятельство и дополнение) как бы удаляется от подлежащего на линейной (синтагматической) оси предложения и попадает в непосредственную семантическую и грамматическую зависимость от глагольного сказуемого. Только связь обстоятельства и дополнения с глагольным сказуемым находит свое формально-грамматическое выражение в виде примыкания и управления, тогда как их опосредствованная связь с субъектом-подлежащим, как правило, остается невыраженной. Существенно, однако, что в той мере, в какой глагольный компонент теряет свой предикативный признак и базирующееся на нем вещественное содержание, его релятивная функция настолько же обнаруживает себя: глагольный компонент превращается в этом случае в связку. Так, сравнивая два предложения — *Человек сидел на стуле* и *Человек сидел в шапке*, видим, что в первом предложении релятивная функция глагольного компонента является более скрытой, а во втором — более явной (ср.: *Человек был в шапке*). Вообще можно сказать, что категориальная и релятивная функции как бы «противоборствуют» друг другу: чем ярче категориальный предикативный признак, заключенный в глагольном компоненте, тем более скрытой и затупеванной является релятивная функция последнего, и наоборот. Однако в ряде случаев релятивная функция глагольного сказуемого обнаруживает себя достаточно ясно: глагол-сказуемое с помощью формальных средств опосредует связь между подлежащим и дополнением в различного рода активных и пассивных конструкциях; ср. *Солнце освещает землю* — *Земля освещается солнцем*; *Он вспомнил о море* — *Ему вспомнилось море*.

Модальная функция глагольного сказуемого состоит в том, что формы глагола выражают грамматическую категорию наклонения и времени<sup>3</sup>. Анализ показывает, что глагольный компонент предложения выполняет модальную функцию и в том случае, когда он лишен предикативного при-

<sup>3</sup> Термин «модальная функция» употребляется здесь по соображениям удобства вместо двойного и потому громоздкого термина «темпорально-модальная функция» глагольного сказуемого. Впрочем имеются и объективно-языковые основания для употребления первого термина в таком расширительном значении, поскольку категория времени, составляющая содержание индикатива, является, с определенной точки зрения, частью более широкой категории — наклонения.

знака (а также лексического содержания), т. е. не выполняет категориальной функции. Это относится к глагольной связке (*быть*). Но, с другой стороны, модальная функция глагольного компонента неразрывно связана с его релятивной функцией. Более того, есть серьезные объективные основания полагать, что модальная функция глагольного компонента в конечном счете обусловлена его релятивной функцией (см. ниже).

Адекватная теория предложения должна обязательно учитывать все три функции глагольного сказуемого и опираться на них; более того, задача состоит в том, чтобы раскрыть связь между ними. Некоторые синтаксические теории характеризуются ярко выраженной односторонностью, в частности, потому, что они опираются только на одну из названных функций и не замечают двух других. Так, синтаксическая концепция Т. П. Ломтева учитывает только релятивную функцию — способность глагольного сказуемого выражать отношение между предметами: независимым (субъектом) и зависимыми (объектами). Но она оставляет в стороне две другие функции, и прежде всего категориальную функцию, т. е. выражение глагольным сказуемым предикативного признака независимого предмета. Глагольный предикат рассматривается только как имя отношения между предметными переменными, и не учитывается, что он является вместе с тем именем признака субъектного предмета. Это приводит к тому, что релятивная функция также получает одностороннюю интерпретацию: считается, что глагольный предикат выражает отношение к субъекту только предметных заглагольных компонентов (*Студент слушает профессора*), тогда как признаки вые заглагольные компоненты (*Студент слушает внимательно*) исключаются из этого отношения. Таким образом, игнорирование глагольного предикативного признака приводит к исключению из структуры предложения адвербиального признака, а последний является потенциальным именным предикатом (ср.: *Студент внимателен*)<sup>4</sup>.

Теория предложения, изложенная в «Гр. 70», пытается опереться на модальную функцию глагольного сказуемого, т. е. на выражение формами глагола грамматических значений времени и наклонения. При этом никак не учитываются две другие функции: категориальная и релятивная. И хотя признается, что сказуемое в предложении *Ученик пишет* обозначает признак субъектного предмета, но этот синтаксический факт никак не сказывается на облике создаваемой теории. К тому же глагольный предикативный признак не ограничивается от именного предикативного признака (*Дом хорош*) и не показывается их соотношение. Модальная функция глагола-сказуемого не соотносится также с его категориальной функцией. Особенно отрицательно сказывается на адекватности указанной теории игнорирование релятивной функции глагола-сказуемого: именно здесь находится корень того, что заглагольный член (обстоятельство — дополнение) полностью исключается из структуры предложения (так называемые детерминанты не включены в предложение, а стоят как бы рядом с ним, поскольку являются «свободными распространителями» цельной структуры предложения). Благодаря этому создается логический разрыв — пропасть между субъектом (подлежащим) и объектом (дополнением): эти члены единой структуры предложения включаются в разные и никак не связанные (в рамках данной теории) синтаксические единицы: в структуре предложения остается только подлежащее, тогда как дополнение помещается в некоммуникативную единицу — словосочетание.

<sup>4</sup> Сказанное относится к лингвистическому обоснованию синтаксической теории Т. П. Ломтева. Следует, однако, иметь в виду, что эта теория испытала сильное влияние идей математической логики. См.: Т. П. Ломтев, *Общее и русское языкознание*, М., 1976, стр. 201—207.

Между тем объект и субъект неразрывно связаны друг с другом в единой структуре предложения через действие, выраженное глагольным сказуемым, о чем свидетельствует, в частности, активно-пассивная трансформация (*Профессор читает лекцию — Лекция читается профессором*). А «действие», выраженное глагольным сказуемым, — это и есть традиционное (школьное) наименование глагольного предикативного признака.

Интересно, что внутренняя логика рассуждений при построении синтаксической теории, представленной в «Гр. 70», неизбежно приводит ее автора к таким крайним выводам, парадоксальность которых становится очевидной. Как было сказано, данная теория ориентируется лишь на модальную функцию глагольного компонента и совершенно не учитывает его релятивной функции. Причем такое решение вопроса дается не только для глагола-сказуемого (что как-то объяснимо, поскольку его релятивная функция в какой-то мере скрыта), но и для глагольной связки (что непонятно, поскольку ее релятивная функция явна и даже отражена в ее наименовании). В полном соответствии с исходными принципами теории, хотя и в противоречии с фактами языка, утверждается, что глагольный компонент в предложении *Ночь была темна* не выполняет связующей (релятивной) функции, а служит только показателем грамматического времени и наклонения. Н. Ю. Шведова пишет: «... *был, будет* в формах прошедшего и будущего времени выступают не как представители позиции глагола в схеме, а как свободно вводимые и выводимые (? — В. Ю.) чисто служебные временные показатели»<sup>5</sup>.

Таким образом, в отечественной науке о языке в последнее время были созданы две яркие и оригинальные теории предложения, которые являются контрастными относительно релятивной функции глагола-сказуемого: для теории Т. П. Ломтева последняя служит краугольным камнем, а теория «Гр. 70», пытаясь опереться только на одну модальную функцию глагольного сказуемого, принципиально исключает его релятивную функцию.

Встает вопрос: как изменяются функции сказуемого при замене глагольного типа предложения (например, *Солнце светило ярко*) именным (*Солнце было ярко*)? Анализ показывает, что набор функций остается тот же, но они по-другому распределены в структуре именного предложения. Глагольный компонент именного предложения (связка) не выполняет категориальной функции, т. е. не обозначает предикативного признака предмета, вследствие чего лишен также и вещественного содержания. Предикативный признак (и соответствующее лексическое содержание) выражается здесь через именной присвязочный член. Существенные изменения претерпевает и релятивная функция: если у глагольного сказуемого она имеет в значительной мере латентный характер и сводится к роли связующего звена между подлежащим и заглагольным членом — обстоятельством и дополнением, то у глагольной связки она имеет явный, эксплицитный характер и сводится к роли связующего звена между подлежащим и именным предикативным членом. Кстати, отметим, что эти изменения не учитываются в синтаксической концепции Т. П. Ломтева, который приписывает релятивную функцию не глагольному компоненту (связке) составного именного сказуемого, а всему составу этого сказуемого в целом, в связи с чем вынужден оперировать лишь специфическими компаративными предикатами типа *старше, выше, длиннее* и т. д. (например, *Иван старше Петра*). Что касается модальной функции (т. е. обозначения грамматических категорий времени и наклонения), то она при переходе

<sup>5</sup> См.: Н. Ю. Шведова, Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм, ВЯ, 1973, 4, стр. 32.



от глагольного предложения к именному остается без изменения, если не считать того, что в первом случае она осуществляется формами знаменательного глагола, одновременно выражающего предикативный признак и лексическое содержание, а во втором — формами глагольной связки, лишенной того и другого. Поскольку глагольная связка лишена предикативного признака (и базирующегося на нем лексического содержания) и выполняет только служебные функции — релятивную и модальную, то естественно, что одна из ее форм может быть представлена нулевым знаком. В русском языке таковой является форма настоящего времени индикатива.

III. Анализ языкового материала показывает, что глагольное и именное предложения соотносятся двояким образом; назовем одно из этих отношений динамическим, а другое — статическим и кратко рассмотрим их. Существо динамического отношения состоит в следующем: именное сказуемое соотносится с грамматическим составом простого глагольного сказуемого, причем связка (материальная или нулевая) коррелирует с глагольным сказуемым, а именным предикативный член — с приглагольным зависимым членом, обстоятельством или дополнением. Это отношение особенно хорошо видно на примере предложений с омонимичными кратким прилагательным (в позиции сказуемого) и качественным наречием (в позиции обстоятельства). Так, именное сказуемое в предложении *Учитель был строг* соотносится с группой глагольного сказуемого в предложении *Учитель говорил строго*, причем связка *был* коррелирует со сказуемым *говорил*, а именным предикативный член *строг* — с обстоятельством членом *строго*; ср. еще: *Голос звучал резко* — *Голос был резок*; *Огонь горит вечно* — *Огонь вечен*; *Охотник стреляет метко* — *Охотник меток*; *Солдат сражался храбро* — *Солдат был храбр*; *Юноша вошел робко* — *Юноша был робок*. Это отношение обусловлено сложным грамматическим процессом, суть которого сводится к постепенной замене глагольного предикативного признака (например, *Ученик пишет грамотно*) именным предикативным признаком, образованным на базе заглагольного члена (*Ученик грамотен*).

Подобно тому, как подлежащее обозначает грамматический предмет (субъект), так простое глагольное сказуемое обозначает предикативный признак этого предмета. Грамматический предмет, выраженный подлежащим, может устраняться (редуцироваться) из предложения; аналогично этому может устраняться и предикативный признак, выраженный глагольным сказуемым. Но аналогия здесь и заканчивается: последствия редукции грамматического предмета и глагольного предикативного признака совершенно различны. Редуцированный предмет ничем не замещается, так что в языке постепенно образуется односоставное (бессубъектное) предложение, ср.: *Ветер дует* — *Здесь дует*. В отличие от этого глагольный предикативный признак, в случае его устранения из предложения, постепенно заменяется именным предикативным признаком, сформировавшимся на базе заглагольного члена, так что в итоге получается двусоставное именное предложение<sup>6</sup>.

Утрата глаголом-сказуемым предикативного признака ведет к тому, что глагол в той же мере теряет и свое лексическое содержание, поскольку второе базируется на первом. В конце концов у глагола остаются только морфологические формы с их грамматическими значениями лица, рода, числа, времени и наклонения. Таким образом, знаменательный глагол-сказуемое постепенно превращается в связку. Существенно, что одновре-

<sup>6</sup> Эти процессы рассмотрены автором более подробно в кн.: «Простое предложение в современном русском языке», Саратов, 1972.

менно и соответственно этому идет другой процесс — формирование на базе глагольного члена именного предикативного признака, который замещает утраченный глагольный признак. Зависимый от глагола именной член постепенно начинает относиться к подлежащему, а его форма так или иначе уподобляется форме подлежащего. Но это значит, что глагольный член (обстоятельство — дополнение) становится предикативным членом. Вместе с глагольной связкой он образует составное именное сказуемое. Преобразование двусоставного глагольного предложения, в его распространенном через глагольный член варианте, в двусоставное именное происходит, очевидно, под «давлением» двучленной структуры виртуальной мысли (предмет — признак).

Существенно, что переход знаменательного глагола-сказуемого в связку (и соответственно глагольного «второстепенного» члена в предикативный член) осуществляется на базе неопределенно большого множества конкретных предложений и поэтому имеет сугубо постепенный, непрерывный характер. Тот факт, что между знаменательным глаголом-сказуемым и связкой нет ясной и четкой границы, хорошо известен грамматической науке. Он отмечался всеми исследователями, изучавшими данный вопрос<sup>7</sup>. К сожалению, этому фундаментальному факту либо вообще не придается никакого значения, либо он рассматривается как досадная помеха, мешающая строго и однозначно разделить два грамматических класса слов: знаменательные и связочные глаголы. Между тем постепенный переход глагольного сказуемого в связку служит путеводной нитью, которая позволяет правильно соотнести в динамическом аспекте структуру двусоставного глагольного предложения со структурой двусоставного именного предложения.

Чтобы пояснить сказанное, приведем ряд предложений, которые расположим в порядке постепенного перехода от типично глагольной конструкции к типично именной. Ср.: *Он спит крепко — Он пришел домой поздно — Он следовал за другом — Он командовал полком — Квартира состоит из двух комнат — Он выглядит хорошо — Он смотрит волком — Он сидит в пальто и шляпе — Он сказал об этом пьяный — Он родился слепой — Он вернулся радостный — Он работал учителем — Бульвар называется Липками — Он остался сиротой — Он оказался обманщик — Он считается ученым — Он казался другом — Он стал инженером — Он является врачом — Он был учителем — Ночь темна.*

В этом ряду первое и последнее предложения четко противопоставлены друг другу как глагольное и именное (ср.: *Он спит крепко* и *Ночь темна*), между тем как остальные предложения являются в той или иной степени переходными: они постепенно приближаются от глагольного типа к именному. Причем два рядом стоящих предложения почти не различаются по характеру сказуемого. Тем самым данный ряд примеров хорошо показывает динамическое соотношение между глагольным и именным предложениями: постепенный переход грамматического состава глагольного сказуемого в составное именное сказуемое.

Как известно, в речи часто встречаются предложения, которые совмещают в себе свойства глагольной и именной конструкций, как, например: *Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке* (Пушкин); *Все вокруг застыло в крепком осеннем сне* (Горький); *После теплой ночи солнце встало сразу жарко и в полной тишине* (М. Пришвин). Такие предложения — закономерное следствие динамического отношения между глагольным и именным предложениями, постепенного, недискретного преобразования

<sup>7</sup> См., например: А. Б. Шапиро, О границах и типах непростого сказуемого, «Р. яз. в шк.», 1936, 5.

первого во второе. В них трудно определить тип сказуемого — простое глагольное или составное именное. Во всяком случае несомненно, что однозначное решение часто остается все же приблизительным и, следовательно, не отрицает того факта, что граница между простым глагольным и составным именным сказуемыми является для языка в целом нечеткой, размытой.

Деривационная связь (т. е. отношение производности) именного предикативного члена с приглагольным «второстепенным» членом сказывается также в том, что внешний «облик» первого часто повторяет «облик» второго. Иногда это проявляется в виде грамматической омонимии — в случае, когда качественный признак выступает то как адвербиальный (*Человек живет весело*), то как предикативный (*Дитя весело*). А иногда это проявляется в виде сходства или тождества морфологических форм обоих членов. Именной предикативный член «стремится» уподобиться по форме подлежащему (именительный предикативный) или иметь другую специфическую форму (творительный предикативный), но характерно, что в принципе он может иметь любую из косвенно-падежных или наречных форм, присущих приглагольному зависимому члену, как, например, в следующих предложениях: *Вот мой Онегин на свободе...* (Пушкин); *Дверь тяжелая с замком* (Лермонтов); *Это у меня от занятий* (Достоевский); *Варя была с заплаканными глазами...* (Чехов); *Он был, по характеру то, вроде ребенка* (Горький); *Разговор будет начистоту* (К. Федин); *Вот уж вечер, а он без шинели* (К. Симонов).

Если отвлечься от релятивной функции, которая является чисто формальной, синтагматической, то можно сказать, что структура простого глагольного сказуемого имеет две составные части, или две стороны: 1) категориальное значение предикативного признака и базирующееся на нем лексическое содержание; 2) морфологические формы лица, времени, наклонения и их значения. Однако такой двойной характер строения глагольного сказуемого является в значительной мере скрытым, неявным. Указанные две части (стороны) сказуемого помещаются в пределах одного слова — знаменательного глагола: в основе глагола заключено значение предикативного признака и лексическое содержание, а глагольные аффиксы выражают грамматические значения лица, времени и наклонения (например, *Он боле-л*). В составном именном сказуемом (образовавшемся, как было показано выше, на базе грамматического состава простого глагольного сказуемого) двойной характер в строении сказуемого делается явным, эксплицитным, поскольку указанные две стороны закрепляются здесь за разными словами: в именном члене заключено значение предикативного признака и вещественное содержание, а глагольная связка выражает грамматические значения лица, времени и наклонения (ср.: *Он был болен*). Таким образом, в результате преобразования глагольного предложения в именное хотя и меняется качественным образом предикативный признак, но в целом, по объему своих значений, составное именное сказуемое равно простому глагольному. Например, составное именное сказуемое *стали красными* из предложения *Яблоки стали красными* по объему своих значений соотносится с простым глагольным сказуемым *покраснели* из предложения *Яблоки покраснели*. В этом и состоит существо с т а т и ч е с к о г о соотношения между глагольным и именным предложениями<sup>8</sup>. Ср. еще: *Закат стал бледным — Уже побледнел закат румяный* (Пушкин); *Листья стали желтыми — Листья в поле*

<sup>8</sup> См.: А. М. Пешковский, *Русский синтаксис в научном освещении*, М., 1956, стр. 220; А. Н. Гвоздев, *Современный русский литературный язык*, ч. 2 — Синтаксис, М., 1961, стр. 62.

*пожелтели* (Лермонтов); *Трава стала зеленой — Зазеленела трава* (С. Аксаков); *Он учитель — Он учительствует*.

Статическое отношение между глагольным и именным предложениями особенно четко выявляется в том случае, если глагол и имя, употребленные в качестве сказуемых, связаны словообразовательной связью. Очевидно, это не случайно. Можно предположить, что отыменные глаголы типа *покраснеть*, *похудеть*, *разбогатеть* образованы не вообще от имени, безотносительно к его синтаксической функции, не от имени, употребленного в позиции сказуемого. Это значит, что производящей базой служит здесь не просто одно имя, но потенциально вся структура составного именного сказуемого, т. е. предикативное имя в сочетании с глагольной связкой, например: *(стать) красным — покраснеть*; *(быть) учителем — учительствовать*. Структура значений отыменного глагола (например, *болел*) как бы синтезирует в себе структуру значений составного именного сказуемого (*был болен*). Не случайно в толковых словарях при раскрытии лексического значения подобных глаголов используется указание на их генетическую связь со структурой именного сказуемого<sup>9</sup>.

Следует сказать, что в научной и учебной литературе обычно отмечается только статическое отношение между глагольным и именным предложениями, которое более заметно, в частности благодаря базирующемуся на нем словообразовательному процессу. Что же касается динамического отношения, то оно, хотя и является очень важным для понимания природы глагольной и именной конструкций, а также предложения вообще, остается вне поля зрения исследователей. Последнее объясняется в значительной степени тем, что при анализе соотношения глагольного и именного предложений не учитывается конститутивная роль приглагольного зависимого члена — обстоятельства и дополнения. Этот член неправомерно устраняется из глагольного предложения, когда оно сопоставляется с именным предложением.

IV. Вопрос о сказуемом принадлежит более широкой проблеме о соотношении семантической и формальной сторон предложения. С точки зрения методологической, вполне очевидно, что это соотношение не может быть раскрыто, если идти по такому пути: сначала две стороны предложения выявляются, или вычленяются, порознь, независимо одна от другой, а затем уже они сопоставляются и объединяются в структуре целого. В этом случае объединение может быть только чисто механическим. Две стороны предложения с самого начала должны вычленяться из объекта таким образом, чтобы была сохранена и показана их диалектическая взаимосвязь и взаимообусловленность. Но это значит, что в самом основании синтаксической теории должны находиться принципы, развитие которых обуславливает как различие, так и единство семантической и формальной сторон предложения.

Теоретическое осмысление, с одной стороны, исследуемого объекта, а с другой — истории синтаксической науки приводит к выводу, что такими принципами могут быть признаны следующие: а) семантика предложения как грамматической структуры имеет предметно-атрибутивный характер; б) структура предложения строится на линейной оси объективного времени. Существенно, что эти принципы взаимосвязаны.

Понятия-конструкты «предмет» и «признак» являются — по крайней мере в рамках лингвистики — исходными, неопределяемыми. Они образуют структуру, в которой первый элемент ядерный, а второй — зависи-

<sup>9</sup> Из сказанного видно, что синтаксическая и словообразовательная деривации имеют в данном случае обратную направленность: состав глагольного сказуемого преобразуется в составное именное сказуемое (синтаксическая деривация), а от предикативного имени образуется отыменный глагол (словообразовательная деривация).

мый (асимметричное отношение). Ошибка многих синтаксических концепций состоит в том, что бинарная структура «предмет — признак» часто рассматривалась либо как специфически грамматическое содержание предложения, либо как структура мысли, которая находит ближайшее и непосредственное выражение в предложении (последняя точка зрения, в своеобразной психологической окраске, ярко представлена у А. А. Шахматова<sup>10</sup>). Между тем эта структура, в ее предельно абстрактном, всеобщем значении, действительно является логической, или мыслительной, но такой, которая имеет виртуальный характер и не находит своего непосредственного выражения в грамматической структуре предложения. В частности, предложение типа *Дерево высоко* ближайшим образом не выражает данную структуру. Составное именное сказуемое обязательно содержит глагольную связку и предполагает наличие в языке состава глагольного сказуемого, к которому оно генетически восходит. Между тем как элементы «предмет» и «признак» на уровне виртуальной мысли еще не связаны через глагольный компонент с его актуализирующими категориями времени и наклонения. Структура «предмет — признак» представляет собой мыслительную, общепонятийную интерпретацию подлежащего и состава глагольного сказуемого: подлежащее (*солнце*) выражает виртуальный предмет, а состав глагольного сказуемого (*светит ярко*) — виртуальный признак<sup>11</sup>.

В. И. Ленин писал: «Перед человеком *сеть* явлений природы. Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы. Сознательный человек выделяет, категории суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее и овладевать ею»<sup>12</sup>. Можно полагать, что всеобщая структура «предмет — признак» представляет собой первую ступень расчленения объективной действительности языковым сознанием.

Теоретический анализ языкового материала свидетельствует, что между общепонятийной структурой «предмет — признак» и формальной структурой основного типа предложения (подлежащее — глагольное сказуемое — заглагольный член) находится более сложная и более конкретная семантическая структура предложения, имеющая предметно-атрибутивный характер. Она связана со структурой «предмет — признак», но не тождественна ей, поскольку отличается от нее и количеством элементов, и их природой, и способом связи между ними. Еще в 1946 г. Е. С. Истрина писала: «... в концепции Шахматова получается некоторый пробел между коммуникацией, как актом мышления, и предложением, как словесно определенной грамматически оформленной конструкцией. На самом деле между ними выступает еще один ряд, посредствующий ряд синтаксических категорий, куда относится и категория субъекта»<sup>13</sup>. Задача теоретического синтаксиса и состоит в том, чтобы найти эту промежуточную семантическую структуру, специфическую для предложения.

<sup>10</sup> См.: А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941.

<sup>11</sup> Очевидно, абстрактная структура «предмет — признак», представленная грамматическими составами подлежащего и глагольного сказуемого, опосредованным образом связана с актуальным суждением, т. е. членением высказывания на тему и ремю, и вместе с последним может рассматриваться как особый логико-грамматический уровень системы языкового мышления и речевой коммуникации. О несколько ином толковании логико-грамматического уровня языка см. в кн.: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 162.

<sup>12</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 85.

<sup>13</sup> Е. С. Истрина, Субъект и подлежащее как синтаксические термины, «Уч. зап. Казахск. гос. ун-та им. С. М. Кирова», XI — Русский язык, казахский язык и история, Алма-Ата, 1946, стр. 28.

Предпосылкой построения предметно-атрибутивной модели семантической структуры предложения служат следующие соображения: а) онтологически предмет в явном и скрытом виде содержит неограниченное число признаков; б) семантическая структура предложения, лежащая в основе одного высказывания, содержит конечное число признаков (это число больше единицы); в) на глубинном уровне различие между признаками является минимальным; г) минимальное различие между признаками обусловлено только их различным отношением к предмету; д) количество признаков и различие между ними должны быть поставлены в зависимость от их отношения к ядру структуры — предмету. Таким образом, необходимо сконструировать семантическую структуру, в которой к предмету относится конечное число признаков, различающихся минимально, а именно: способом их связи — в широком смысле — с предметом. Есть только один путь к решению данной задачи — располагать предмет и его признаки линейно.

В этом случае признак  $r_1$  будет относиться к предмету  $Q$  непосредственно, а признак  $r_2$  — через признак  $r_1$  и т. д. Говоря обобщенно, признак  $r_n$  будет относиться к предмету  $Q$  либо непосредственно (при  $n = 1$ ), либо опосредствованно, через  $n - 1$  признаков (при  $n > 1$ ). Что же касается количества признаков, то оно определяется путем анализа их позиций относительно предмета: первый признак — непосредственный, а все остальные — в разной степени опосредствованные. Отсюда в структуре должно быть два признака: непосредственный и первый опосредствованный. Если попытаться включить в структуру признаков больше, чем два, то у нас не будет критерия, руководствуясь которым можно было бы затем где-то остановиться, и следовательно, мы вынуждены будем перебрать все опосредствованные признаки и тем самым впадем в «дурную» бесконечность. Поэтому все повторяющиеся опосредствованные признаки первоначально элиминируются из структуры. Таким образом, искомая структура имеет вид:  $Q - r_1 - r_2$ , т. е. «предмет — первый признак — второй признак», расположенные линейно. Она представляет собой вторую ступень расчленения объективной действительности языковым сознанием. Наиболее адекватно такая структура выражается через предложение типа *Солнце светит ярко*.

Сравнивая общепонятную структуру (предмет — признак) и семантическую структуру предложения (предмет — первый признак — второй признак), видим, что первая содержит один признаковый элемент, а вторая — два элемента. Это связано с тем, что первичный признак «представлен» в предложении двумя позиционно различными признаками. Основная конструктивная особенность последней структуры состоит в том, что второй признак относится к предметному ядру опосредствованно — через первый признак (транзитивное отношение). Такой способ отношения обусловлен линейным принципом расположения элементов. А данный принцип в свою очередь обусловлен тем, что семантическая структура предложения строится на линейной оси объективного времени. При интерпретации] принципа линейности часто] допускаются, с нашей точки зрения, две взаимообусловленные ошибки: с одной стороны, считается, что глубинная синтаксическая структура имеет принципиально нелинейный («древовидный») характер, а линейностью отличается только речевая реализация этой структуры — высказывание; с другой стороны, линейность понимается как простое следование друг за другом элементов высказывания в речи (тексте), и такое понимание приводит подчас к отождествлению линейности с порядком слов — членов предложения. С этой точки зрения предложение *Студент учится хорошо* отличается по линейному расположению своих элементов от предложения *Студент хорошо учится*.

Между тем принцип линейности является фундаментальным для синтаксической науки. Он обозначает то, что грамматическая структура предложения построена на линейной оси объективного времени. Это обуславливает самое главное в предложении — принцип связи его элементов друг с другом, а тем самым также и количество их. Если на одной линии расположить три элемента (А, В, С), то крайние элементы (А и С) могут быть соотнесены или связаны друг с другом только транзитивно, опосредствованно — через промежуточный элемент. Дело не в том, что за элементом *Студент* реально следует или не следует во времени (речи) элемент *учится*, а за ним — элемент *хорошо*, а в принципе связи (соотношения) их: элемент *хорошо* объективно в языке соотносится с элементом *Студент* только через срединный элемент *учится*, независимо от того, в какой реальной последовательности они располагаются в речи (тексте). Такой способ связи обусловлен тем, что, как уже отмечалось выше, грамматическая структура предложения построена на линейной оси объективного времени.

С принципом линейности связано качественное различие между признаками, входящими в семантическую структуру предложения. Как сказано выше, второй признак относится к предмету опосредствованно — через первый признак. Этим как раз и обусловлено то, что первый признак становится опосредствующим и в силу этого конструктивным центром (ядром) структуры, а второй — опосредствованным и как таковой попадает в непосредственную зависимость от первого признака, т. е. выступает как признак признака. Таким образом, трехчленная семантическая структура предложения делится на две части: 1) предметное ядро — конструктивное ядро; 2) конструктивное ядро — зависимый от него признак.

Существенно также, что опосредствованный признак, будучи отделен и удален от предмета на линейной оси объективного времени, не может быть постоянным признаком предмета, а может относиться к нему только в определенный отрезок грамматического времени, т. е. времени, определяемого «моментом речи»; в силу этого форма опосредствующего признака (глагольное сказуемое) должна содержать показатель этого времени. С другой стороны, очевидно, что временным, непостоянным признаком предмета может быть не только его внутреннее качество (например, *Солнце светит ярко*), но и отношение предмета к различным внешним обстоятельствам — к другому предмету, пространству, времени и т. д. (*Солнце освещает землю; Солнце светит на небе; Солнце поднимается над горизонтом; Солнце светит днем* и т. д.). Все опосредствованные признаки занимают в семантической структуре предложения одну позицию (заглагольную), образуя единый парадигматический поликомпонентный член (ось «обстоятельство — дополнение»). Таким образом, с линейностью связаны следующие конструктивные характеристики предложения: а) наличие временного показателя у центрального (опосредствующего) члена — глагола-сказуемого; б) поликомпонентный характер третьего (опосредствованного) члена — обстоятельства и дополнения.

В терминах синтаксиса элементы семантической стороны предложения интерпретируются так: предмет — субъект, выраженный подлежащим; опосредствующий признак — предикат, выраженный глагольным сказуемым; опосредствованный признак — заглагольный атрибут, выраженный обстоятельством, переходящим в дополнение. Данные три элемента составляют предикативную часть семантической структуры предложения. Существенно, что предикат и зависимый от него член располагаются справа от предмета в порядке прогрессивной последовательности, адекватной течению объективного времени. Слева от предмета, т. е. в порядке

регрессивной последовательности, противоположной течению объективного времени, располагается его непосредственный и постоянный (вневременной) признак, выраженный через определение. Вместе с предметом он образует атрибутивную часть семантической структуры синтаксиса (словосочетание). Следовательно, благодаря принципу линейности получают конструктивное различие признаки, характеризующие (справа и слева) предметное ядро предложения. При этом денотативное различие между признаками, обусловленное отражением внеязыковой действительности, сливается с их конструктивным различием, обусловленным положением признаков в линейной структуре предложения. В таком слиянии (тождестве) внешней и внутренней обусловленности различий между признаками и заключается суть их грамматичности.

Линейный принцип организации предложения приводит к тому, что его поверхностный и глубинный уровни получают различное структурное членение: так, предложение *Прилежный студент учится хорошо* на поверхностном уровне делится на три бинарные части (*прилежный студент; студент учится; учится хорошо*), тогда как на глубинном семантическом уровне оно делится на две части: атрибутивную (*прилежный студент*) и предикативную (*студент учится хорошо*)<sup>14</sup>.

Следует также отметить, что линейная семантическая структура «непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак» является, с одной стороны, планом содержания основного типа предложения — распространенного двусоставного глагольного, а с другой — системой категориальных значений основных частей речи: прилагательного, существительного, финитного глагола и наречия. Части речи в основном типе предложения конституируются в качестве элементов синтаксической формы, причем в той мере, в какой они имеют индивидуальную морфологическую форму, их реальная последовательность может отклоняться от линейной последовательности элементов глубинной семантической структуры (так называемый свободный порядок слов).

Таким образом, из всего сказанного видно, что три функции глагольного сказуемого — категориальная (обозначение предикативного признака предмета), релятивная (соотнесение заглагольных компонентов с субъектным предметом) и модальная (выражение грамматических категорий времени и наклонения) — коренятся в общей структуре предложения. В конечном счете они обусловлены тем, что семантическая структура предложения имеет предметно-атрибутивный характер и построена на линейной оси объективного времени. При этом важно подчеркнуть, что первичными являются категориальная и релятивная функции, а модальная функция производна от них. Отсюда следует, что «механизм синтагматики и актуализирующее устройство языка» не просто «некоторыми своими частями срослись, подобно siamoisким близнецам», но образуют единый организм предложения<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Под глубинным уровнем предложения здесь понимается семантическая структура основного типа предложения — распространенного двусоставного глагольного. Под поверхностным уровнем предложения понимается формально-грамматическая репрезентация указанной семантической структуры.

<sup>15</sup> Ср.: Н. Д. А р у т ю н о в а, Синтаксис, в кн.: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 267.



ГРИНБАУМ Н. С.

# ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Пути образования, развития и функционирования литературных языков десять последних лет привлекают все более пристальное внимание советских исследователей (ср. работы В. В. Виноградова, Р. А. Будагова, А. В. Десницкой, Ф. П. Филина, В. Н. Ярцевой, М. М. Гухман и ряда других авторов). Повышенный интерес к проблеме литературных языков связан как с ее научной, так и методологической значимостью. Находясь на грани языкознания и литературоведения, она тесно соприкасается с другими гуманитарными науками. Советские ученые вносят существенный вклад в изучение многих литературных языков как народов СССР, так и зарубежных стран. Отличительной чертой этих исследований является конкретно-исторический подход к рассматриваемым явлениям, стремление обнаружить в множестве фактов как общие закономерности, так и специфические особенности развития того или иного литературного языка и дать им подлинно научное толкование.

Среди литературных языков, представляющих особый интерес для науки, выделяются прежде всего языки с длительной и непрерывно развивающейся историей. К ним относится, в частности, греческий язык, письменно зафиксированный в настоящее время на протяжении трех с половиной тысячелетий<sup>1</sup>. Однако фундаментальные работы по истории греческого литературного языка пока еще не созданы. Продолжает оставаться открытым вопрос о литературных языках древней Греции.

В научных исследованиях термин «литературный язык» в связи с древнегреческими языковыми отношениями употребляется непоследовательно рядом с терминами «койне» и «общий язык». По мнению А. Мейе, в древней Греции насчитывалось несколько общих языков: ряд из них образовался в Малой Азии на базе ионийского диалекта, отдельный общий язык существовал на базе дорийского диалекта на северо-западе Греции, эллинистическое койне сложилось на базе аттического и ионийского. Кроме того, общие языки имелись на Сицилии и в III—II вв. до н. э. в эолийской и ахейской конфедерациях, однако они не получили доступа в литературу. На острове Лесбосе сложился только один письменный язык, представленный в поэзии Сафо и Алкея<sup>2</sup>.

Ж. Вандриес выделяет прежде всего связанное с Афинами эллинистическое койне, ставшее общим греческим языком со времени Александра Македонского<sup>3</sup>. Ему предшествовал общий язык в греческих колониях Малой Азии, не ставший по политическим обстоятельствам всеобщим, как аттический. Эпический язык характеризуется Ж. Вандриесом как «специальный» литературный язык, сложенный поэтами и закрепленный раз и навсегда. Вандриес полагает, что рядом с общегреческим языком эллинистической эпохи существовал искусственный литературный. Он до-

<sup>1</sup> См.: Дж. Чэдвик, Дешифровка линейного письма Б, сб. «Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки», М., 1976, стр. 230.

<sup>2</sup> A. Meillet, *Linguistique historique et linguistique générale*, Paris, 1921, стр. 124.

<sup>3</sup> Ж. Вандриес, *Язык*, М., 1937, стр. 242.

пускает, таким образом, сосуществование общих и литературных языков, подчеркивая искусственный характер образования последних.

М. Лежён отмечает, что ряд греческих диалектов лежит в основе образовавшихся литературных языков ионийской и аттической прозы, лесбосской поэзии и др. Однако многие литературные языки представляют собой искусственную смесь различных диалектных элементов, и это относится в первую очередь к гомеровскому языку <sup>4</sup>.

В определении В. М. Жирмунским греческого койне литературный язык выступает как один из его существенных компонентов: «это — язык торговых сношений, объединяющих восточное Средиземноморье в эллинистическую эпоху, язык правительственных актов и канцелярской переписки в эллинистических государствах, язык греческой культуры, науки и литературы, зафиксированный в канонических письменных памятниках и регламентированный грамматиками» <sup>5</sup>.

Говоря о языке древнегреческой литературы, Б. В. Горнунг писал: «История большинства языков дает нам примеры развития литературного языка на основе какого-либо одного из диалектов... Совершенно иную картину представляет история языка древнегреческой литературы. До III в. до н. э. эта литература, носившая уже в течение ряда столетий общенациональный характер, не была единой по языку. Отдельные литературные жанры имели каждый свой собственный язык, развивавшийся из того или иного древнегреческого диалекта или в результате смешения их. Однако далеко не все диалекты получили литературное развитие» <sup>6</sup>.

Особенность литературных языков, складывавшихся в большинстве греческих областей, состояла в том, указывает И. М. Тронский, что «они почти никогда не возникали только на базе народно-разговорного диалекта соответствующей общины и представляли собой в той или иной степени продукт некоего диалектного смешения. К тому же эти литературные языки дифференцировались по жанрам, и каждый жанр давал свое особое соотношение составляющих его диалектных единиц» <sup>7</sup>. И. М. Тронский упоминает об «аттическом литературном языке», о местных и общегреческом койне, возникшем на аттической основе, об аттическом диалекте, легшем в основу греческого литературного языка, о литературном койне Сицилии <sup>8</sup>.

Таким образом, среди исследователей не только нет единства в использовании термина «литературный язык», но и нет общего мнения о том, что он собой представлял. Прежде всего нуждается в уточнении само понятие древнегреческого литературного языка. По-видимому, его не следует смешивать с языком литературных жанров <sup>9</sup>. В этом плане эпический или гомеровский язык, который принято определять как первый древнегреческий литературный язык, было бы целесообразнее называть древнейшим языком греческой литературы, языком эпического литературного жанра или языком гомеровского эпоса. Равным образом о языках хоровой лирики, лесбосской поэзии, аттической драмы надлежало бы говорить не как о литературных, а как о языках соответствующих жанров греческой

<sup>4</sup> M. L e j e u n e, *Traité de phonétique grecque*, Paris, 1955, стр. 7.

<sup>5</sup> В. Ж и р м у н с к и й. Национальный язык и социальные диалекты, Л., 1936, стр. 62.

<sup>6</sup> Б. В. Г о р н у н г, Общие проблемы истории древнегреческой литературы, в кн.: «История греческой литературы», I, М. — Л., 1946, стр. 35.

<sup>7</sup> И. М. Т р о н с к и й, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 38.

<sup>8</sup> Там же, стр. 12—16.

<sup>9</sup> Р. А. Будагов напоминает, что литературный язык и язык художественной литературы — это разные, хотя и взаимодействующие понятия (см.: Р. А. Б у д а г о в, Литературные языки и языковые стили, М., 1967).

литературы. Литературный язык — понятие значительно более широкое, чем язык литературы, хотя, как неоднократно отмечалось, наличие письменности является одним из основных признаков его существования<sup>10</sup>. Из остальных черт, присущих литературному языку, можно назвать следующие: обслуживание им экономических, политических, идеологических, эстетических и иных культурных нужд общества; наличие литературно узаконенных норм и традиций; преодоление характерного для бытовой речи диалектного дробления<sup>11</sup>.

Два последних признака касаются характера и особенностей самого языка и поддаются в той или иной мере изучению в условиях древней Греции на протяжении большого исторического периода. Первое положение, связанное с функциональной характеристикой литературного языка, исследовать намного сложнее. Дело в том, что диапазон сохранившихся до наших дней письменных источников, позволяющих судить об общественной роли и значимости литературного языка, не одинаков на различных этапах развития греческой истории. Он, в частности, представлен весьма скудно с древнейших времен вплоть до VII—VI вв. до н. э. Это вынуждает нас исходить в ряде случаев из косвенных данных и строить свои заключения, базируясь на доступных нам более поздних памятниках греческой письменности.

Заслуживает пристального рассмотрения и вопрос о числе литературных языков в древней Греции. В научной литературе называются обычно такие, как эпический, ионийский, дорийский, аттический, эллинистический. Как правило, основным критерием их выделения служат лежащие в основе того или иного литературного языка греческие диалекты, связанные с определенной областью древней Греции (ионийский, дорийский, аттический), иногда литературный жанр (эпический) или исторический период (эллинистический). При этом отмечается, что лишь некоторым диалектам удалось подняться до уровня литературных, остальные в силу различных причин не получили даже доступа в литературу. К последним относят, например, аркадский, кипрский, элидский, памфилийский, ряд северо-западных диалектов и другие. Это не значит, конечно, что эти диалекты были бесписьменными. Каждый из них, как свидетельствуют дошедшие до нас надписи, использовался более или менее широко в качестве средства общения в том или ином районе Греции. Однако лишь четыре диалекта — ионийский, эолийский, аттический и дорийский — послужили, по мнению исследователей, основой для литературных языков<sup>12</sup>. Взаимодействие этих диалектов в процессе формирования литературных и жанровых языков греческой литературы представляет большой интерес. Вместе с тем возникает вопрос, насколько далеки и отличны друг от друга греческие литературные языки и есть ли достаточно оснований для их выделения в качестве самостоятельных образований. Нельзя не заметить, что главным критерием их различения являются фонетические признаки, в то время как их морфологическая структура и лексика в основном существенно не различаются. Достаточно ли этого, чтобы рассматривать эти диалекты как отдельные литературные языки, особенно если придавать этому понятию то широкое значение, которое оно приобрело в современной лингвистической литературе? Античный период развития греческого языка охватывает около двух тысячелетий. Как известно, в течение этого вре-

<sup>10</sup> Ср.: Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 12.

<sup>11</sup> Ср.: Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3, стр. 8.

<sup>12</sup> Автор настоящей статьи относится отрицательно к мнению о том, что дорийский диалект лежит в основе языка древнегреческой хоровой лирики [см.: Н. С. Гринбаум, Язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар), Кишинев, 1973, стр. 8—28].

мени в системе древнегреческого языка не произошло таких существенных изменений, которые повлекли бы за собой значительные качественные преобразования, что свидетельствует о структурной целостности этого языка на протяжении многих столетий<sup>13</sup>. В свою очередь возникает вопрос: не следует ли считаться и с наличием в древней Греции не нескольких, а одного литературного языка, проходившего разные этапы становления и развития и обогащавшегося в процессе своей истории многими разноречными компонентами, но не терявшего при этом своего единства и целостности<sup>14</sup>. В этом случае такие признававшиеся до сих пор особыми литературные языки, как ионийский или аттический, могли бы рассматриваться как составные части или разновидности единого литературного древнегреческого языка на той или иной ступени его многовекового формирования.

Решение поставленных вопросов невозможно без тщательного и глубокого изучения всей совокупности факторов, определявших исторические пути развития греческого языка, в том числе и литературного, начиная с половины II тысячелетия до н. э. и кончая первой половиной I тысячелетия новой эры. Важнейшими из этих факторов являются: 1) социально-экономические и общественно-политические, т. е. учет динамики и исторических этапов становления греческого государства, особенностей социально-политической и общественно-экономической структуры античных полисов, состояния грамотности древнегреческого общества; 2) географические и демографические, т. е. учет географических и природных условий древней Греции, ее относительной раздробленности, особенностей заселения ее территории и передвижения греческих племен в разные исторические периоды; 3) лингвистические и литературные, т. е. учет распространения и функций греческих диалектов в жизни общества, образования наддиалектных общих языков, формирования языков литературных жанров и их влияния; 4) источниковедческие, т. е. учет качества и количества сохранившегося древнегреческого эпиграфического и папирусного материала, произведений художественной, научной, публицистической и технической литературы.

Нельзя не учитывать и ряда специфических особенностей древнегреческой языковой действительности. Мы имеем в виду следующее: 1) развитие литературного языка не было связано с каким-то одним местом, оно определялось в различные периоды греческой истории разными центрами по мере возрастания их экономической, политической и культурной роли в жизни страны; 2) литературный язык является продуктом диалектного смещения и сохраняет это качество на всем протяжении своего существования; 3) диалектная основа литературного языка непостоянна, она изменяется на различных этапах его становления; 4) в развитии литературного языка наблюдается устойчивая преемственность в области морфологии и лексики при постоянном обогащении последней.

Существенным вопросом для изучения истории древнегреческого литературного языка является ее периодизация. Представляется целесообразным (по меньшей мере, на современной фазе исследования) придерживаться в целом того деления на периоды, которое принято для истории древнегреческой литературы<sup>15</sup>, предпослав им еще один дополнительный — «микенский и послемикенский период» и сохраняя остальные без изме-

<sup>13</sup> Ср.: И. М. Тронский, А. А. Белецкий, Греческий язык, в кн.: «Краткая литературная энциклопедия», 2, М., 1964, стр. 361.

<sup>14</sup> Существование единого литературного языка предполагает Б. В. Горвунг (указ. соч., стр. 21).

<sup>15</sup> Ср.: И. М. Тронский, История античной литературы, Л., 1957, стр. 19.

нений: архаический, аттический, эллинистический (и римский). Хронологически эта периодизация выглядела бы следующим образом.

I. Микенский и послемикенский период. С XIV по IX в. до н. э. Представлен крито-микенскими текстами, отражающими документальный наддиалект греческого языка XIV—XII вв. до н. э. Наряду с ним предполагается существование и развитие, особенно в XI—IX вв. до н. э., устного поэтического наддиалекта. Источник изучения — древнейший эпиграфический материал.

II. Архаический период. С VIII по VI вв. до н. э. Засвидетельствован первыми памятниками греческой художественной литературы — «Илиадой» и «Одиссеей». Представлен жанровыми поэтическими языками: эпическим (Гомер, Гесиод), хоровой лирики, монодической поэзии. Источники изучения — эпиграфический материал и поэтические произведения.

III. Аттический период. С V по IV вв. до н. э. Засвидетельствован значительным числом литературных произведений. Представлен жанровым поэтическим языком драмы (трагедия и комедия) и языком художественной прозы (философской, исторической, ораторской). Источники изучения — эпиграфический материал, прозаические и поэтические произведения.

IV. Эллинистический и римский период. С III в. до н. э. по IV в. н. э. Представлен различными видами поэтической и прозаической литературы, философскими, историческими и научными трактатами. В этот период возникает общегреческий язык (койне). Источники изучения — эпиграфический и папирусный материал, прозаические и поэтические произведения.

Предстоит решить ряд сложных вопросов: об условиях, месте и времени формирования древнегреческого литературного языка; о взаимоотношении между литературным языком и жанровыми языками греческой литературы; о соотношении литературного языка с так называемыми «общими языками»; о роли и взаимодействии греческих диалектов в истории литературного языка; о месте, своеобразии и значении отдельных разновидностей греческого литературного языка на разных этапах его истории; о типах литературного языка и динамике их развития.

В связи с дешифровкой линейного письма B и прочтением крито-микенских текстов II тысячелетия до н. э. требует особого рассмотрения языковая ситуация микенской эпохи, еще четверть века тому назад недоступная науке об античности и представляющая большой интерес для изучения предпосылок образования литературного языка в древней Греции.

В заключение следует назвать три принципа, которыми надлежало бы, на наш взгляд, руководствоваться в предстоящем исследовании: во-первых, изучение древнегреческого литературного языка должно носить исторический характер и учитывать весь комплекс социально-экономических и общественно-политических условий, влиявших на его развитие; во-вторых, оно должно быть диалектическим и учитывать как многообразные изменения в самом языке, так и сложные пути складывания литературного языка в результате взаимодействия его многочисленных компонентов; в-третьих, оно должно постоянно учитывать как явления языковой дифференциации, так и явления концентрации языковых процессов, поскольку они оба играли важную роль в жизни греческого общества<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Ср.: А. В. Десницкая, Роль устных койне в истории образования албанского литературного языка, «Доклады и сообщения советской делегации. III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, 1974)», М., 1974, стр. 1.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ХАЙДАКОВ С. М.

### К ОСОБЕННОСТЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАССНОЙ СИСТЕМЫ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ И ЯЗЫКЕ ФУЛА

1. Язык фула (иначе фуль, фульфульде, фулани, фульбе), на котором, по сведениям Уан Адама <sup>1</sup>, говорит около 8 млн. человек, относится к западноатлантической группе нигеро-конголезской семьи африканских языков. Народ фульбе — скотоводы-кочевники. Отдельные его племена, которые являются носителями различных диалектов и говоров, живут в ряде государств Африки, в частности, в Мали, Бенине, Верхней Вольте, Сенегале, Гвинее, Нигере, Нигерии, Либерии, Того, Камеруне, Мавритании и других. Система лексических классов фула на материале диалекта фута-джаллон впервые достаточно полно была описана в кандидатской диссертации А. И. Коваль <sup>2</sup>. Некоторые сведения о ней содержатся также в работе Уан Адама.

Прежде чем перейти к сопоставлению фактов, необходимо сделать одно разъяснение общего порядка. В отличие от некоторых дагестановедов, использующих диффузное по своему объему понятие грамматического класса, в этой статье различаются два явления разного порядка. С одной стороны, речь идет о лексических классах имен существительных; если они маркированы классными показателями, то можно сказать, что эти лексические классы являются явными, если же они никак не маркированы, то эти классы являются скрытыми <sup>3</sup>. С другой стороны, мы говорим о морфологической категории класса, представленной в синтаксически связанных с этими существительными глаголах, прилагательных и некоторых других словах специальными классными экспонентами.

Язык фула имеет своеобразную систему лексических классов. В некоторых своих звеньях она сложнее системы лексических классов дагестанских языков. Количество лексических классов и соответственно классных экспонентов в фула гораздо больше, и поэтому естественно, что конфигурация классов здесь совершенно иная, чем в дагестанских языках. Корреляция между лексическими классами и грамматическим числом в языке фула выражена более отчетливо и последовательно, чем в дагестанских языках. Позиция классных экспонентов в словах стабильна в

<sup>1</sup> Уан Адама, Проблемы морфологии слова (на материале языка фульфульде). АКД, М., 1976, Автор — носитель диалекта масина этого языка. Считаю своим долгом выразить ему свою искреннюю благодарность за помощь в изучении языка фула.

<sup>2</sup> А. И. Коваль, Семантико-грамматические принципы именной классификации в фула (диалект фута-джаллон). АКД, М., 1976.

<sup>3</sup> О явных и скрытых категориях см.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 78—94.

фула (это исключительно ауслаут) и не стабильна в дагестанских языках (где они встречаются в трех позициях, что обусловлено характером их функционирования).

Различия наиболее серьезного характера между сравниваемыми языками связаны с самим статусом в них системы лексических классов. В фула в полной мере функционирует так называемая инклюзивная (внутренняя) система классных экспонентов, представленных в самих именах существительных. Таким образом, подобно языкам банту, здесь лексические классы субстантивов образуют явную категорию. В дагестанских же языках эта система представлена, как известно, только в отдельных лексемах, в частности, в отдельных терминах кровного родства и т. д. Таким образом, здесь лексические классы образуют скрытую категорию, выявляемую по согласованию связанных с ними слов экспонентами морфологической категории класса. Для дагестанских языков в какой-то мере характерна другая эксклюзивная система классных показателей, отсутствующая в фула. В фула все атрибутивные формы маркированы классными экспонентами, в дагестанских языках прилагательные и причастия маркируются ауслаутными классными экспонентами (в части языков) в том случае, если они факультативно являются грамматическими средствами их выражения. В фула финитные формы глагола стоят вне согласовательной схемы, поскольку они, как правило, не маркируются классными экспонентами, что составляет одну из фундаментальных черт функционирования классной системы данного языка, в то время как в дагестанских языках все словоизменительные формы глагола полностью включаются в согласовательную классную схему в том случае, если глагольная лексема имеет в ауслауте классные экспоненты (хотя имеются также глаголы без ауслаутных классных экспонентов, естественно, функционирующие вне классной согласовательной схемы).

2. Различия принципиального характера в функционировании системы лексических классов сравниваемых языков отчетливым образом проявляются и на синтаксическом уровне. Система классного согласования в фула в полной мере функционирует только в рамках атрибутивной синтагмы, в то время как в предикативной синтагме имя существительное, как правило, не согласуется с глагольным компонентом, поскольку последний не содержит классного экспонента. Система классного согласования дагестанских языков в этом плане не лимитирована. Диапазон функционирования ее глобален в том смысле, что она функционирует как в предикативных, так и атрибутивных синтагмах, и ее характер прямо обуславливается линейными отношениями. В этом плане сопоставляемые языки также обнаруживают различия принципиального характера: в фула как маргинальные (атрибутивные), так и ядерные члены синтагм по отношению к имени существительному всегда занимают постпозитивное положение; в дагестанских же языках линейные отношения обуславливаются типом синтагмы — маргинальные члены атрибутивной синтагмы, как правило, по отношению к имени существительному стоят в препозиции, а в предикативной синтагме имя существительное, выполняющее функцию субъекта, как в форме абсолютива, так и в форме эргатива, как правило, предшествует всем остальным компонентам предложения.

3. Если оставить в стороне догадку Ж. Дюмезиля о том, что классные префиксы дагестанских языков должны восходить к местоименным элементам, то конкретные соображения этого плана встречаются в работах советских кавказоведов, в частности, Ю. Д. Дешериева<sup>4</sup>. Точка зрения

<sup>4</sup> Ю. Д. Дешериев, Грамматика хивалутского языка, М., 1959, стр. 35.

о том, что наряду с однофонемными классными экспонентами встречаются и экспоненты слогового типа, впервые была высказана Т. Е. Гудава<sup>5</sup>.

В языке фула отмечалось также наличие нескольких ступеней (т. е. вариантов) единого классного экспонента: полная ступень, когда классный экспонент в лексемах функционирует с полным набором фонем, и ступени чередования гласного, когда тот же самый экспонент функционирует с неполным набором фонем.

Как известно, в процессе развития языка постоянно наблюдается заполнение словообразовательного и словоизменительного инвентаря за счет десемантизации некоторых разрядов лексем. Лексемы, подвергающиеся или поддающиеся десемантизации, в соответствующих синтагмах обычно выполняют функции маргинальных членов при ядерных. Ими, в частности, являются указательные местоимения при именах существительных, личные местоимения или адвербеально-наречные формы при глаголах и т. д.

С нашей точки зрения, зарождение морфологической категории класса до некоторой степени может быть увязано с функциональными особенностями указательных местоимений. Дейктическая способность этого разряда местоимений многопланова: они (т. е. указательные местоимения) указывают не только на сферу говорящего или слушающего, т. е. на сферу «я» и «ты», но и противопоставляются по разделению денотатов по признаку персональности — неперсональности. Разделение денотатов на людей и не-людей отражается противопоставлением целых основ или их отдельных элементов. Последними в дагестанских языках могут быть лишь классные экспоненты.

Суффигирование или префигирование указательных местоимений прежде всего обусловлено господствующими линейными отношениями. Если указательное местоимение предшествовало имени существительному, что характерно для дагестанских языков, то оно, срастаясь с началом его, становилось префиксом. Если же указательное местоимение занимало постпозитивное положение, что характерно для языка фула, то оно, срастаясь с концом его, становилось суффиксом. Последнее вовсе не означает, что в сравниваемых языках нет разряда указательных местоимений. Они в полной мере функционируют в свободном употреблении (выше речь шла об их несвободном употреблении в качестве префиксов и суффиксов). Это означает, что формирование системы явных лексических классов и морфологической категории класса началось именно с указательных местоимений путем их интегрирования с именными и глагольными и другими формами, что убедительным образом доказывается на материале весьма контрастных по своим структурным особенностям дагестанских языков и фула.

Неизбежным результатом интеграции в этом случае оказалось низведение указательных местоимений до уровня словообразовательных (в языке фула) и словоизменительных (в дагестанских языках) элементов (ср. их суффигирование в одном случае и префигирование в других). Таким образом, суффигированные и префигированные указательные местоимения при именах и глаголах становятся согласовательными морфемами.

В языке фула имеются только суффиксальные классные экспоненты (*ho-nde* «что», *jiw-o* «девушка», *imtii-do* «вставший», *tawu-ndu* «большой»), а в дагестанских языках имеются как префиксальные (аварск. *в-ацI* «пришел», *й-ац* «сестра»; гунзиб. *й-угьа* «умирать»; даргинск. *в-ахI* «спина мужчины», *б-елчI* «прочитать»), так и суффиксальные (аварск. *лгикIа-б*

<sup>5</sup> Т. Е. Гудава, Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках, Махачкала, 1959, стр. 11—14.



«хороший»; лакск. *κIu-wa* «два»; арчинск. *тIутту-р* «маленький») классные экспоненты.

Позиция, занимаемая классными экспонентами в именной и глагольной основах, решающим образом обуславливается линейными отношениями, характерными для того или другого языка. В плане их генезиса представляется важным то место, которое занимает указательное местоимение по отношению к другим компонентам синтагмы.

В языке фула, например, указательное местоимение может предшествовать имени существительному или стоять после него; соответственно этому меняется и характер его функционирования: в препозиции по отношению к имени существительному указательное местоимение является типичным демонстративом (ср. *nde loo-nde* «этот кувшин», *ngu lii-ngu* «эта рыба»), а в постпозиции демонстративность его в значительной мере ослаблена, и по своему значению оно ближе к значению определенного артикля: *loo-nde nde* «именно данный кувшин», *lii-ngu ngu* «именно данная рыба».

Постпозитивное положение указательного местоимения с вышеупомянутой функцией, очевидно, привело к его срастанию не с началом, а с концом основы, к его суффиксированию, что последовательно прослеживается во всех типах атрибутивных синтагм. Вполне естественно поэтому, что интегрированное указательное местоимение во всех компонентах синтагм выступает исключительно в качестве суффикса, а в свободном употреблении в функции своеобразного артикля, естественно, стоит после имени существительного, что ясно из примеров: *loo-nde nde* «именно данный кувшин», *lii-ngu ngu* «именно эта рыба», *ned-do o* «именно этот человек», *lii-ngu ngu* «рыба эта», *nedd-o* «человек этот».

Полная форма указательного местоимения в качестве суффиксального классного экспонента реализуется в фула также и в маргинальных членах синтагмы.

Приводимые ниже синтагмы, состоящие из имен существительных и прилагательных, убедительным образом свидетельствуют об этом: *wiifoo-ngo mawu-ngo* «крыло большое», *fedee-ndu mawu-ndu* «палец большой», *lek-ki mawu-ki* «дерево большое», *tamoroo-ki mawu-ki* «финиковое дерево большое», *en-ndu mawu-ndu* «вымя большое», *nyii-nde mawu-nde* «зуб большой», *hiin-ko mawu-ko* «клюв (рот) большой», *tii-nde mawu-nde* «лоб большой», *koe-ngal mawu-ngal* «нога большая».

Указательное местоимение «этот, эта, это» в качестве классного экспонента представлено также в причастных формах: ср. *lek-ki saamoo-ki* «дерево падающее», *lek-ki saat-ki* «дерево упавшее». Приведенные синтагмы могут быть расширены формами указательного местоимения в их свободном употреблении, что с очевидностью подтверждает гипотезу о местоименном происхождении классных экспонентов в языке фула: *wiifoo-ngo ngo mawu-ngo* «крыло это большое» (букв. «крыло-это это большое — это»), *lek-ki-ki mawu-ki* «дерево это большое» (букв. «дерево-это это большое — это»), *lek-ki ki saamoo-ki* «дерево это падающее», *lek-ki ki saat-ki* «дерево это упавшее» и т. д.

Полные формы указательного местоимения в качестве суффиксальных классных экспонентов представлены, естественно, и в вопросительных местоимениях.

В соответствующей синтагме вопросительное местоимение, как своеобразный субститут имени существительного, естественно, предшествует указательному местоимению в его свободном употреблении: *hom-o o?* «кто это?», *ho-nde nde?* «что это?», *ho-ka ka?* «что это?», *ho-ngal ngal?* «что это?», *ho-nga nga?* «что это?». Вопросительные местоимения со значением «что» являются представителями разных лексических классов.

Если расширить рамки синтагмы за счет включения в нее финитных глагольных форм, то окажется, что последние неизменно функционируют без классных экспонентов и, следовательно, стоят вне согласовательной схемы: *hom-o o wari?* «кто это пришел?», *neḡḡ-o wari* «человек пришел», *ho-nga nga saami?* «что это упало?», *nyiiwa saami* «слон упал».

Усеченные формы указательных местоимений, естественно, в свободном употреблении не могут функционировать. Они суть элементы более формализованного порядка, типичные классные суффиксы, которые характерны для всех форм, входящих в согласовательную схему языка фула. В нижеприведенных примерах усеченные формы классных экспонентов взяты в квадратные скобки, а полные — даны через дефис:

<i>beel</i> [-al]	<i>luggiḍin-ngal</i>	«озеро глубокое»
<i>geec</i> [-i]	<i>luggiḍin-ki</i>	«море глубокое»
<i>nji</i> [-am]	<i>bub-dam</i>	«вода холодная»
<i>maay</i> [-o]	<i>bub-ngo</i>	«река холодная»
<i>ḡat</i> [-ol]	<i>jun-ngol</i>	«дорога длинная»
<i>huḡ</i> [-o]	<i>tuffi -ko</i>	«травы густая»
<i>kuḡ</i> [-al]	<i>cewu-ngal</i>	«лист тонкий»

Гипотетически можно предположить, что классные экспоненты в дагестанских языках являются усеченными формами указательных местоимений, т. е. более формализованными элементами, потерявшими связь с исходными формами. Нужно думать, что суффиксирование и префиксирование указательных местоимений и превращение их в классные экспоненты происходило еще на прадагестанском уровне — примерно по следующей схеме: конечные элементы указательных местоимений типа *го-в* «этот», *го-й* «эта», *го-б* «это» (ботлихск.), срастаясь с началом прилагательного *ечIер* «черный, черная, черное», могли дать классные формы *в-ечIер* (кл. мужчин), *й-ечIер* (кл. женщин), *б-ечIер* (кл. прочего).

Не вызывает сомнения, в частности, что классные экспоненты лакского языка *-ма*, *-мив* и *-мий*, обладающие ярко выраженной избирательной семантикой, и указательное местоимение *мив* «этот», указывающее на предмет, находящийся около слушающего, имеют единый источник происхождения, т. е. первые получены из последнего: ср. *мив душ* «та девушка» (что стоит рядом со слушающим), *лу буллаки -ма арс ттул хъун-ма арсри* «тот сын, который читает книгу, — мой старший сын», *лу буллакимур душ ттул хъун-мур душири* «та дочь, которая читает книгу, — моя старшая дочь».

4. Поскольку различия в функционировании системы лексических классов в сравниваемых языках наиболее рельефным образом выступают на синтаксическом уровне, представляется важным сравнение между собой двух таких существенных звеньев этого уровня, как атрибутивная и предикативная синтагмы. Центральным членом согласовательной схемы в обоих звеньях сравниваемых языков является имя существительное, независимо от того, имеет ли оно само классный экспонент (в фула), или не имеет его (в дагестанских языках). Важно другое: в каком порядке по отношению к имени существительному расположены остальные компоненты в обеих синтагмах и какие из них маркированы или не маркированы классными экспонентами. В этом плане различия между сравниваемыми языками носят принципиальный характер и самым тесным образом связаны с главной типологической чертой сравниваемых языков, которая на синтаксическом уровне находит свое отражение и в линейных отношениях.

В языке фула все компоненты обеих синтагм по отношению к имени существительному устойчивым образом располагаются в эксплозивной

части, т. е. в постпозиции: *loo-nde nde mawu-nde* «кувшин этот большой» (т. е. «этот большой кувшин»). Разумеется, в чередовании компонентов, находящихся в постпозиции, наблюдается известная последовательность: за именем существительным следует указательное местоимение, далее — прилагательное, вслед за ним — причастие, что находит отражение, например, в синтагме: *loo-nde nde mawu-nde saamu-nde* «кувшин этот большой упавший» («этот большой упавший кувшин»). Впрочем, прилагательное и причастие могут поменяться местами.

В предикативной синтагме финитная форма глагола, согласно линейным отношениям в языке фула, также оказывается после имени существительного: *loo-nde saami* «кувшин упал».<sup>1</sup>

В дагестанских языках линейные отношения регулируются типом синтагмы. В атрибутивной синтагме маргинальные члены предшествуют имени существительному: ср. лак. *ва хъун-на-сса къут-къа* «этот большой кувшин», *ва хъуннасса д-агъсса къуткъа* «этот большой упавший кувшин». Однако следует заметить, что последовательность чередования маргинальных членов синтагмы в сравниваемых языках почти идентична.

В предикативной синтагме дагестанских языков, как и в языке фула, финитная глагольная форма также оказывается в постпозиции: *къуткъа д-агъунни* «кувшин упал».

Если соединить компоненты обеих синтагм в единое целое, то это, естественно, не приведет к изменению линейных отношений в дагестанской модели: *ва хъун-на-сса къуткъа д-агъунни* «этот большой кувшин упал».

Выше отмечалось, что линейные отношения в сравниваемых языках непосредственным образом повлияли и на позиции классных экспонентов в формах слов: постпозиция маргинальных членов, в особенности указательных местоимений, обусловила ауслаутное положение классных экспонентов во всех разрядах слов в языке фула и в свою очередь препозитивная и постпрезитивная позиции этих же членов в дагестанских языках обусловили как анлаутное, так и ауслаутное положение классных экспонентов. Здесь решающей оказывается позиция исторических местоимений, которая и предопределила место классных экспонентов в словоформах.

Разумеется, на степень маркированности различных разрядов слов классными экспонентами линейные отношения не оказали ни малейшего влияния. Причины здесь совершенно иного порядка: они прежде всего связаны с местом, которое занимают классные экспоненты в грамматической структуре сравниваемых языков, как важные функциональные единицы их системы в целом.

Как отмечалось выше, в языке фула функционируют две взаимообусловленные системы — инклюзивная и эксклюзивная. Инклюзивная система функционирует в самих именах существительных благодаря ауслаутным классным экспонентам, а эксклюзивная система в свою очередь функционирует в других согласуемых с субстантивами разрядах слов благодаря тем же классным экспонентам в ауслауте.

А. И. Коваль отмечает, что имена существительные могут употребляться и без показателя класса, если нет необходимости в квантитативной актуализации называемого предмета<sup>6</sup>.

Однако в языке фула имеются все же и именные лексемы, которые употребляются вообще без классных экспонентов. К таким лексемам, в частности, относится слово *катти*, выражающее столь важное в жизни народа фула понятие, как «дождь». Вместо привычных нам лексем «весна»,

<sup>6</sup> А. И. К о в а л ь, указ. соч., стр. 3.

«лето», «осень», «зима» в языке фула имеются только лексемы *seedi* «сухой сезон» и *nduu-ngu* «дождливый сезон», тесно связанные с денотатом «дождь», но сама лексема оказалась без классного экспонента. Естественно, классными экспонентами не маркируются и заимствованные из разных языков лексемы. В частности, к таким словам относятся: *fajiru* «утро», *kaŋe* «золото», *kaalisi* «серебро», *jaman* «алмаз», *sarboŋ* «уголь» (из франц.). Из языка манде заимствованы *baranda* «банан», *lemmburi* «лимон» и т. д.

В основном классные экспоненты, представленные в исходе имен существительных в языке фула, точным образом указывают на лексический класс денотатов людей и не-людей. В этом плане инклюзивная система может функционировать автономно от эксклюзивной системы, чего нельзя сказать об аналогичной дагестанской системе, в которой количество маркированных классными экспонентами имен существительных предельно ограничено.

В языке фула названия людей маркированы экспонентами *o*, *fo*, *wo*, что позволяет объединить их в один класс личности (*jiw-o* «девушка»; *neŋ-fo* «человек» и т. д.), в дагестанских же языках, и то далеко не во всех, классными экспонентами маркированы только некоторые обозначения людей: аварск. *в-ацц*, *в-асс* «брат», *й-ацц*, *й-асс* «сестра», *в-ас* «сын», *й-ас* «дочь»; даргинск. *узи*, *удзи* «брат», *р-узи*, *р-удзи* «сестра», *уриш* «сын», *р-урси* «дочь»; арчинск. *уштту* «брат», *д-оштту-р* «сестра», *в-ишду* «мальчик», *д-ишду-р* «девочка» и т. д.

В языке фула посредством классных экспонентов, представленных в названиях, указывающих на денотаты не-людей, также отчетливым образом удается определить принадлежность их к тем или иным лексическим классам. В таких именах существительных фула, как *loo-nde* «кувшин», *lii-ngu* «рыба», *nyii-wa* «слон», *dawa-ngal* «большая собака», *dawa-ngel* «маленькая собака, щенок», *feŋee-ndu* «палец», *wiifoo-ngo* «крыло», *lek-ki* «дерево», *nji-at* «вода», *geec-i* «море», *jam-ndi* «железо», классными экспонентами являются *-nde*, *-ngu*, *-wa*, *-ngal*, *-ngel*, *-ndu*, *-ngo*, *-ki*, *-am*, *-i*, которые свидетельствуют о наличии в этом языке значительного числа лексических классов, по которым распределяются названия нелюдей.

В любом из дагестанских языков принадлежность имен существительных в изолированном виде к тем или иным лексическим классам остается формально не выраженной, поскольку в них нет соответствующих экспонентов, и классная принадлежность идентичных по значению лакских лексем *кэуткэа*, *чаватэ*, *пил*, *ккаччи*, *кацIа*, *кIисса*, *хэа*, *мурхэ*, *цин*, *хэхэири*, *мах* в этом случае выявляется исключительно в соответствующих синтагмах: ср. *кэуткэа д-ур* «графин есть» (класс Д/Р), *ккаччи б-ур* «собака есть» (класс Б).

5. Различия принципиального характера в функционировании лексических классов сопоставляемые языки обнаруживают также в образовании форм грамматического числа. В языке фула корреляция между лексическими классами и грамматическим числом выражена четко и последовательно. Это объясняется тем, что и то, и другое в этом языке выражается только классными экспонентами.

Ими маркируются оба члена оппозиции, которыми являются как формы единственного, так и множественного числа, ср.: *ngeloo-ba* «верблюд» ~ *ngeloo-fi* «верблюды», *nyii-wa* «слон» ~ *nyii-bi* «слоны», *biŋ-fo* «сын» ~ *biŋ-be* «сыновья».

В отличие от фула в дагестанских языках формы мн. числа существительных маркируются аффиксами, не являющимися классными экспонентами, а формы ед. числа вообще лишены специальных аффиксов. Лакские соответствия выше приведенных лексем языка фула выглядят

так: *варани* «верблюды» ~ *варан-тту* «верблюды», *пил* «слон» ~ *пилу* «слоны», *арс* «сын» ~ *арс-ру* «сыновья».

В языке фула согласовательная схема полностью отражает соотношение имен существительных с теми или иными лексическими классами и одновременно и числами через соответствующие классные экспоненты: *nyii-wa nga* «слон этот» ~ *nyii-bi di* «слоны эти», *bif-fo o* «сын этот» ~ *bib-be be* «сыновья эти» и т. д.

В дагестанских языках большей частью не прослеживается корреляция между классными экспонентами и аффиксами мн. числа существительных. В одних случаях существительные, маркированные во мн. числе одними и теми же формообразующими аффиксами, посредством согласовательных классных экспонентов выделяются в разные классы (ср. *арс-ру бур* «сыновья есть» — класс Б, *ттарцI-ру дур* «столбы есть» — класс Д/р), в других случаях существительные, маркированные в формах мн. числа разными формообразующими аффиксами, объединяются в один лексический класс: *ттук-ри бур* «ослы есть», *зунтту-р ду бур* «горы есть» (класс Б); *магъи-в дур* «крыши есть», *хъюрт-ру дур* «груши есть» (класс Д/р).

Приведенные выше примеры убедительно свидетельствуют о том, что морфологически обособленные числовые формы имен существительных в дагестанских языках, в отличие от аналогичных форм языка фула, не являются составными элементами согласовательной схемы лексических классов.

6. Изложенные выше существенные черты функционирования лексических классов в сопоставляемых языках неизбежно должны были привести исследователя к сложной проблеме — к вопросу об их основаниях.

Решение этой задачи затрудняется тем, что состав лексических классов, их семантические параметры в сравниваемых языках изучены совершенно недостаточно. По-видимому, системы лексических классов в сравниваемых языках отошли от первоначального, логически более отчетливого эталона и в значительной мере формализовались. Это вовсе не значит, что древнее состояние лексических классов было идентично (за возможным исключением одного пункта — названия людей в сравниваемых языках выделены в особые классы). Правда, названия людей в языке фула в зависимости от критерия «большой ~ маленький» могут оказываться и в других классах: если, например, *gor-ko* «мужчина» в его обычном понимании относится к классу личности (классные экспоненты *-o*, *-fo*, *-wo*), то человек большого роста функционирует в классе массивных предметов *-ngal*, а *jiw-up* «девочка», естественно, в отличие от *jiwo* «девушка» (кл. личности) оказалась в классе мелких предметов с экспонентом *-kup* (ср. также *ger-to-kun* «пыленок»). Такое распределение названий людей по классам для дагестанских языков не характерно. В них названия личности выделяются в классы соответственно полу (ср. аварск. *эмен в-ацIана* «отец пришел», *эбел й-ацIана* «мать пришла»), хотя этот принцип в некоторых дагестанских языках существенным образом изменился: ср. лакск. *нилу д-ур* «мать есть» (класс Д/р), *душ б-ур* «девочка, девушка есть» (класс Б).

Ни в одном дагестанском языке названия не-людей, вещей, относящиеся к одному лексико-семантическому полю, не образуют самостоятельного лексического класса — они, как правило, входят в состав разных классов. Например, в лакском названия деревьев *мурхъ* «дерево», *кIа-лагъи* «береза», *хIави* «тополь» и т. д. входят в класс Б наряду с такими субстантивами, как *ххулла* «дорога», *дувсси* «медь», *зунтту* «гора» и т. д. Напротив, в языке фула все названия деревьев образуют самостоятельный класс с классными экспонентами *-ki*, *-hi*, *-i*: *lek-ki* «дерево», *kah-i*

«акация», *njaab-i* «тамариновое дерево», *tamoro-ki* «финиковая пальма», *karee-hi*, *nelb-i*, *nere-wi* — названия других деревьев.

Что касается названий частей тела, то они в сопоставляемых языках относятся к разным классам. Однако принципы их распределения не совпадают. Из названий частей тела фула к классу массивных предметов *-ngal* относятся *bus-al* «бедро», *gi'-al* «кость», *kou-ngal* «нога», *balaw-al* «плечо». К классу цилиндрических предметов *-ndu* относятся *en-ndu* «вымя», *ton-ndu* «губа», *ree-du* «желудок», *hosi-ndu* «затылок», *wud-du* «кишка», *cobbu-ndu* «локоть», *feḏee-ndu* «палец». К классу мелко-круглых предметов *-nde* относятся *yite-ré* «глаз», *daa-nde* «горло», *nyii-nde* «зуб», *terpe-re* «ладонь; лапа», *tii-nde* «лоб», *holce-re* «пготь», *hine-re* «нос», *henye-re* «печень».

В лакском языке эти же названия распределены между классами Б и Д по совершенно иному, неясному принципу; в класс Б входят: *жира* «бедро», *ччан* «нога», *цIуму* «желудок», *кIисса* «палец», *я* «глаз», *кьакьари* «горло», *нептта-бакI* «лоб», *михь* «пготь», *май* «нос». К классу Д относятся: *ттаркI* «кость», *хъачI* «плечо», *къар* «вымя», *мурчи* «губа», *къинтта* «затылок», *ххютту* «кишка», *ссюрхъ* «локоть», *ккарччи* «зуб», *хъат* «ладонь», *ттиххI* «печень».

На конфигурацию лексических классов языка фула решающим образом повлияли, вероятно, внешние условия, в которых живут его носители. Чрезвычайно богатые фауна и флора, обилие контрастных по размерам и формам животных и растений способствовали появлению в языке фула лексических классов, объединяющих названия денотатов по их формам и размерам. По этому принципу были классифицированы и названия других денотатов. Например, класс *-ngol* объединяет в основном названия тонко-длинных предметов, в числе которых имеются и названия частей растений: *cal-ol* «ветка», *ḏaḏ-ol* «корень», *kuf-ol* «кора», *kiḏ-ol* «лист», *piind-ol* «цветок», *ḏat-ol* «дорога» и т. д. Мелкие и круглые предметы объединены в классе *-nde*: *hoode-re* «звезда», *nyii-nde* «зуб», *hine-re* «нос», *terpe-re* «ладонь», *loo-nde* «кувшин», *yite-re* «глаз», *hay-re* «камень». Неясно, почему в этом классе оказались *hay-re* «гора», *lad-de* «лес».

Класс *-ndu* объединяет в основном обозначения предметов цилиндрической формы: *faa-ndu* «тыква», *ton-ndu* «губа», *ree-du* «желудок», *wud-du* «кишка», *feḏee-ndu* «колено», а также названия такого денотата, как *wee-ndu* «болото». Класс *-ngel* объединяет названия мелких предметов типа *kiu-nge* «маленькая вещь», *dawa-ngel* «маленькая собака» и т. д. В классе названий жидкостей *-ḏam* наряду с *nyu-am* «вода», *yü-am* «кровь» оказалась лексема *lam-ḏam* «соль». В класс *-ngal* входят преимущественно названия массивных предметов: *balaw-al* «большое плечо», *gi'-al* «большая кость», *dawa-ngal* «большая собака», *kiu-ngal* «большая вещь» и т. д.

Ни в одном из дагестанских языков нет подобных лексических классов. Только в арчинском и отчасти в лакском некоторые названия денотатов в зависимости от размера выделяются в разные классы. В арчинском языке, например, обозначения молодняка и ряда мелких животных в отличие от названий прочих животных, входящих в III класс, по согласованию входят в IV класс (экспонент Ø): *биш* и «теленек есть», *ури* и «жеребенок есть», *кIерт* и «осленок есть», *мотол* и «козленок есть», *ло* и «детеныш есть», *коцI* и «птичка есть» и т. д.

Такие названия бытовых предметов, как *кIунокIум* «кастрюля», *гат* «платок», *хъит* «ложка», в зависимости от размера функционируют в разных классах: ср. *кIунокIум би* «большая кастрюля есть», *хъит би* «большая ложка есть», *гат би* «большой платок есть» (III кл.); *кIунокIум* и «маленькая кастрюля есть», *хъит* и «маленькая ложка есть», *гат* и «маленький платок есть» (IV кл.).

В лакском языке из обозначений животных к классу Д/О относится только несколько названий насекомых: *ххяцу д-ур* «паук есть», *барзукка д-ур* «стрекоза есть» и т. д.

7. Из 26 дагестанских языков 23 языка знают категорию лексических классов. Количество классов в них колеблется от двух до шести—семи максимум (в обоих числах) против 25 классов в диалекте фута-джаллон язык фула. Количество лексических классов, функционирующих в сравниваемых языках, очевидно, находится в тесной связи с тем, какие признаки названий денотатов людей, в особенности, вещей легли в основу их выделения. Бесспорно, в этом плане система лексических классов языка фула ориентирована на большее число внешних признаков, чем система дагестанских языков. Причем некоторые из признаков являются здесь общими для денотатов разных лексико-семантических полей, например, признаки величины и формы и т. д., что позволяет переводить названия денотатов этих полей из одних лексических классов в другие. В том плане опыт африканского языкознания в целом и те принципы, которые легли в основу разбиения вокабуляра имен существительных на лексические классы, могут оказаться весьма полезными для познания природы функционирования лексических классов в дагестанских языках.

Четырехчленная система лексических классов, очевидно, более архаична для дагестанских языков, чем другие менее емкие системы. Она сохранилась в андийском (в верхнеандийском диалекте), чамалинском, в ряде языков цезской группы, арчинском и некоторых других языках. Трехчленная система имеет большее распространение, чем четырехчленная. Как показано в специальной литературе, она получена из последней в результате выпадения IV класса <sup>7</sup>.

Обе системы имеют свое соответствие в классных экспонентах общедагестанского уровня (в отличие от двучленной системы, маркерами которой являются классные экспоненты локального происхождения).

В дагестанских языках имеется два типа четырехчленной системы. Эти типы отличаются друг от друга наличием или отсутствием ориентации на грамматическое число при распределении имен существительных между лексическими классами. Очевидно, ориентация на грамматическое число является сравнительно поздним явлением, поскольку «многое указывает на то, что на ранней стадии развития языка форму множественного числа получили только существительные, обозначающие либо человека, либо предметы одушевленные» <sup>8</sup>.

Более древнюю четырехчленную систему, не ориентирующуюся на грамматическое число имен существительных (за исключением названий лексико-семантического поля «Фауна»), из дагестанских языков имеет только андийский язык, особенно его верхнеандийский диалект. В системе лексических классов андийского языка обе числовые формы функционируют в составе одного лексического класса <sup>9</sup>. Ср.: кл. мужчин *гьо-в вошо* «этот мальчик» ~ *гьо-вл вошул* «эти мальчики», кл. женщин *гьо-й йеши* «эта девочка» ~ *гьо-йл йешил* «эти девочки», III кл. *гьо-б гынцло* «этот камень» ~ *гьо-бл гынцлойл* «эти камни», IV кл. *гьо-р ххуча* «эта книга» ~ *гьо-рул ххучол* «эти книги».

Распределение названий животных по лексическим классам по форме грамматического числа означает частичный переход к принципиально

<sup>7</sup> Н. Д. Андгуладзе, Некоторые вопросы истории классного и личного спряжения в иберийско-кавказских языках, Тбилиси, 1968, стр. 207 (на груз. яз.).

<sup>8</sup> Д. Вестерман, Множественное число и именные классы в некоторых африканских языках, сб. «Африканское языкознание», М., 1963, стр. 57.

<sup>9</sup> См.: Я. Сулейманов, Некоторые вопросы андийского языка (по данным селения Риквани), Уч. зап. Дагест. филиала АН СССР, VI, 1959.

новому этапу в развитии именной классификации — к этапу ориентации на грамматическое число, который характерен для большинства дагестанских языков: ср. *гъо-б ича* «эта кобыла» (III кл.), *гъо-р цІорцІа* «эта бабочка» (IV кл.), *гъо-й-л ичил* «эти кобылы», *гъо-й-л цІорцІол* «эти бабочки».

Многие дагестанские языки обнаруживают по несколько систем лексических классов, как свидетельство их одновременного появления и развития (возможность их выделения вытекает из различия согласовательных схем, используемых в разных синтагмах). В двухчленной системе цахурского языка, например, процесс формализации зашел настолько далеко, что оказались совершенно размытыми границы между классами мужчин и женщин и III классом — они объединены в один гетерогенный класс, остался совершенно нетронутым IV класс, ср.: *миджаг-на гаде* «красивый мальчик», *миджаг-на ичий* «красивая девочка», *миджаг-на зер* «красивая корова» (I кл.), *миджаг-ын шир* «красивый лев» (II кл.). Экспоненты *-на*, *-ын*.

В трехчленной системе упомянутого языка в ед. числе объединены в один класс все названия людей — явление редкое и малохарактерное; III и IV классы, состоящие из названий вещей, остались нетронутыми: *хаь-р-на гаде ала-р-атІа* «хорошего мальчика берет», *хаь-р-на ичий ала-р-атІа* «хорошую девочку берет» (класс личности), *хаь-б-на зер ала-б-атІа* «хорошую корову берет» (III кл.), *хаь-д-ын шир алатІа* «хорошего льва берет» (IV кл.).

Как следует из вышеприведенных примеров, понятие «принцип» или «принципы» применительно к распределению имен существительных по лексическим классам в дагестанских языках не является абсолютным и неизменным; оно подвижно в своих границах, и это обусловлено прежде всего исторической конфигурацией классов. От стабильности конфигурации классов в значительной мере зависит степень прочности той или иной согласовательной схемы. В этой связи следует подчеркнуть, что наиболее уязвимой оказывается согласовательная схема женского класса.

Приведенный материал свидетельствует о том, что язык фула проводит логически более отчетливые принципы именной классификации, чем дагестанские языки. Они (т. е. принципы) базируются на более или менее строгих правилах, в основе которых лежат объективные характеристики, присущие тем или иным денотатам. В этом плане в тех дагестанских языках, в которых имеется два и более классов названий вещей, принципы разбиения именной лексики на классы также в какой-то мере могут быть установлены по формам и размерам предметов и вещей, консистенции, положением предметов относительно плоскости и т. д.

Из вышеизложенного вытекает, что сопоставление генетически неродственных языков, отдаленных столь большим типологическим расстоянием, чрезвычайно важно: важны и значительные различия их именных классификаций, несовпадение их оснований и, наконец, самого места классификационных систем и средства их выражения в языковой структуре.



ЗОГРАФ Г. А.

## К ВОПРОСУ О «НОВОЙ ФЛЕКСИИ» ГЛАГОЛА В ИНДОАРИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

При изучении процесса исторического развития языковых форм весьма существенно учитывать как закономерные соотношения рассматриваемых элементов между собой, так и общие тенденции эволюции образуемых ими систем. На роль типологических факторов в исторических реконструкциях обращал внимание еще двадцать лет тому назад Р. Якобсон<sup>1</sup>. Но важность привлечения сопоставительного материала для оценки исследуемых фактов в широком системном контексте не ослабевает и при обращении к явлениям сравнительно «молодых» языков с достаточно богатой письменной традицией, поддающейся непосредственному наблюдению. Примером тому могут служить так называемые новые флексивные формы глагола в индоарийских языках.

В русской индологической литературе термин «новая флексия» применительно к языкам этой группы был предложен А. П. Баранниковым в статье, характеризующей общие тенденции их исторического развития<sup>2</sup>. Одной из важнейших черт эволюции морфологического строя индоарийских языков от древнеиндийского состояния через среднеиндийское к новоиндийскому было постепенное отмирание старых флексивных форм и замена их формами аналитическими. Это в равной мере касалось как именного, так и глагольного словоизменения. С течением времени некоторые из таких аналитических форм подвергались стяжению, в результате чего и возникали новообразования, известные в литературе как «новая», или «вторичная», флексия. Общий характер этого процесса не вызывает сомнений, но конкретные детали его протекания ясны не во всем. Особенно это касается вопросов преобразования словоизменительной системы глагола. В частности, не получили еще достаточно четкого исторического соотнесения основные этапы развития аналитических форм и образования «вторичного» глагольного спряжения. Вызывают разногласия и предлагаемые этимологии вторичных личных окончаний «старого» (среднеиндийского или раннего новоиндийского) происхождения. Не задаваясь целью ответить на эти вопросы, мы намерены остановиться здесь на некоторых узловых моментах проблемы.

Те видо-временные формы новоиндоарийского глагола, которые современная практика грамматического описания обычно признает парадигматическими, могут быть по своей структуре подразделены на три основные группы:

1. Первичные синтетические формы, которые присоединяют личные окончания непосредственно к основе глагола. Они представляют собою результат прямого развития древне- и среднеиндийских личных форм.

<sup>1</sup> Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 95—105.

<sup>2</sup> А. П. Баранников, Флексия и анализ в новоиндийских языках, «Уч. зап. ЛГУ», 98, Серия востоковедческих наук, 1, 1949, стр. 12.

Их роль в современной новоиндоарийской системе спряжения достаточно скромна. Обычно такими формами выражается всего два из широкого круга (от 10 до 20) свойственных новым индоарийским языкам «времен»: 1) настоящее (в маратхи — прошедшее) время изъявительного или, чаще, общая форма сослагательного наклонения и 2) императив.

2. Вторичные синтетические формы, которые присоединяют окончания опосредованно — к основе глагола, осложненной видовым или временным аффиксом. Из наблюдаемых в новых индоарийских языках их разновидностей нас здесь интересуют две наиболее распространенные — те, в которых окончания присоединяются к основе, оформленной аффиксами причастной этимологии: 1) совершенного вида (*-i/-y-/ø* или *-l-*) и 2) несовершенного вида (*-t/-d/-nd-*). Формы этого типа играют заметную роль в современной системе спряжения. По словоизменительным характеристикам окончаний в конкретных языках такие формы можно классифицировать как: а) чисто глагольные (изменяются в лице и числе или «субординации», развившейся как переосмысление старых форм числа в плане выражения отношений этикета); б) чисто именные (изменяются в числе и роде) и в) глагольно-именные (изменяются в лице, числе и роде). Формами этого типа обычно представлены: 1) общее [прошедшее] время (претерит) и 2) прошедшее обычное изъявительного или/и общая форма условного наклонения (в синдхи — будущее время изъявительного наклонения).

3. Аналитические формы, которые состоят из значащего компонента в форме, соответствующей причастию или деепричастию (редко — какой-либо иной), и вспомогательного глагола связочного типа. Первый (в тех случаях, когда он изменяем) изменяется, как правило, по именной парадигме, второй — большей частью по глагольной. Аналитическими формами представлено подавляющее большинство традиционно выделяемых «времен» новоиндоарийского глагола.

В свете поставленных вопросов нам интересны в первую очередь вторичные синтетические формы с глагольно-именными окончаниями, сочетающимися с причастными основами (подтип 2в). Такие формы имеются в маратхи (*cālḷḷ* «я пошел», *cālṭṭ* «я иду»), в синдхи (*halyusi* «я пошел», *halandusi* «я пойду»), в языках восточной подгруппы (бенг. *karilām/korlām* «я сделал», *karitām/kortām* «я делывал»), а также в цыганском (укр. *j'il'om* «я ушел», русск. *kerd'om* «я сделал»). В исследованиях истории индоарийских языков их появление чаще всего объясняют как результат стяжения аналитических форм, состоявших из причастия и связочного (вспомогательного) глагола. Обращает на себя внимание то, что иногда в один ряд с ними ставят и такие стяжения, как бенгальские (чолит бхаша) типа *koṭṣ'i* (<*karitēchi*) «я делаю»<sup>3</sup> или западнопанджабские (шахпурский лахнда) типа *karēnā* (<*karēndā hā*) «я делаю»<sup>4</sup>. отождествление тех и других представляется, однако, неправомерным, причем прежде всего по системным соображениям.

Бенгальские стяжения типа *koṭṣ'i* являют собой принадлежность одного из функциональных стилей современного языка — так называемого «разговорного» (чолит бхаша). В другом стиле, «литературном» (шадху бхаша), отличающемся сравнительным архаизмом структуры, в равнозначных им формах гораздо более четко просматриваются составные компоненты аналитического сочетания: *karitēchi* < *karitē* + *āchi*. Можно выстроить два параллельных ряда синхронно сосуществующих и иден-

<sup>3</sup> А. П. Баранников, указ. соч., стр. 14.

<sup>4</sup> J. B l o c h, La formation de la langue marathe, Paris, 1920, стр. 248; ср.: J. W i l s o n, Grammar and dictionary of Western Panjabi, as spoken in the Shahpur district, Lahore, 1899, стр. 51.

тичных по значению форм — «полных» и стяженных (приводятся формы 1-го лица глагола «делать»):

	Наст. время		Прощ. время	
	несов. вид	сов. вид	несов. вид	сов. вид
шадху бхаша	<i>karitēchi</i>	<i>kariyāchi</i>	<i>karitēchilām</i>	<i>kariyāchilām</i>
чолит бхаша	<i>korē'ci</i>	<i>koreč'i</i>	<i>korē'ilam</i>	<i>koreč'ilam</i>

В бенгальских диалектах такое стяжение пошло еще дальше, так что для опознания источника некоторых новообразований уже может потребоваться специальный анализ. Например, в диалекте Раджшахи стандартная форма *āsītēchi/aṣ'ci* «я прихожу» приняла вид *atti*<sup>5</sup>.

Параллельные ряды стяженных и нестяженных форм наблюдаются и в непальском языке.

В других новых индоарийских языках и диалектах, распространенных как в центре, так и на западе региона, стяжения современных аналитических форм также не представляют чего-то из ряда вон выходящего. Они особенно свойственны быстрому стилю речи. Например, для авадхи Б. Саксена приводит примеры: *dhare:hai* > *dhare:i* или даже *dhare:~* «они положены», *kha:ti hai* > *kha:ti* и «вы едите» и др.<sup>6</sup>. Аналогично в разговорном маратхи стягиваются формы настоящего продолженного времени (например: *kar<sup>a</sup>tōy<sup>h</sup>* < *karit/kar<sup>a</sup>tō āhē* «он делает», *kar<sup>a</sup>tāy<sup>h</sup>* < *karit/kar<sup>a</sup>tāt āhēt* «они делают») <sup>7</sup>, а в маратхских диалектах — и некоторые другие (ср. в кунаби: *bəslavtas* «ты сел», *cuklivti* «она ошиблась» и т. п.<sup>8</sup>). Такие стяжения встречаются и в бомбейском жаргонном хиндустани (например: *miltāy* < *miltā hai* «попадается», *sunāy* < *sunā hai* «услышал»; правда, в аналогичные стяжения связка здесь может вступать и с именным членом сказуемого) <sup>9</sup>. К этому же типу следует отнести упоминавшиеся выше стяжения в диалектах лахнда.

Таким образом, здесь мы наблюдаем живой процесс, характерный для современного индоарийского языкового состояния, — стяжение н о в о - и н д о а р и й с к и х аналитических форм в разговорных и просторечных разновидностях языков.

Иной характер носят формы типа маратхских *cālīḍ*, *cālīḍ* или бенгальских *karitām*, *karilām*. Эти формы противостоят аналитическим в рамках единой системы современного литературного языка, выполняя отличные от них видо-временные функции. Конкретное системное соотношение таких форм с аналитическими может быть различным в разных языках. В маратхи с п р я г а е м ы е формы, опирающиеся на причастие совершенного вида (*cālīḍ* и т. д.), как раз и являются тем значащим компонентом аналитических форм совершенного вида, с которыми сочетаются разные формы вспомогательного глагола (например, настоящее совершенное — *tumhī ālā āhā* «вы пришли» и т. п.). Спрягаемая же форма, образованная от причастия несовершенного вида (*cālīḍ* и т. д.), дает только одно аналитическое время — настоящее эмфатическое; остальные аналитические формы несовершенного вида опираются на краткое причастие

<sup>5</sup> S. C. Chaudhuri, North Bengali dialects: Rajshahi, «Indian Linguistics», Reprint ed., II, Poona, 1965, стр. 427.

<sup>6</sup> B. Saksena, Evolution of Awadhi, Allahabad, 1937, стр. 98.

<sup>7</sup> Т. Е. Катенина, Язык маратхи. М., 1963, стр. 74.

<sup>8</sup> A. M. Ghatage, A survey of Marathi dialects, III. Kuṇabī of Mahad, Bombay, 1966, стр. 52—53.

<sup>9</sup> В. А. Чернышев, Некоторые черты бомбейского говора хиндустани (на материале современной прозы хинди), «Индийская и иранская филология. Вопросы диалектологии», М., 1971, стр. 130.

(*cālat*). В бенгальском языке, напротив, аналитические формы совершенного вида обособлены от синтетических: первые опираются на неизменяемый непредикативный компонент с аффиксом *-iyā* (ср. выше *-i/-y-*)<sup>10</sup>, а вторые имеют аффикс: *-l*. Формы несовершенного вида опираются на одно и то же непредикативное образование с аффиксом *-t-*, но в аналитических оно выступает неизменяемым (на *-itē*).

Следовательно, синхронная система глагольного словоизменения не дает оснований возводить новоиндоарийские вторичные синтетические формы типа *cāllo*, *cālto* и т. п. к новоиндоарийским же аналитическим (типа *cāllo āhē*, *cālto/cālat āhē*) и приравнивать к ним современные стяжения типа бенгальского *koṛci* или шахпурского лахнда *karēnā*. Наблюдаемые в ней закономерные соотношения не позволяют считать эти формы результатом развития современной системы аналитических форм; напротив, эти соотношения заставляют скорее предположить, что названные формы в какой-то мере могли лечь в основу существующей системы (ср. особенно аналитические формы совершенного вида в маратхи).

Сказанное находит достаточно убедительное подтверждение в историческом материале. Примеры аналитических глагольных форм относительно редки в ранних памятниках новых индоарийских языков, как западных, так и восточных. Проведенный нами подсчет показал, что в стихах Кабира (XV в.), зафиксированных в сборнике «Адигрантх» (1604), аналитические сочетания с вспомогательным глаголом *hō-* составляют менее 1% встретившихся глагольных форм<sup>11</sup>. На сравнительную их редкость в «Рамаяне» Тулси Даса (1575) обращает внимание С. Келлогг<sup>12</sup>. О редкости аналитических форм в «Киртилата» Видьяпати (ок. 1360 г.) говорит Б. Саксена, приводящий всего четыре примера<sup>13</sup>. Возможно, однако, что это обусловлено спецификой стихотворного текста, поскольку ранний прозаический брадж Индраджита из Орчи (ок. 1600 г.) частотой аналитических форм мало уступает современному хинди<sup>14</sup>. Не так уж редки эти формы и в раннем прозаическом тексте на урду («хиндави»), относимом к XV в.<sup>15</sup>

Но еще существеннее то обстоятельство, что вторичные синтетические (спрягаемые) формы, образованные от причастия совершенного вида, зафиксированы уже в самых ранних новоиндоарийских текстах<sup>16</sup>. Характерно, что такие формы, как указывалось выше, имеются и в цыганском, которому вообще несвойственны аналитические сочетания общего новоиндоарийского типа с вспомогательным глаголом «быть» и система времен в котором своим строением принципиально отличается от наблюдаемой в современных языках Северной Индии<sup>17</sup>.

<sup>10</sup> Ср. также: S. K. Chatterji, The origin and development of the Bengali language, II, Calcutta, 1926, стр. 1002.

<sup>11</sup> Г. А. Зограф, Глагольная система в «шлоках» Кабира, сб. «Проблемы истории языков и культуры народов Индии», М., 1974, стр. 207—208.

<sup>12</sup> S. H. Kellogg, A grammar of the Hindi language, London, 1938, стр. 117 и сл.

<sup>13</sup> B. Saxena, The language of the Kīrtilatā, «Indian Linguistics», Reprint ed., II, стр. 56.

<sup>14</sup> R. S. McGregor, The language of Indrajit of Orchā. A study of Early Braj Bhāṣā prose, Cambridge, 1968, стр. 17—76.

<sup>15</sup> Mi'rāju'l-āšiqīn az Hazrat Khwāja Bandanawāz Gēsūdarāz, Murattaba-i Gōpī Cand Nārang, Dillī, 1957.

<sup>16</sup> S. K. Chatterji, указ. соч., стр. 947, 956; ср.: T. Mukherji, The Old Bengali language and text, Calcutta, 1963, стр. 60—62; J. Bloch, указ. соч., стр. 249 и сл.; ср.: A. Master, A grammar of Old Marathi, Oxford, 1964, стр. 129—131.

<sup>17</sup> См. об этом: Г. А. Зограф, Морфологический строй новых индоарийских языков, М., 1976, стр. 311—313.

Синтетические формы, восходящие к причастию совершенного вида, образуют в новых индоарийских языках парадигму прошедшего общего времени (претерита). Ниже приводятся формы претерита глагола «идти» в маратхи и синдхи, где они присоединяют глагольно-именные окончания. Для сравнения даны формы цыганского (русский диалект, глагол «делать») и хинди (представляющего новые индоарийские языки с чисто именными окончаниями претерита):

	Цыганский	Маратхи			Синдхи		Хинди	
		м. р.	ж. р.	ср. р.	м. р.	ж. р.	м. р.	ж. р.
1. kerd'om	<i>cāllō</i>		<i>cāllē</i>	<i>cāllē</i>	<i>halyusi</i>	<i>halyasi</i>	} <i>calā calī</i>	
2. kerd'an	<i>cāllās</i>		<i>cāllīs</i>	<i>cāllēs</i>	<i>halyē</i>	<i>halyā</i>		
3. kerd'a	<i>cāllā</i>		<i>cāllī</i>	<i>cāllē</i>	<i>halyō</i>	<i>halī</i>		
1. kerd'am			<i>cāllō</i>		<i>halyāsī</i>	<i>halyūsī</i>	} <i>calē calī</i>	
2. kerde			<i>cāllā</i>		<i>halyau</i>	<i>halyū</i>		
					<i>/halyā</i>			
3. kerde	<i>cāllē</i>		<i>cāllīyā</i>	<i>cāllī</i>	<i>halyā</i>	<i>halyū</i>		

Характерно, что глагольно-именные окончания появляются только в 1-м и, менее регулярно, во 2-м лице, тогда как 3-е лицо сохраняет чисто именные окончания (формы с ними выделены). Не касаясь существа предлагаемых этимологий конкретных окончаний (они заслуживают специального анализа, который не может быть предпринят в рамках этой краткой статьи), отметим, что традиционное возведение их к древне- и среднеиндийским формам вспомогательного глагола (связки)<sup>18</sup>, сочетающимся с пассивным причастием совершенного вида, хорошо согласуется с дистрибуцией связки — появлением ее преимущественно в 1 и 2-м лице, но не в 3-м, — отмечаемой в пракритах<sup>19</sup> и санскрите<sup>20</sup>. Эти соответствия говорят в пользу того, что вторичные синтетические формы претерита явились результатом процессов, имевших место еще в среднеиндийскую эпоху, и их закрепление произошло на ранних этапах развития новых индоарийских языков.

У синтетических форм, опирающихся на причастие несовершенного вида, аналогичные глагольно-именные окончания появляются, судя по письменным источникам, несколько позже. Спрягаемые формы прошедшего обычного времени (или условного наклонения) на востоке становятся обычными только в среднебенгальский период (т. е. не ранее XIV—XV вв.)<sup>21</sup>. Относительно позднее явление представляет собой и дифференциация двух типов глагольно-именных окончаний (для изъявительного и условного наклонений) при причастной основе на *-t-* в маратхи<sup>22</sup>. Образование таких форм можно объяснить либо параллельным описанному выше процессом стяжения вспомогательного глагола с причастием несовершенного вида (настоящего времени), либо присоединением к этому причастию энклитических местоименных показателей, либо, наконец,

<sup>18</sup> E. T r u m p p, Grammar of the Sindhi language, London — Leipzig, 1872, стр. 290—291; J. B l o c h, указ. соч., стр. 244 и сл.; но ср.: S. K. C h a t t e r j i, указ. соч., стр. 973 и сл.

<sup>19</sup> J. B l o c h, Indo-Aryan from the Vedas to modern times, Paris, 1965, стр. 271; S u k u m a r S e n, The non-finite verb and periphrasis of tenses and moods in Middle Indo-Aryan, «Indian Linguistics», Reprint ed., II, стр. 353.

<sup>20</sup> С. Л. Л е в и н а, Фinitное употребление причастий в языке «Махабхараты», «Краткие сообщ. Ин-та народов Азии», 68, М., 1964, стр. 28—29.

<sup>21</sup> S. K. C h a t t e r j i, указ. соч., стр. 960.

<sup>22</sup> J. B l o c h, La formation de la langue marathee, стр. 244.

«выравниванием» парадигмы по аналогии с формами совершенного вида. Кстати, выравнивание системы по аналогии (но в этом случае с первичными синтетическими формами, о чем свидетельствуют примеры совпадения первичных и вторичных окончаний), по-видимому, сыграло определенную роль в формировании набора вторичных чисто глагольных окончаний в восточных индоарийских языках. Неустойчивость новых синтетических спрягаемых форм, чередующихся с не оформленными личными окончаниями причастием, в частности, в 1-м лице, зафиксирована здесь в старых письменных текстах <sup>23</sup>.

Таким образом, заключение А. П. Баранникова о том, что «несмотря на свою давнюю оторванность от Индии, цыганский язык продолжает развиваться в том же направлении, что и различные индоарийские языки, и р е в о с х о д я т с я в т е м п а х с в о е г о р а з в и т и я» (разрядка наша. — Г. З.) <sup>24</sup>, и что он «прошел те же этапы, что и другие индоарийские языки, носители которых продолжают жить в Индии» <sup>25</sup>, при системной оценке материала не подтверждается. Напротив, последовательное сопоставление именных и глагольных структур в цыганском, с одной стороны, и в североиндийских индоарийских языках, с другой, соотносимое с фактами исторического развития последних по меньшей мере за тысячелетний период, говорит в пользу того, что изолированное развитие цыганских диалектов в иноязычном окружении в течение всего этого периода способствовало к о н с е р в а ц и и в них ряда исконных черт строя. В этой связи правомерно поставить вопрос, не должны ли цыганские формы служить своего рода «пробным камнем» для установления относительной хронологии характерных явлений новоиндоарийской морфологии. Под этим углом зрения цыганский язык рассматривался явно недостаточно, поскольку при сравнении его с другими индоарийскими языками преимущественное внимание постоянно уделялось соответствиям фонетического и лексического порядка <sup>26</sup>.

Изложенное позволяет предположить, что в истории индоарийских языков развитие аналитических глагольных форм и образование на основе их стяжения новых синтетических форм было не последовательно прямолинейным, а скорее цикличным процессом, причем пики очередных циклов приходится здесь один — на рубеж между средне- и новоиндийской эпохами (ок. 1000 г. н. э.), а второй — на поздний новоиндийский (т. е., практически, современный) период. Это, разумеется, требует еще тщательной проверки на всем доступном историко-лингвистическом материале. Но уже сейчас методически правомерно наряду с п е р в и ч н ы м и и в т о р и ч н ы м и синтетическими формами новоиндийского глагола различать два исторических типа последних: собственно вторичные и, так сказать, третичные.

Такая историческая классификация будет выглядеть следующим образом: 1) первичные — прямое развитие флексивных древне- и среднеиндийских спрягаемых форм; 2) вторичные — ранние новоиндийские синтетические образования на основе стяжения среднеиндийских аналитических сочетаний, а также по аналогии с такими новообразованными (или же первичными) формами; 3) третичные — новые стяжения (современных) новоиндийских парадигматических аналитических форм.

<sup>23</sup> S. K. Chatterji, указ. соч., стр. 947 и сл.; B. K. Kati, Assamese, its formation and development, Gauhati, 1941, стр. 330 и сл.

<sup>24</sup> А. П. Баранников, указ. соч., стр. 16.

<sup>25</sup> Там же, стр. 17.

<sup>26</sup> См., например: R. L. Turner, The position of Romani in Indo-Aryan, London, 1927.

ШЕВЯКОВА В. Е.

## К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКОМ УДАРЕНИИ

Неотъемлемой частью речевой фразовой интонации является ударение, в том числе — логическое (оно же: предикатное — по С. И. Бернштейну, тоническое — по М. А. К. Халлидею, ядерное — по А. Гимсон и В. А. Васильеву, ударение настоятельности — по М. Граммону и Л. Руде, ударение новизны — по М. Шубигер, фразовое — по В. А. Васильеву, О. А. Норк и Е. А. Брызгуновой, рематическое).

Исключительная роль логического ударения в акте речевой коммуникации общепризнана. Оно сообщает группе слов и отдельному слову (например, *Пожар! Дождь.*) смысловую законченность — предикативность, превращая их в наименьшую единицу речевой коммуникации — предложение<sup>1</sup>, выделяет смысловой центр сообщения — рему (логический предикат). При этом значение логического ударения не ограничивается только устной речью. И в письменной речи правильность определения ремы предложения в случае отсутствия в нем ремовыделительных конструкций (которые очень существенны, например, для языков аналитического строя с фиксированным словопорядком) проверяется прочтением предложения вслух или «про себя» с постановкой логического ударения.

Несмотря на важность логического ударения для речевой коммуникации, в лингвистической литературе до сих пор нет общепризнанного определения этого понятия<sup>2</sup> и его места в системе таких категорий, как фразовое ударение, эмфатическое ударение, контрастное ударение<sup>3</sup>. Как правило, авторы рассматривают логическое ударение односторонне — или только с фонетической точки зрения, или только с логической. Большинство ученых отождествляет логическое ударение с эмфатическим ударением противопоставления<sup>4</sup>. Логическим ударением эти авторы считают не всякое предикатно-рематическое ударение, создающее предикацию (предложение) и выделяющее логический предикат — рему, а только контрастно-эмфатическое ударение противопоставления, встречающееся далеко не в каждом предложении. Обычно логическим считают ударение,

<sup>1</sup> См.: В. В. Виноградов, «Синтаксис русского языка» акад. А. А. Шахматова, в кн.: «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 50; С. И. Бернштейн, Вступительная статья, в кн.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1938.

<sup>2</sup> Наиболее убедительно этот вопрос трактуется в работах Г. П. Торсуева. Ср., например: Г. П. Торсуев, Вопросы акцентологии современного английского языка, М., 1960.

<sup>3</sup> См.: О. И. Дикущина, Фонетика английского языка, Л., 1952, стр. 102; О. А. Норк, Н. Ф. Адамова, Фонетика современного немецкого языка, М., 1976, стр. 111; В. В. Осокин, Логическое ударение, Томск, 1968; П. С. Попов, О логическом ударении, ВЯ, 1961, 3.

<sup>4</sup> О. А. Норк, Н. Ф. Адамова, указ. соч.; В. В. Осокин, указ. соч.; И. П. Распопов, Актуальное членение предложения, Уфа, 1961, стр. 129; М. И. Матусевич, Введение в общую фонетику, Л., 1948, стр. 74; Д. Н. Шмелев, Синтаксическая членность высказывания в современном русском языке, М., 1976, стр. 104; Т. М. Николеева, Актуальное членение — категория грамматики текста, ВЯ, 1972, 2, стр. 50, 51.

с помощью которого выделяется фразоначальный член предложения [например, *Джон* уехал в Оксфорд, а не Джэк — *John* has left for Oxford, not Jack; «When I entered the room I noticed that Pyle wasn't there. *Joe* sat behind the desk» (Gr. Greene, Quiet American)] или же обычно неудараемый член предложения [например, в английском языке личное местоимение: — Am *I* telling the story or are *you*? The lady and I know each other well; «She failed to get her rake-off from *me*, but she is getting it from *Pile*» (Gr. Greene, Quiet American)].

В соответствии с этой точкой зрения в предложении такого же лексико-грамматического состава, например, Джон уехал в *Оксфорд* — *John* has left for *Oxford* (это предложение могло бы явиться ответом на вопрос Куда Джон уехал? В какой город?), но произнесенном с нисходящим тональным завершением умеренного диапазона на фразоконечном члене предложения, без противопоставления и эмфазы (как простая констатация), логическое ударение вообще отсутствует<sup>5</sup>. Оно признается за конечным словом только при наличии на нем эмфазы [акустический эффект, создаваемый увеличением диапазона нисходящего мелодического завершения (ему может предшествовать и некоторое повышение) и повышенной интенсивностью произнесения: ср. «(...I was down again breathless with pain). It was'n't my *ankle*: something had happened to my left *leg*» (Gr. Greene, Quiet American)].

Таким образом, согласно указанной точке зрения, в подавляющем большинстве предложений (поскольку неэмфатические предложения преобладают в языке не только научной, но и художественной литературы) нет логического ударения. Ср., например, отрывки из книг А. Толстого «Хожение по мукам» и Гр. Грина «Quiet American», в которых, согласно этой точке зрения, логическое ударение должно отсутствовать: «...Телегу опять качнуло... Дашу разбудил *Кузьма Кузьмич*. Она лежала, уткнувшись, под телегой... Обоз *остановился*»; «*Pile* had two rooms, a kitchen and a bathroom. We went to the bedroom. I knew where *Phuong* would keep her box — under the bed. We pulled it out together; it contained her picture books. I took her few spare clothes out of the wardrobe».

Такой взгляд на логическое ударение в корне неверен<sup>6</sup>. Логическое (рематическое, предикатное) ударение присутствует в любом предложении — эмфатическом и неэмфатическом, ибо без него нет смысловой законченности — предикации<sup>7</sup>, нет утверждения или отрицания, вопроса, повеления, нет и интонационного центра предложения, а следовательно, и логического центра — ремы, т. е. фактически нет предложения.

Отрицание наличия логического ударения в неэмфатических предложениях с фразоконечной ремой обусловлено, по-видимому, тем, что фразоконечное главное ударение без эмфазы, совпадающее с концом предложения и обычно ассоциируемое с пунктуационным знаком — точкой, будучи

<sup>5</sup> Например, П. И. Распопов, а вслед за ним и Д. Н. Шмелев считают, что в предложении Ночью произошел взрыв — на реме *взрыв* логическое ударение отсутствует, так как рема выражена здесь позиционно (П. И. Распопов, Логическое ударение как особое средство структурной организации предложения, «Р. яз. в шк.», 1968, 4, стр. 92; Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 127); М. Г. Радиевская говорит о предложениях «без логического ударения» (М. Г. Радиевская, О влиянии места логического ударения на его динамические характеристики, в кн.: «Теоретическая фонетика и обучение произношению», М., 1976).

<sup>6</sup> Справедливое отрицание этой точки зрения, хотя и без достаточно мотивированной аргументации, содержится в статье В. К. Чичагова «О динамической структуре русского повествовательного предложения» (ВЯ, 1959, 3, стр. 32).

<sup>7</sup> Когда С. И. Бернштейн в своей «Вступительной статье» к работе А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» пишет, что не глагольность, а интонация создает в устной речи смысловую законченность — предикацию, он имеет в виду именно логическое ударение.



наиболее частотным и привычным, воспринимается как нечто само собой разумеющееся и поэтому в силу инерции просто многими не замечается. Однако такое неэмфатическое фразоконечное ударение имеет ту же основную функцию, что и фразоначалное рематическое ударение и фразоконечное с эмфазой. Оно не только сообщает предложению смысловую законченность, определяет его коммуникативный тип, но и указывает на смысловой центр сообщения — реме (или на ее ядро при многословной реме), хотя и без дополнительного эмоционально-волевого наложения. Здесь имеет значение не степень эмфатичности и не позиция (т. е. начало фразы или ее конец), а оппозиция<sup>8</sup>: главноударность последнего слова в предложении даже без эмфазы означает, что носителем ремы является именно оно, а не, например, фразоначалное слово или фразосрединное. Ведь вариант, приводимый И. П. Распоповым, Ночью *взрыв* произошел, в котором он признает наличие логического ударения на слове *взрыв*, только потому и существует, что есть также вариант с фразоконечной ремой Ночью произошел *взрыв*, с логическим ударением на слове *взрыв* (которое И. П. Распопов не считает логическим), а также вариант, где слово *взрыв* вообще не является ремой и, следовательно, не выделяется логическим ударением — Ночью взрыв разрушил лучшее здание *города* (рема — *лучшее здание города*).

В то же время не всякое фразоначалное главное ударение (которое признается как логическое всеми авторами) является контрастно-эмфатическим. Ср. рематическое (логическое) ударение без всякого контраста и эмфазы на фразоначалном слове *отец* в устном сообщении *Отец* пришел — *Father came* или *Отец*. — *Father*. — в ответ на вопрос Кто там пришел? Возможно, что в русском языке, в котором рема обычно бывает в конце предложения, в некоторых случаях фразоначалное ее положение действительно бывает связано с той или иной степенью эмфазы, которая накладывается на логическое ударение. В английском же языке фразоначалное логическое ударение без эмфазы — довольно частое явление, особенно когда носителем ремы является подлежащее, занимающее обычно в предложении фиксированное фразоначалное положение<sup>9</sup>: «(We went to a large *tent*). Three *men* were inside» (J. Aldridge); «The *telephone* rang at the end of the corridor» (A. Cronin); «I told her: „*Pyle's* coming at six... I expect he'd like to see you“» (Gr. Greene); A *book* was lying on the table.

Таким образом, ударение на реме как с контрастно-эмфатическим наложением, так и без него является ударением рематическим — логическим.

В первом случае (как в Am I telling the story or are *you*? или John has left for Oxford, not Jack) ремы I, you, John — интонационно-маркированные, а ударение — логическое с контрастно-эмфатическим наложением, во втором (как в John has left for Oxford; We went to a large *tent*. Three men were inside) ремы Oxford, tent, men — немаркированные, а ударение — логическое неэмфатическое.

Следует отметить, что и в работе А. Гимсон термин «логическое ударение», именуемое «ядерным» (nuclear accent)<sup>10</sup>, применяется ко всем слу-

<sup>8</sup> Ср. аналогичную точку зрения А. Мартине относительно тонов: «... тон существует лишь постольку, поскольку он находится в отношении оппозиции по крайней мере еще с одним тоном» (А. М а р т и н е, Основы общей лингвистики, в кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 441).

<sup>9</sup> Не наблюдается и сколь-либо выраженной эмфазы на выделяемом логическим ударением фразоначалном инвертированном предикативном члене в эмфатической конструкции типа «Very *lissom* she looked» (J. Galasworthy, Swan song). Возможно, наличие инвертированной конструкции устраняет необходимость в дополнительном интонационном выражении эмфазы.

<sup>10</sup> A. G i m s o n, An introduction to the pronunciation of English, London, 1962, стр. 248.

чаям ремовыделительного (логического) ударения, независимо от того, есть на нем эмфатическое наложение или нет.

В этой связи важным представляется наблюдение Е. А. Абдалиной относительно того, что «рема независимо от ее положения во фразе и от степени ее эмоциональной насыщенности всегда распознается аудиторам»<sup>11</sup>. По-видимому, благодаря акустическим особенностям логического ударения (о которых речь будет идти ниже) рема может быть распознана даже аудиторам, не владеющими данным конкретным языком.

Отождествление логического ударения с контрастно-эмфатическим приводит к терминологической омонимии и тем самым — к путанице, ибо в неэмфатических предложениях с чистой констатацией (*John has left for Oxford; We went to a large tent. Three men were inside*) предикатно-рематическое (логическое) ударение (которое здесь приходится на слова *Oxford, tent, men*) не имеет специального названия и именуется обобщенным термином — фразовое ударение<sup>12</sup> или фразное ударение<sup>13</sup>, которым выделяются также и другие члены предложения, не являющиеся носителями ремы. Однако необходимость все же как-то различать простое фразовое ударение, которым обычно выделяются знаменательные части речи (носители темы), и главное рематическое ударение (на реме) неизбежно приводит к появлению сложной путаной терминологии. Ср., например, терминологию в упомянутой книге О. А. Норк и Н. Ф. Адамовой, где ударение, выделяющее рему, называется главным фразовым или самым сильным фразовым ударением; ударение, которым выделяются остальные знаменательные слова предложения, — сильным второстепенным фразовым ударением или усиленным фразовым ударением. А ударение, которым выделяются слова, коммуникативно малозначительные, — слабым второстепенным или нулевым фразовым ударением.

Терминологическая омонимия и громоздкость создают неудобства при проведении научных исследований в области речевой интонации, синтаксической фонетики (или интонационной грамматики), вопросов актуального членения, а также в процессе обучения языку (иностранному и родному), ибо при этом снимается дифференциация двух разновидностей фразового ударения (простого и логического), различающихся как акустическими параметрами и воспринимаемыми качествами, так и своей функцией<sup>14</sup>.

Фразовое ударение — это, как известно, распределение ударений между словами данного предложения, относительная выделенность слов в звучащем предложении — фразе. При этом слова, выделенные фразовым ударением, могут иметь разную степень громкости. Но одно слово — носитель ремы или ее ядра при многословной реме (например, — ядро *men* многословной ремы *three men* в предложении *Three men were inside*) воспринимается как главноударное, как интонационный и смысловой центр фразы (предложения), даже если оно по интенсивности произнесения (физико-акустический параметр) равняется или даже уступает остальным словам, выделенным фразовым ударением. Этот акустический эффект главноударности обусловлен не только и не столько динамическим компонен-

<sup>11</sup> Е. А. Абдалина, Интонационные средства выражения ремы в простом повествовательном предложении в современном английском языке. АКД, М., 1973, стр. 10.

<sup>12</sup> Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 62; О. А. Норк, Н. Ф. Адамова, указ. соч.; А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М. — Л., 1949, стр. 105.

<sup>13</sup> А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 176, 177.

<sup>14</sup> Не случайно В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, П. С. Попов, В. З. Панфилов для обозначения предикатного ударения используют специальный термин — «логическое ударение».

том интонации — интенсивностью произнесения, сколько особым мелодическим оформлением данного слова (слога)<sup>15</sup>. Оно произносится не с ровным «статическим», а с изменяющимся «кинетическим» тоном (по Р. Кингдону) или с «тоническим ударением» (по М. А. К. Халлидею), достигающим границы высотного диапазона фразы, и воспринимается как последний ударный элемент фразы. В повествовательном предложении в его пределах осуществляется завершающее понижение тона, выражающее утверждение [в настоящей статье мы не касаемся других возможных в английском языке вариантов мелодического оформления слога, выделенного логическим ударением, которые могут встретиться, например, в неконечных синтагмах (а) или в некатегорических утверждениях (б), когда для связи с последующим (а) или для выражения дополнительных значений, импликаций (б) за терминальным понижением, иногда неполным, может последовать небольшое конечное повышение тона (*fall—rise*) и т. д.]; в вопросительном (общий вопрос) — повышение тона, выражающее вопрос<sup>16</sup>.

Такое тоническое по своему характеру фразовое ударение, в отличие от динамического фразового ударения, характеризующегося статическим ровным (или с небольшим неполным понижением/повышением) тоном голоса, и называется логическим<sup>17</sup>. «Логическое ударение есть не что иное, как характерное видоизменение интонации предложения (т. е. мелодии. — В. Ш.), выделяющее так называемое логическое сказуемое»<sup>18</sup>.

В функциональном отношении логическое ударение отличается от простого фразового ударения тем, что оно выделяет рему, а простое фразовое ударение — тему.

Термин «логическое ударение» необходим потому, что для простого фразового ударения в пределах каждого конкретного языка есть свои правила относительно того, какие части речи выделяются, а какие не выделяются ударением в предложении (в английском, например, знаменательные части речи, за исключением некоторых местоимений и местоименных наречий в конечном положении). Логическим же ударением может быть выделен любой член предложения — носитель ремы, выраженный любой частью речи, даже обычно не ударяемой (например, в английском предлоги, артикли, личные местоимения). Но в этом случае на логическое ударение накладывается эмфаза.

Таким образом, логическое ударение — это особая разновидность фразового ударения, требующая особого термина. Например, в предложении Джон уехал в Оксфорд — *John has left for Oxford* все три ударные слова (*Джон, уехал, Оксфорд* — *John, left, Oxford*) выделены фразовым ударением. При этом слова *Джон (John), уехал (left)* выделены простым динамическим фразовым ударением, а слово *Оксфорд (Oxford)* —

<sup>15</sup> Аналогичной является формулировка А. Гимсон (A. Gimson, указ. соч., стр. 244), в которой логическое ударение именуется термином «nuclear accent» или «primary accent».

<sup>16</sup> В зависимости от конкретного языка сам характер повышения тона в вопросительном предложении, выражающем общий вопрос, может иметь свои особенности: в русском языке обычно повышение достигает верхней границы диапазона в ударном гласном слова — носителя ремы, в английском языке, наоборот, ударный гласный произносится на нижней границе диапазона, а повышение имеет место в заударных слогах. Но так или иначе и в этом случае имеющий место перелом в движении голосового тона (этому слогу предшествует постепенно нисходящий мелодический ряд) создает впечатление смысловой законченности, предикативности и главноударности.

<sup>17</sup> См.: Г. П. Торсуев, указ. соч., стр. 13, 18, 19; В. Е. Шевякова, Актуальное членение вопросительного предложения, ВЯ, 1974, 5, стр. 412, примеч. 27.

<sup>18</sup> Л. В. Щерба, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 159. По-видимому, описанный перелом в движении голосового тона имеют в виду под несколько расплывчатой формулировкой «усиление тона, создающее впечатление главноударности» В. Всеволодский-Гернгросс в работе «Теория русской речевой интонации» (Нг., 1922) и вслед за ним В. К. Чичагов в упомянутой работе.

тоническим фразовым ударением, т. е. логическим. В предложении Джон уехал в Оксфорд фразовым ударением выделяются два слова: Джон — простым фразовым, уехал — логическим. При этом слово уехал, произносимое с завершающим понижением тона, воспринимается на слух как главноударное и как фактический конец фразы<sup>19</sup>, после которого слово Оксфорд, хотя и знаменательное, звучит как безударное. В данном контексте оно вообще могло бы отсутствовать, так как данное сообщение является ответом на вопрос Уехал или не уехал Джон в Оксфорд? А если это не ответ на вопрос, а инициативное сообщение, то говорящий исходит из того, что собеседнику известно о предполагавшейся поездке Джона в Оксфорд (сообщение имеет смысл — Наконец-то Джон все же уехал).

И, наконец, в предложении Джон уехал в Оксфорд логическим фразовым ударением выделяется фразоначалное слово — носитель ремы Джон. При этом, несмотря на фразоначалное положение, оно не обязательно будет эмфатическим. Это просто может быть ответом на вопрос Кто уехал в Оксфорд?, без какого-либо противопоставления и эмфазы. Но поскольку терминальный нисходящий тон, которым характеризуется логическое ударение, создает впечатление главноударности и конца фразы, то все последующие, даже знаменательные слова (уехал, Оксфорд), обычно выделяемые фразовым ударением, воспринимаются на слух как неударные, тем самым, возможно, по контрасту несколько увеличивая эффект выделенности слова Джон.

Итак, логическое ударение — это разновидность фразового ударения, это одно из ударений, которым выделено то или иное слово во фразе<sup>20</sup>. Но слово (слог), выделенное логическим ударением, воспринимается как главноударное, и выбор этого слова определяется не правилами выделяемых (невыделяемых) частей речи в данном конкретном языке, а актуальным членением предложения, обусловленным ситуацией, контекстом. Таким образом, ошибочна также и другая крайность, когда логическое и фразовое ударение рассматривают как совершенно разные феномены, не связанные между собой<sup>21</sup>.

Неубедительной является имеющаяся в лингвистической литературе аргументация против термина «логическое ударение»<sup>22</sup> только на том основании, что в многословной реме логическим ударением выделяется не вся рема, а лишь один ее элемент — ядро. Действительно, в неэмфатической речи переходом мелодии голосового тона, создающий эффект главноударности — эффект логического ударения, имеет место только в одном элементе ремы, как правило — последнем. Но это тем не менее не что иное, как рематическое, т. е. логическое ударение. Оно имеет место на ядре ремы и объединяет всю многословную рему в единое целое, причем отделение такой многословной ремы от состава темы осуществляется за счет физической микропаузы<sup>23</sup>. Ср., например, одно и то же предложение Джон уехал в Оксфорд с однословной ремой в Оксфорд и с много-

<sup>19</sup> См. Г. П. Торсуев, указ. соч.

<sup>20</sup> См.: Г. П. Гинтовт, Фразовое ударение в современном английском языке. КД, М., 1955.

<sup>21</sup> «Современный русский язык. Синтаксис», под ред. проф. Е. М. Галкиной-Федорук, М., 1957, стр. 96.

<sup>22</sup> См.: В. В. Осокин, указ. соч.; И. П. Распопов, указ. соч.; Е. А. Абдальна, указ. соч., стр. 10.

<sup>23</sup> Акустическое впечатление паузы может создаваться и при отсутствии фактической остановки в звучании — с помощью понижения или повышения тона. Ср. сочетание A book of England, где не только понижение, но даже повышение тона на слове book разъединяет мысль на синтагмы. Под физической же паузой имеется в виду фактическая пауза — остановка звучания (пусть еле заметная), без изменения направления движения тона. Такая физическая пауза не членит мысль на синтагмы, а только помогает выделить состав ремы.

словной ремой — *уехал в Оксфорд*. Логическое ударение в обоих случаях имеет место на слове *Оксфорд*, но в первом случае физическая микропауза имеет место перед ремой *Оксфорд* (если это предложение отвечает на вопрос Куда уехал Джон?), во втором — перед началом многословной ремы *уехал в Оксфорд* (если предложение является ответом на реплику А где сейчас Джон? Что-то его давно не видно).

Аналогичное явление имеет место и в вопросительном предложении. Ср. Джон уехал в Оксфорд? В нем и при однословной реме *Оксфорд* и при многословной — *уехал в Оксфорд* на реме (в первом случае) и ее ядре (во втором) имеет место повышение тона до верхней границы диапазона, выражающее вопрос и выделяющее рему. Но при этом в одном случае физическая микропауза будет перед ремой *Оксфорд* (если спрашивается, куда уехал Джон), а в другом — перед началом многословной ремы — *уехал в Оксфорд* (если спрашивается, что сделал Джон или где он сейчас). В этой связи неубедительным представляется утверждение И. П. Распопова<sup>24</sup> об отсутствии логического ударения в вопросительном предложении Ты завтра | будешь читать эту рукопись?, когда вопрос ставится о действии или намерениях собеседника, т. е. когда носителем ремы являются слова *будешь читать эту рукопись*, и предложение, по-видимому, произносится как удостоверительный вопрос (полувопрос — полутверждение). Хотя главноударным здесь является только одно слово этой многословной ремы — *рукопись*, оно объединяет всю рему (*будешь читать эту рукопись*), которая отделяется от состава темы — *ты завтра* физической микропаузой (впечатление этой паузы усиливается тем, что начало ремы *будешь* является первым ударным словом в данной фразе).

Перейдем к эмфатическому ударению. Важно подчеркнуть, что оно не обязательно во всех случаях будет рематическим (логическим). Что касается эмфазы, то необходимо иметь в виду, что она может иметь место не только на р е м е, но и на т е м е, т. е. накладываться на фразовое ударение любой степени и любой функции: как на простое динамическое фразовое ударение — тематическое, так и на тоническое фразовое ударение — логическое (рематическое). При этом в слове (слоге), выделенном простым динамическим фразовым ударением, может иметь место или усиление динамического компонента интонации — интенсивности произнесения и/или небольшое неполное падение (или повышение) тона, или же ударный слог может произноситься на более высоком тональном уровне<sup>25</sup>. В слог же, выделенном логическим ударением, при эмфазе увеличивается диапазон падения (повышения) тона. Как при простом фразовом, так и при логическом фразовом ударении дополнительными факторами эмфазы могут быть удлинение ударного гласного и усиление интенсивности произнесения.

Рассмотрим ситуации употребления эмфатического выделения 1) ремы (эмфатическое логическое ударение) и 2) темы (эмфатическое простое фразовое ударение).

1. Представим себе, что говорящий сообщает собеседнику, что Джон уехал в *Оксфорд* — John has left for Oxford с логическим ударением на реме — слове *Оксфорд* (Oxford). Но собеседник, к которому обращена речь, не расслышал, куда уехал Джон, и говорящий повторяет предложение с эмфазой на слове *Оксфорд* (Oxford). Такое же произнесение будет иметь место при наличии противопоставления, контраста, если собеседник утверждает обратное, например, что Джон уехал в Кембридж. В этом слу-

<sup>24</sup> См.: И. П. Распопов, указ. соч., стр. 129.

<sup>25</sup> Ср. в этом плане аналогичную точку зрения в книге А. Гимсон, в которой говорится, что слоги, выделенные простым фразовым ударением, тоже могут выделяться мелодией, но иначе, чем слог, выделенный логическим (ядерным — по Гимсон) ударением.

чае на логическое ударение в слове *Оксфорд* (*Oxford*) накладывается и эмфатическое ударение противопоставления. Увеличивается диапазон падения тона голоса на ударном слоге слова *Оксфорд* (*Oxford*) (при этом падению может предшествовать небольшое повышение — rise—fall), увеличивается длительность произнесения гласного /o/ в русском языке, а в английском языке реализуется гортанный приступ на ударном гласном.

Если эмфаза падает на сложную рему, то нисходящий тон может иметь место не только на ядре ремы, но и на каждом ее элементе. Ср.: (Mr. Rabbit went to the pond) and he soon saw the *fallen tree*, где нисходящий тон реализуется не только на ядре ремы — слове *tree*, но и на первом элементе ремы — слове *fallen*. Но при этом на слове *tree* имеет место больший диапазон тонального понижения до нижней границы диапазона и большая интенсивность произнесения.

2. Но может быть другая ситуация, когда в предложении Джон уехал в *Оксфорд* (опять же с ремой *Оксфорд*, если сообщение отвечает на вопрос Куда уехал Джон?), наряду с главноударным словом *Оксфорд* (*Oxford*), выделенным логическим ударением, может также иметь место и некоторая дополнительная выделенность носителя темы — слова *Джон* (*John*) — в следующем контексте: (Джек уехал в *Кембридж*), а Джон уехал в *Оксфорд* (*Jack has left for Cambridge, and John has left for Oxford*). В этом случае тема *Джек* (*Jack*) и тема *Джон* (*John*) произносятся ровным высоким тоном, без мелодического повышения или понижения (или же с небольшим тональным повышением или понижением), не достигающим нижней границы диапазона, но с несколько большей интенсивностью, с увеличением динамического компонента интонации. При таком произнесении тема *Джон* (*John*) воспринимается как дополнительно выделенное, но не главноударное слово. Как главноударное воспринимается рема *Оксфорд* (*Oxford*), произносимая, возможно, и с меньшей силой (поскольку она ничему не противопоставляется), но с кинетическим предиктирующим нисходящим терминальным тоном. Аналогичное явление наблюдается и в следующем примере: На первое нам подали суп, на второе котлеты, на третье компот. Носители темы — слова *на второе* и *на третье* будут несколько выделены по контрасту с темой *на первое*, причем тема *на третье* — несколько сильнее, чем тема *на второе*. Однако выделение только динамическими средствами интонации (правда, здесь может быть приплюсован и темпоральный и даже мелодический компонент, но без терминального понижения) не создает впечатления главноударности и рематичности, присущей логическому ударению, которым в этом предложении выделяются дополнения — соответственно — *суп, котлеты, компот*. Ср. аналогичный пример, где противопоставляемые темы *гениальность* и *натура* выделяются простым фразовым ударением с небольшим эмфатическим наложением, а главное — логическое ударение — на реме *есть* и реме *нет*: «— Рудин — гениальная натура! — подхватил Басистов. — Гениальность в нем, пожалуй, есть, — возразил Лежнев, а натура... натуры в нем нет» (И. Тургенев, Рудин). Ср. такой же пример из английской художественной литературы: «He moved to the chair. On his right sat Winslow, on his left Brown» (Ch. Snow, *The affair*), где тема — *on his right* и *on his left*, рема — *Winslow, Brown*. И хотя в этом примере *on his left* выделено немного сильнее, чем *on his right* (для достижения впечатления контраста), однако это не логическое ударение, а несколько усиленное тематическое фразовое ударение противопоставления, осуществленное с помощью динамических и темпоральных компонентов интонации (*на left* может быть даже незначительное понижение тона, но несколько другого характера и меньшего диапазона падения, чем на реме *Brown*).

Аналогичное явление имеет место в тех случаях, когда с эмфазой произносится вся фраза. В этом случае нисходящий тон может реализоваться на каждом слове (скользящая шкала). Тем не менее рема всегда безошибочно распознается, так как она в этом случае произносится с большей интенсивностью, а нисходящий тон на реме (или ее ядре) всегда достигает нижней границы диапазона и воспринимается на слух как конец звучания фразы. Ср. предложение *John has left for Oxford*, произнесенное с понижением тона на словах *John, left* и реме *Oxford*. При этом терминальное понижение тона на слове *Oxford* будет достигать нижней границы диапазона фразы, причем оно может начинаться с более высокого тонального уровня и/или усиливаться предшествующим тональным повышением (rise—fall). Кроме того, слово *Oxford* будет произнесено с большей интенсивностью, чем если бы оно произносилось при отсутствии понижения тона на других словах.

Таким образом, не всякое эмфатическое ударение противопоставления будет логическим (отсюда следует несостоятельность отождествления логического ударения с эмфатическим ударением противопоставления). Эмфаза может налагаться как на ремю (т. е. на рематическое — логическое ударение), так и на тему (т. е. на простое фразовое ударение). Различаются рема и тема не по динамическому, а по мелодическому компоненту интонации, и в целом — по комплексу воспринимаемых на слух качеств.

Что касается утверждения некоторых авторов, что «чем ближе к началу расположено в предложении ударное ремное слово, тем громче его динамическая структура»<sup>26</sup>, т. е. что «логическое ударение сильнее, если оно приходится на фразоначальное слово»<sup>27</sup>, то это, как справедливо отмечает В. К. Чичагов, фактически примыкающий к этой концепции, «нуждается в экспериментальной проверке»<sup>28</sup> (по экспериментальным же данным М. Ф. Радиевской динамический компонент логического ударения больше в конце предложения, чем в начале<sup>29</sup>).

С одной стороны, указанное положение о большей громкости фразоначального логического ударения может показаться убедительным, так как в начале предложения у говорящего больший запас дыхания, чем в конце. Правильно и то, что нисходящий мелодический интервал, создающий слуховое впечатление главноударности, к концу звучания фразы не может быть очень большим (если только он не произносится с эмфазой и падение не начинается с очень высокого уровня). В начале же фразы, обычно произносимом на уровне верхней границы диапазона, интервал падения тона до нижней границы диапазона может быть больше, чем в конце. При этом заударные слоги воспринимаются на слух как безударные, что, возможно, несколько повышает впечатление выделенности главноударного слова.

С другой же стороны, различие в величине нисходящего интервала на фразоначальной и фразоконечной реме, по-видимому, только кажущееся. Дело в том, что наше слуховое восприятие осуществляется на уровне и в рамках музыкальных интервалов — секунды, терции, кварты и т. д. А одному и тому же музыкальному интервалу в разных регистрах соответствует разное количество герц. Чем выше регистр, тем большее число герц соответствует каждому данному музыкальному интервалу, чем ниже регистр — тем меньшее число герц. Например, нисходящий мелодический интервал в 80 герц (220—140 герц) на фразоначальной реме, находящийся в пределах второй октавы (более высокий регистр), равен музыкальному

<sup>26</sup> В. К. Чичагов, указ. соч., стр. 31.

<sup>27</sup> Е. А. Абдалиня, указ. соч., стр. 10.

<sup>28</sup> В. К. Чичагов, указ. соч., стр. 31.

<sup>29</sup> М. Ф. Радиевская, указ. соч., стр. 135.

интервалу кварте. Но такому же интервалу равен нисходящий мелодический интервал и в 60 герц (140—80 герц) на фразоконечной реме, поскольку она произносится в первой октаве, т. е. в более низком регистре. Нисходящий интервал в этой же октаве в 80 герц (160—80 герц) равняется примерно квинте и уже превосходит интервал в 80 герц в начале фразы. Следовательно, исчисление только в герцах не дает истинной объективной картины величины мелодических интервалов (как падения, так и повышения тона). Их необходимо переводить в нотное обозначение в соответствии с таблицей в книге Пиаже<sup>30</sup>.

Кроме того, следует учесть — и это самое главное, — что независимо от абсолютной величины интервала, для восприятия слова как ремы (т. е. для получения акустического эффекта логического — рематического ударения), достаточно его произнести с нисходящим тоном, достигающим нижней границы высотного диапазона, причем границы диапазона не человеческого голоса вообще, а тонального предела ударных слогов данной конкретной фразы (если фраза началась выше, то и конец ее будет выше, чем в другой фразе: высотный диапазон речи не имеет той широты интервалов, которые присущи, например, пению).

В отношении фразоначальной ремы необходимо, по-видимому, различать два случая. Если она выделяется ударением противопоставления и интонационно маркирована, она действительно имеет дополнительный силовой компонент и/или увеличенный диапазон мелодического интервала. Например, *John* has left for Oxford (not Jack). Если же фразоначальная рема не маркирована, как, например, в вышеуказанных примерах из английской художественной прозы (*Pyle* is coming at six — В шесть придет *Пайл*; *The telephone* rang at the end of the corridor — В конце коридора зазвонил *телефон*; *Three men* were inside — Внутри было три *человека*), то здесь нет эмфазы и нет дополнительного силового компонента (он примерно такой же, как в соответствующей фразоконечной реме *men* в предложении *Inside were three men*), нет и увеличенного диапазона нисходящего мелодического завершения по сравнению с диапазоном на фразоконечной реме.

Логическое ударение — один из наиболее обязательных показателей ремы. Интересно, что в английском языке даже при наличии лексических и синтаксических показателей ремы: неопределенного или нулевого артикля, ремовыделительных конструкций, слов с выделительно-ограничительным значением (*only*, *just*, *merely*), позиционных показателей ремы, слово — носитель ремы обязательно выделяется также и логическим ударением. Принцип замены и взаимной компенсации средств выражения А. М. Пешковского здесь не проявляется. Ср. следующие предложения, в которых наличие ремовыделительных конструкций или ремовыделительных слов не устраняет необходимости в интонационном выделении ремы (или ее ядра — при многословной реме) с помощью логического ударения: «There was *softness* in their voices» (S. Lewis, Arrowsmith); «And fast into the perilous gulf of night went *Bosinney*, and fast after him went *George*» (J. Galsworthy, The man of property); «Standing on the platform was *Leora*» (S. Lewis, Arrowsmith); «It was *Bosinney* who first noticed her» (J. Galsworthy, The man of property); «Only a *searchlight* went across the sky» (Gr. Greene, Quiet American); «Indulgent and *severe* was her look» (J. Galsworthy, The man of property).

В этой связи трудно согласиться с И. П. Распоповым, что при обратном порядке слов «предложения в помощи логического ударения, как пра-

<sup>30</sup> J. Piaget, Human speech, London, 1930.



вило, не нуждаются»<sup>31</sup>. Например, в предложении В городке царило необыкновенное оживление, по мнению И. П. Распопова, нет логического ударения, поскольку рема *необыкновенное оживление* здесь выражена позиционно (занимает конечное положение). На самом же деле логическое ударение здесь есть, им выделяется ядро ремы — слово *оживление*. На нем реализуется нисходящий терминальный тон, достигающий нижней границы диапазона фразы и создающий акустический эффект главноударности и рематичности, тогда как слова *городке, царило, необыкновенное* выделяются простым фразовым ударением и произносятся ровным тоном или с небольшим тональным понижением.

Интересно, что при коммуникативной разнонаправленности логического ударения и грамматических факторов логическое ударение берет верх в ремовыражении. Ср., например, подлежащее *the following facts* в предложении *The following facts should be mastered by the student* — Студент должен усвоить следующие факты. Произнесенное с логическим ударением на слове *facts*, подлежащее воспринимается как рема предложения, несмотря на наличие при существительном *facts* определенного артикля и на наличие в предложении ремовыделительной конструкции — предложного дополнения с *by*: *by the student*. В русском переводе рема *следующие факты* (вернее, ядро ремы — слово *факты*) тоже выделяется логическим ударением, несмотря на позиционный показатель ремы — ее фразоконечное положение.

Ср. также две пары фразоначальных дополнений: а) косвенное, б) прямое. В каждой паре в одном случае соответствующее дополнение выделяется логическим ударением и воспринимается как рема ( $a_1$  и  $b_1$ ), а в другом — выделяется простым фразовым ударением и воспринимается как тема ( $a_2$  и  $b_2$ ):  $a_1$  «... and the tiny thing prevailed... and so to his son he said goodbye» (J. Galsworthy, *The man of property*);  $a_2$  «He hurried her away... To her he said *nothing*» (J. Galsworthy, *The man of property*);  $b_1$  «A curious smile the fellow had, a half-simple arrangement...» (J. Galsworthy, *The man of property*);  $b_2$  «His vest he arranged in the *same place*, his old wet cracked hat he lay upon *the table*» (Th. Dreiser, *Sister Carrie*). Следовательно, «именно логическое ударение, а не порядок слов является основным средством выделения логического предиката (ремы. — В. Ш.) выражаемой в предложении мысли»<sup>32</sup>.

Единственным исключением из всех типов и видов предложений, в котором лексико-грамматический показатель ремы берет верх над интонационным показателем и в котором принцип «замены» имеет силу, является местоименное вопросительное предложение. В нем местоименное вопросительное слово (вопросительное местоимение или наречие местоименного типа: *где, когда, куда, кто; where, when, who*), являющееся единственным в своем роде комбинированным лексико-грамматическим показателем ремы, устраняет необходимость в ее интонационном выражении с помощью логического ударения. В таких предложениях тоническим ударением обычно выделяется не рема (вопросительное слово), а член предложения — носитель темы, т. е. выделяется не то, что спрашивается (это и так ясно), а то, относительно чего задается вопрос<sup>33</sup>. Ср. Где он *живет*? Кто *пришел*? Куда вы *идете*? Where does he live? Who has *arrived*? Where are you *going*?, где главноударными являются соответственно слова *живет, пришел, идете: live, arrived, going*. Именно слово — носитель темы произносится,

<sup>31</sup> См.: И. П. Распопов, *Строение простого предложения в современном русском языке*, М., 1970, стр. 160.

<sup>32</sup> В. З. Панфилов, *Взаимоотношение языка и мышления*, М., 1971, стр. 133.

<sup>33</sup> О составе ремы и темы в вопросительном предложении см.: В. Е. Шейко-ва, *Актуальное членение вопросительного предложения*.

как правило, с завершающим понижением тона (с тоническим ударением) и воспринимается на слух как главноударное. А местоименное вопросительное слово выделяется простым фразовым ударением (т. е. произносится ровным тоном или с небольшим повышением/понижением тона) и все же воспринимается как рема.

Даже если местоименное вопросительное слово вообще будет безударным (что бывает в тех случаях, когда какой-либо из членов местоименного вопросительного предложения выделяется эмфатическим ударением противопоставления — например, Я не спрашиваю, где он *работает*, меня интересует где он *живет?*), то и в этом случае оно воспринимается как рема вопроса, как потенциальная рема ожидаемого ответа (после наполнения ее определенным лексическим содержанием оно становится ремой ответа). В местоименном вопросительном предложении, какое бы слово не выделялось главным тоническим ударением, ответ на вопрос всегда будет ответом к реме. Ср. Где он *живет?* — В *Москве*. Где он *живет?* — В *Москве*. Где он *живет?* — В *Москве*. Where does he *live?* — In *Moscow*. Where does he *live?* — In *Moscow*. Where does he *live?* — In *Moscow*.

В то же время в целом ряде случаев местоименное вопросительное слово все же является главноударным (носителем тонического ударения): в однословных вопросах (*Где? Когда? Кто? Where? When? Who?*), в переспросах (*Что* вы сказали? *Куда* он пошел? *What* did you say? *Where* did he go?), при контрастивной эмфазе на этом слове (Я не спрашиваю, *зачем* он пошел. *Куда* он пошел?), в уточнительных вопросах (Он *пришел*. — *Кто* пришел? How's the *General?* — *What* General?).

В неместоименном же вопросительном предложении, как и в повествовательном предложении, носитель ремы выделяется логическим ударением, является интонационным центром фразы. Ответ дается именно на слово, выделенное логическим ударением. Ср. Он *живет в Москве?* — В *Москве*. Он *живет* в Москве? — *Живет*. Он *живет* в Москве? — Он. То же самое наблюдается и в английском языке, где носитель ремы неместоименного вопросительного предложения распознается по логическому ударению<sup>34</sup>.

Следовательно, факультативная разобщенность ремы и логического ударения в одной лишь разновидности вопросительного предложения не может служить основанием для игнорирования основной закономерности, выступающей безусловно четко в предложениях повествовательных и общевопросительных. К тому же авторы, не признающие существования логического ударения в неэмфатической речи (а также при многословной реме), строят свою аргументацию на материале только повествовательных предложений.

Подводя итог, можно констатировать, что логическое (рематическое) ударение — это особая разновидность фразового ударения. Поэтому его, с одной стороны, нельзя противопоставить фразовому ударению, но в то же время его нужно отличать от простого фразового ударения из-за различий как по акустическим параметрам, так и по функции. Эмфатическим же может быть любой тип ударения — как рематическое (логическое), так и тематическое (простое фразовое).

<sup>34</sup> Интересным исключением является случай — глагольное сказуемое с дополнением (или обстоятельством места). Например: Have you read the book? Did you live in Oxford? Здесь носитель ремы — глагол-сказуемое выделяется логическим ударением (Have you *read* the book? Did you *live* in Oxford?) только в одном случае, если под вопрос ставится не факт совершения действия, а характер действия (т. е. Читали вы книгу *полностью* или *только бегло* ее просмотрели? Жили в Оксфорде *постоянно* или *были там временно?*). Если же под вопрос ставится факт совершения действия вообще, без всякого сопоставления, то логическим ударением выделяется не глагол-сказуемое, а дополнение к нему (Have you read the *book?* Did you live in *Oxford?*).

МУРЯСОВ Р. З.

# О НАПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДНОСТИ И ТОЖДЕСТВЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ МОРФЕМ

Одним из теоретических понятий словообразования является понятие отношений производности<sup>1</sup>. Линейные типы производных, в отличие от нелинейных, характеризуются относительной прозрачностью словообразовательной структуры, что находит свое отражение в возможности выделения производящей основы или базы и словообразовательного форманта, дериватора. Часто морфонологическое взаимоприспособление компонентов производного слова идет не механическим способом, т. е. путем простого присоединения словообразовательного аффикса к непроединной или первичной основе, а сопровождается морфонологической модификацией как внутренней фонематической структуры первичной основы, так и ее исхода, образующего стык с аффиксом, что приводит в конечном счете к полному или частичному затемнению четкости структурных отношений внутри производного.

Семантика производного, возникающая в результате интеграции минимум двух значимых единиц, не всегда может быть декодирована только на основе значений его составляющих. Это свойство производного слова метко схвачено Л. В. Щербой, который писал, что сложения смыслов дают не сумму смыслов, а новые смыслы<sup>2</sup>. Семантический аспект установления производности значительно сложнее, чем структурный. Здесь приходится иметь дело со всевозможными сдвигами в семантической структуре производного и нередко необходимо учитывать также соотношение прямых и фигуральных значений у разных элементов того или иного словообразовательного ряда или так называемого «промежуточного звена»<sup>3</sup>.

Формальная и семантическая выводимость непосредственно составляющих производного слова не означает, что всегда удастся однозначно установить направление производности.

В данной статье будут рассмотрены вопросы категориального варьирования производящих основ и связанное с этим варьирование словообразовательных элементов, в нашем случае суффиксов. В исследованиях последних лет внимание советских лингвистов привлекло такое весьма своеобразное явление, как множественность структуры производных слов, или многоструктурность слова<sup>4</sup>. Под многоструктурностью слова понимается возможность его формального и смыслового соотношения с более чем одной производящей основой при стабильной семантической структуре этого слова. Значение (или значения) производных не зависит от то-

<sup>1</sup> Е. С. Кубрякова, Словообразование и его связи с другими лингвистическими дисциплинами, сб. «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания», М., 1974.

<sup>2</sup> Л. В. Щерба, О тpояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, ИАН ОЛЯ, 1931, 1, стр. 68.

<sup>3</sup> Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1974, стр. 134 и сл.

<sup>4</sup> А. Н. Тихонов, Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря, Самарканд, 1971, стр. 312.

го или иного характера производящих основ и может быть мотивировано значением любого из соотносительных слов. Так, немецкое существительное *Spaßerei* можно соотнести в структурном и семантическом планах с тремя словами *Spaß*, *spaßen* и *Spaßer*, ср. еще: *Streit*, *streiten*, *Streiter* → → *Streiterei*; *Bäcker*, *backen* → *Bäckerei*.

При установлении семантических связей можно выявить разную степень семантической близости производящих основ к производным. Например, производное *Sattlerei* «шорная мастерская» формально и семантически соотносимо с тремя словами: *Sattel* «седло», *Sattler* «шорник» и *satteln* «(о)седлать». Первые два слова из этого ряда обнаруживают с производным *Sattlerei* достаточно четкую семантическую связь, в то время как *satteln* в силу своей субъектно-объектной характеристики не может выступать в качестве производящей основы производного *Sattlerei*, так как *Sattlerei* — это место, где изготавливаются седла (шорная мастерская), а не место, где седлают лошадей. Таким образом, субъектно-объектная характеристика глагола оказывается решающим фактором при определении направления производности.

Категориальное варьирование производящих основ в словообразовательной структуре слова, т. е. многоструктурность слова, обусловлено неполным совпадением семантического и структурного, или формального, отношений между родственными словами. Даже морфонологическая общность, служащая обычно как дополнительная примета структурной близости, может находиться на противоположном полюсе по отношению к смысловым связям между двумя основами, ср.: *Schäfererei* «овчария» мотивировано существительным *Schaf* «овца», а не более близким по своему внешнему облику существительным *Schäfer* «пастух», поскольку *Schäfererei* — это место нахождения овец, а не пастуха. *Schäfer* имеет два дополнительных признака формальной близости с *Schäfererei*: суффикс *-er*, образующий общий сегмент для двух производных, и морфонологическую примету — умлаут, свойственную также двум основам. Формальную и семантическую близость этого ряда можно изобразить следующим образом: семантическая производность — *Schäfererei* ← *Schaf*, формальная производность — *Schäfererei* ← *Schäfer* ← *Schaf*.

Прямое отношение к вопросу о направлении производности имеет проблема идентификации суффиксальных морфем и установление вариантов суффиксов, так как в зависимости от того, какую основу мы будем считать производящей, глагольную или именную, и если именную, то какую из них — корневую или deverбативную производную, будет меняться облик суффикса. При глагольной производящей основе в качестве суффикса выделяется, например, *-erei*, при субстантивной производящей основе с суффиксом *-er* в качестве суффикса выступает *-ei*, ср.: *lesen* — *Leserei*, *Leser* — *Leserei*.

Проблема вариантности словообразовательных морфем не нашла в лингвистической литературе однозначного решения. Применительно к словообразовательным аффиксам возможны три подхода в толковании вариантности. Во-первых, термин «вариант» употребляется как синоним термина «алломорф», если варьирование фонематического облика суффикса обусловлено его фонетической позицией в составе слова, например, *-heit* и *-keit*. Во-вторых, вариантами того или иного аффикса называют его модификации, обладающие общим для всех членов данного ряда морфом, ср.: *-er*, *-ler*, *-ner*, *-aner* и т. д. В-третьих, вариант понимается как функциональная единица и наличие физического тождества аффиксов является необязательным условием.

Общим для всех трех видов вариативности аффиксальных морфем является то, что варьирование характерно только для плана выражения

при наличии инварианта в плане содержания. Однако первые два случая, в отличие от третьего, обладают не только функциональным инвариантом, но и сохранением инварианта в плане выражения.

Первый случай варьирования морфем встречается в словообразовании редко (ср., например, *-heit* и *-keit*, находящиеся, как правило, в отношении дополнительной дистрибуции). В то же время *-heit* и *-igkeit* не могут быть названы алломорфами в строгом терминологическом смысле, так как их выбор не является фонетически детерминированным и в целом ряде случаев они могут присоединяться к одной и той же основе<sup>5</sup>.

Варьирование второго типа охватывает большое число аффиксов. Расширение суффиксов имеет в современном немецком языке многочисленные разновидности, и различия между ними настолько велики, что вряд ли все случаи варьирования можно свести к одной морфеме. Некоторые суффиксы представлены десятками вариантов, например: *-er*, *-ler*, *-ner*, *-ser*, *-aner*, *-dier*, *-ener*, *-iger*, *-eser*, *-iker*, *-iner*, *-iter*, *-arier*, *-aster*, *-enser*, *-ianer*, *-atiker*, *-etiker*, *-genser*, *-ienser*, *-itaner*, *-azenser* (*Lehrer*, *Tischler*, *Zöllner*, *Landser*, *Haitianer*, *Calembourcier*, *Hondurener*, *Capreser*, *Beichtiger*, *Chemiker*, *Moskowiter*, *Parlamentarier*, *Poetaster*, *Senenser*, *Hegelianer*, *Epigrammatiker*, *Theoretiker*, *Albigenser*, *Athenienser*, *Kluniazenser*, *Neapolitaner*). Ср. также: *-isch*, *-tisch*, *-alisch*, *-anisch*, *-arisch*, *-atisch*, *-enisch*, *-erisch*, *-esisch*, *-orisch*, *-astisch*, *-istisch*, *-atorisch* и некоторые другие ряды суффиксов. Наличие во всех членах ряда общего морфа не позволяет отнести их безоговорочно к самостоятельным суффиксам и тем самым поставить их в один ряд с суффиксами, не имеющими ничего общего в формальном плане. Таким образом возникает вопрос, какие морфы можно назвать самостоятельными суффиксами, какие — алломорфами одной суффиксальной морфемы. Решение этого вопроса непосредственно связано с определением понятия «позиция» в морфологии. Как известно, схема «фон — фонема» дескриптивистами была экстраполирована из фонологии на морфологический уровень лингвистического анализа. Процедура фонологического анализа не может служить таким же эффективным приемом анализа в морфемике, так как между этими двумя уровнями существует качественная разница: фонема — единица одноплановая, морфема же — «кратчайшая структурно-смысловая»<sup>6</sup>, т. е. двусторонняя единица. Отличие низших уровней<sup>7</sup> от высших заключается в том, что, как указывает Э. А. Макаев, «по направлению от низших единиц к высшим... возрастает количество конститутивных единиц уровня, увеличивается архитектурная сложность данных единиц...»<sup>7</sup>. Сказанное, однако, не означает, что невозможно выявить однотипные отношения, свойственные разным уровням языка, т. е. определенный изоморфизм уровней. Представляется, что одним из таких однотипных отношений являются отношения вариантности и инвариантности.

Понятие позиции, являющееся основополагающим понятием дескриптивной фонологии, применительно к морфологии вообще и к словообразованию в частности, нуждается в существенном уточнении. В первоначальном понимании оно теряет свою лингвистическую ценность, поскольку роль фонетической позиции при идентификации деривационных морфем ничтожна. Разумеется, простые и расширенные варианты суффик-

<sup>5</sup> Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, О вариативности морфем, «Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов в честь профессора М. Д. Степановой», М., 1975.

<sup>6</sup> В. Н. Ярцева, Историческая морфология английского языка, М.—Л., 1960, стр. 7.

<sup>7</sup> Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5, стр. 49.

сов отличаются друг от друга лексической дистрибуцией, лексической позицией. Введение понятия «лексическая позиция» в словопроизводство в сущности делает понятие позиции бессодержательным, ибо, как справедливо отмечает Е. А. Земская, «лексическая позиция» — нечто индивидуальное, нетипизированное и она характеризуется отсутствием обобщающего характера»<sup>8</sup>. Е. А. Земская полагает, что для установления вариантов одной и той же морфемы необходимо ввести понятие грамматической позиции. Так, позиционные различия между морфами наречного суффикса *-и/-о* заключаются в том, что морф *-и* встречается при основах прилагательных, образованных от основ одушевленных существительных с помощью суффикса *-ск-*, а морф *-о* выступает после основ прилагательных непроеизводных или прилагательных с другими суффиксами<sup>9</sup>. Выявление категориальных и лексико-грамматических характеристик производящих основ сводится в конечном счете к анализу «внутренней валентности» производных<sup>10</sup>. Изучение «внутренней валентности» компонентов производных может привести к установлению тех или иных фонетических, категориальных, лексико-категориальных и лексических ограничений, налагаемых на сочетаемость аффиксов с производящими основами. В таком случае позиция деривационной морфемы будет определяться набором фонетических, категориальных (на уровне части речи), структурных и лексико-категориальных или лексико-грамматических признаков. При этом даже путем привлечения указанных комплексных признаков нам не всегда удастся определить точно позиции аффиксов, так как те или иные ограничения, налагаемые на сочетаемость суффиксов, будут носить не абсолютный, а вероятностный характер. Проиллюстрируем данное положение на примере ряда *-er*, *-ler*, *-ner* и т. д. Морф *-er* имеет пять категориальных валентностей: 1) глагол + *-er* (*Leser*), 2) существительное + *-er* (*Eisenbahner*), 3) числительное + *-er* (*Fünfer*), 4) прилагательное + *-er* (*Gläubiger*), 5) наречие + *-er* (*Barfüßer*). Морф *-ler* характеризуется одной категориальной валентностью: существительное + *-ler* (*Intelligenzler*). Девербативные *Abweichler*, *Versöhnler* относятся к исключениям. Морф *-ner*, как правило, сочетается с субстантивными основами: *Pförtner*. Как видно из валентных характеристик указанных алломорфов, в позиционном отношении они не образуют однозначных оппозиций с точки зрения дистрибуции, так как с субстантивными основами сочетаются все морфы, а морф *-er* сочетается со всеми основами. Однако на уровне категориальной валентности происходит предварительная «сортировка» позиций морфов: *-er* не знает категориальных позиционных ограничений в отличие от других морфов, не сочетающихся с глагольными основами. Именно поэтому представляется возможным говорить лишь о вероятностном определении позиций словообразовательных морфов.

В связи с тем, что термин «алломорф» в его строгом смысле в словообразовании не всегда применим, следовало бы говорить о позиционных вариантах, имея в виду алломорфы суффиксальных морфов, и о непозиционных вариантах. Позиционными будем называть такие варианты, которые обусловлены фонетической, категориальной, структурной (т. е. позицией другой морфемы) и лексико-грамматической (т. е. на уровне лексико-грамматических или структурно-семантических разрядов внутри части речи, например: одушевленность, абстрактность, собирательность и т. п.) позициями. Одни варианты могут быть обусловлены только одной из указанных позиций, другие — комбинацией нескольких или всех видов позиций.

<sup>8</sup> Е. А. Земская, О понятии «позиция» в словообразовании, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1975, стр. 17.

<sup>9</sup> Там же, стр. 16.

<sup>10</sup> М. Д. Степанова, Методы синхронного анализа лексики, М., 1968.

Непозиционными называем варианты, которые не могут быть объяснены ни одной из вышеназванных позиций, но обладают общим с позиционными вариантами инвариантом в плане выражения. Следует также говорить о простых и расширенных, или сложных, вариантах, подчеркивая тем самым наличие у них инварианта в двух планах.

Расширение суффиксов может быть обусловлено по-разному. Основной причиной возникновения расширенных, или сложных, вариантов является действие закона аналогии. Интересно отметить, что обилие вариантов характерно не для любых аффиксов, а для суффиксов. Удельный вес варьирования в префиксации незначителен. Основные морфонологические изменения основ вызываются суффиксами. Нарращение суффиксов идет за счет исхода корня или других нессуффиксальных с точки зрения современного языка элементов, ср.: *-er*, *-ler*, *-ner* и т. п. С другой стороны, возникновение сложных суффиксов объясняется так называемым «чересступенчатым» словообразованием. Импульсом для такого словообразования служат слова, обладающие по меньшей мере двумя деривационными шагами, репрезентируемыми соответственно двумя суффиксами (см. об этом работы Н. А. Янко-Триницкой, И. С. Улуханова и др.). В немецком языке чересступенчатое словообразование в основном характерно для суффиксации. Дело в том, что словообразование частей речи носит в линейном плане неконцентрический характер, т. е. количество присоединяемых к непроизводным основам префиксов и суффиксов неодинаково. Обычно к корневой основе может быть присоединен один префикс. Между тем к одной непроизводной основе может быть добавлено до трех суффиксов, ср.: *Beweg-ung-s-los-igkeit*, *Ein-heit-lich-keit*, *Nation-al-isier-ung*. Обилие суффиксальных шагов и высокая продуктивность двойной суффиксации в словообразовании создают основу для продуктивности разного рода аналогических процессов. При чересступенчатом образовании слов один деривационный шаг осуществляется двумя суффиксами. Многие расширенные варианты возникли в свое время как соединение двух самостоятельных суффиксов, например: *-ler*, *-ling*, *-igkeit*; *-ik*, *-alik*, *-atik*, *-orik*, *-istik*, *-atorik* (*Synthetik*, *Theatralik*, *Problematik*, *Kulturistik*, *Kombinatorik*), *-ist*, *-alist* (*Sozialist*, *Dokumentalist*); *-är*, *-ionär* (*Legion-är*, *Milizionär*).

Расширение суффиксов в отдельных случаях приводит к возникновению «суффиксов-гигантов», превосходящих по своим размерам производящие основы, ср.: *-ismus*, *-asmus*, *-nismus*, *-alismus*, *-anismus*, *-ianismus*, *-atianismus* (*Sozialismus*, *Enthusiasmus*, *Cäcilianismus*, *Existenzialismus*, *Kartesianismus*, *Kreatianismus*). Особенно громоздкие суффиксы возникают при соединении так называемых «тяжелых» суффиксов, ср.: *-heit*, *-keit*, *-igkeit*, *-barkeit*, *-lichkeit* (*Mensch-heit*, *Düster-keit*, *Hilflos-igkeit*, *Lust-barkeit*, *Geschick-lichkeit*; *Fremd-tümelei*; *landes-tümlich*, *kinder-tümlich*). Чересступенчатое словообразование может быть также обусловлено внеязыковыми факторами. Образцом такой зависимости от социальных факторов служат некоторые производные со сложными суффиксами *-erin*, *-istin*, обозначающие только лиц женского пола по тем или иным специфическим видам деятельности и физиологическим свойствам: *Gebärerin*, *Kinderbetterin*, *Sopranistin*. Эти существительные образованы по аналогии с *Lehrer* — *Lehrerin*, *Kommunist* — *Kommunistin*, но, в отличие от последних, они не соотносимы с существительными с суффиксами *-er* и *-ist*, поскольку их лексическая семантика исключает мужчин в качестве носителей признаков, выраженных производящей основой. Расширенный вариант *-erin* был продуктивен вплоть до XX в. С его помощью образовывались существительные женского рода, обозначающие носителей отдельных, «женских» профессий. Однако в современном немецком языке список этих существительных за-

метно сокращается и в силу этого наблюдается противоположный общей тенденции словообразовательный процесс, а именно: форма мужского рода образуется от формы женского рода. Так, существительное *Blumenverkäuferin* «цветочница», *Kindergärtnerin* «воспитательница (детского сада)», *Näherin* «швея» и т. д., зафиксированные ранее только в форме женского рода, появляются в некоторых последних словарях также в форме мужского рода.

Наличие большого количества расширенных вариантов суффиксов обусловлено также в значительной степени взаимодействием немецких и иноязычных словообразовательных подсистем. Иноязычная лексика находится под постоянным индуцирующим влиянием немецкой словообразовательной системы. Многие немецкие суффиксы достаточно легко сочетаются с иноязычными основами и тем самым ускоряют процесс их ассимиляции, между тем как иноязычные суффиксы сочетаются с немецкими основами редко (как мы отмечали выше, большинство вариантов суффикса *-er*, например, содержат наращения иноязычного происхождения).

При синхронном рассмотрении словообразовательной системы может иметь место формальное, внешнее совпадение явлений, находящихся на противоположных полюсах словообразовательной динамики. С одной стороны, высокопродуктивные, как правило, собственно немецкие модели, взаимодействуя друг с другом, производят слова, минуя, «перешагивая» те или иные словообразовательные такты; с другой стороны, прямая, непосредственная связь между членами одного гнезда может исчезнуть вследствие выпадения члена, непосредственно мотивировавшего то или иное производное. В таких случаях производное семантически и структурно начинает ассоциироваться, соотноситься со словом, служившим когда-то максимальным мотиватором исчезнувшего слова. Последний случай отличается от первого тем, что он представляет собой следствие действия закономерности, совершенно противоположной первому, а именно: результат постепенного разрушения тех или иных звеньев словообразовательного гнезда. Особое место занимают в этом отношении иноязычные производные, так как в одних случаях немецкий язык заимствует серию однокоренных производных, т. е. словообразовательное гнездо, а в других — лишь отдельные звенья, т. е. фрагмент словообразовательного гнезда. Так, современный немецкий язык заимствовал ряд однокоренных слов из английского языка *das Camp*, *das Camping*, *der Camper*, *campen*. В заимствованном ряду *Trainer*, *Training* отсутствует английский глагол *to train*, поэтому *Trainer* и *Training* будут рассматриваться как взаимно мотивирующие основы.

Качественно иную интерпретацию получают понятия варианта и инварианта на уровне морфемного анализа при функциональном подходе. При функциональном подходе к морфеме в качестве членов одной морфемы могут рассматриваться физически нетождественные морфы, обладающие некоторым семантическим инвариантом. Здесь в полной мере раскрывается неоднотипность понятий вариантов и инвариантов в фонологии и морфологии. Значимые, т. е. двусторонние знаки допускают иерархию семантических признаков, обладающих разной степенью обобщения.

Стремление лингвистов к обобщению языковых явлений приводит к конструированию инвариантов разных уровней абстракции. По мере повышения степени обобщенности моделей усиливаются центробежные тенденции между планом выражения и планом содержания, что с неизбежностью приводит к абсолютизации одного из этих планов, так как язык не располагает соответствующей каждому функциональному семантическому инварианту единицей плана выражения. Такая асимметрия между двумя планами в конечном счете делает невозможным конструирование



двусторонних инвариантных единиц высокой степени обобщения. Так, уже на уровне морфемы лингвист сталкивается с трудностями, обусловленными отсутствием однозначного параллелизма между ее двумя сторонами. В. М. Солнцев видит выход из этого положения в том, что термин «морфема» следует использовать как общее обозначение. План выражения он предлагает называть сонемой или номемой, а план содержания семемой<sup>11</sup>.

Перенос функционального принципа лингвистического анализа на словообразование также привел к расширению понятия варианта. К. Тогбю относит, например, во французском языке в класс вариантов одной морфемы все суффиксы прилагательных, присоединяемых к топонимическим названиям<sup>12</sup>. Сам по себе факт существования функциональных инвариантов бесспорен. Как это ни парадоксально, при избыточности терминов в современном языкознании ощущается острая нехватка в устойчивых терминах, что приводит к бесконечному переосмыслению стабильных традиционных терминов. Функциональный подход к двусторонним единицам по мере возрастания степени обобщения инвариантов все чаще и чаще нуждается в терминах, выходящих за пределы аллоэмического уровня. Но следует ли из этого, что для обозначения какого-либо категориального семантического признака мы должны использовать устоявшиеся фундаментальные термины лингвистики, закрепленные за единицами с более или менее четким содержанием? Ответ на этот вопрос, по-видимому, должен быть отрицательным. Так, использование термина «алломорф» как для физически сходных, так и гетерогенных морфов лишает его внутреннего содержания и делает его понимание зависимым от теоретической концепции исследователя. Морф, морфема — это минимальная форма, наделенная определенной семантикой.

Представляется, что для обозначения какого-либо категориального признака в морфологии и в словообразовании можно ввести понятие маркера<sup>13</sup>, который может выступать как в виде алломорфов, так и в виде фонетически нетождественных морфов, т. е. самостоятельных морфем. Так, совокупность суффиксов лица (деяателя) можно было бы назвать деривационным маркером лица или ряд суффиксов множественного числа существительных в современном немецком языке (*-e*, *-en*, *-er*, *-s*,) маркером плуральности.

В заключение отметим, что, не отрицая возможность и необходимость создания новых терминов, следует одновременно иметь в виду, что чрезмерное увлечение конструированием бесконечных «гиперэмических» единиц, как указывает О. С. Ахманова, может привести к истощению самой абстракции<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 238.

<sup>12</sup> К. Тогбю, Structure immanente de la langue française, Copenhague, 1951, стр. 236.

<sup>13</sup> О понятии «маркер» в грамматике см.: М. М. Гухман, Грамматические исследования и структура парадигм, сб. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, стр. 126.

<sup>14</sup> О. С. Ахманова, Ленинская теория познания и лингвистическая абстракция, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 151.

ГУНАЕВ З. С.

# О ВЫРАЖЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ<sup>1</sup>

В лингвистической науке почти не исследован вопрос о воздействии на развитие грамматики такого экстралингвистического фактора, как природная, географическая среда. Между тем, представляется весьма интересным выявить факты влияния особенностей природной среды на формирование отдельных элементов грамматической системы какого-либо конкретного языка. Данное сообщение и является попыткой описать любопытные следы такого влияния, которые могут быть обнаружены в некоторых дагестанских языках.

Речь в данном случае идет о своеобразии категориальных значений, присущих некоторым частям речи указанных языков и возникших, как нам представляется, в результате длительного процесса восприятия и абстрагирования носителями этих языков фактов окружающего мира, а именно географической среды, характерной для горного Дагестана.

Известно, что разным языкам присуща категория указательных местоимений, выражающих различные степени удаленности. Наиболее простой, естественно, является двучленная система указательных местоимений, которая характерна, например, для русского языка. В других языках можно встретить более дифференцированные системы противопоставлений по указанию на пространственную ориентацию (прежде всего — трехчленную).

Довольно сложные и своеобразные системы указательных местоимений мы находим в некоторых дагестанских языках. Их своеобразие заключается в том, что соответствующие лексемы в них противопоставляются по степени удаленности более дифференцированно: они выражают пространственную ориентацию относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Так, в пятичленной системе указательных местоимений лакского языка можно выделить группу местоимений, указывающих на степень удаленности предметов (лиц), расположенных как бы на горизонтальной поверхности относительно уровня места нахождения говорящего: *га* «этот» (в сфере говорящего), *му* «тот» (в сфере собеседника, уровень расположения которого обычно совпадает с уровнем места нахождения говорящего), *та* «тот» (вне сферы как говорящего, так и собеседника, но на приблизительно одинаковом с ними уровне места нахождения).

Для выражения пространственной ориентации по вертикали существует другая группа, в которую входят местоимения, различающиеся по уровню места расположения указанного предмета или лица по отношению к уровню места нахождения говорящего:

[ *κIa* «тот» (выше уровня места нахождения говорящего)  
*га* «этот» — *та* «тот» (на одном уровне с местом нахождения говорящего)  
[ *га* «тот» (ниже уровня места нахождения говорящего) ]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее о системе указательных местоимений в лакском языке см., в частности: Л. И. Ж и р к о в, Лакский язык. Фонетика и морфология, М., 1955; Г. Б. М у р к е л и н с к и й, Грамматика лакского языка. Фонетика и морфология, Махачкала, 1971.

Как видно из примеров, каждая степень удаленности по трем уровням маркируется специальным показателем, присоединенным к местоименному корню *-а*, выражающему общее указание на степень удаленности от говорящего: *т-* подчеркивает удаленность по горизонтали, *кI-* — удаленность предмета и его позицию выше говорящего, *г-* — удаленность предмета, находящегося к тому же ниже уровня места нахождения говорящего. Поэтому *т-*, *кI-*, *г-* можно считать грамматическими морфемами, входящими в состав соответствующих словоформ *та*, *кIа*, *га*, которые путем противопоставления форме *ва* «этот» образуют три бинарные оппозиции: *ва* — *та*, *ва* — *кIа*, *ва* — *га*. Те же самые морфемы входят также в состав соответствующих форм множественного числа этих местоимений:

┌ *кIай* «те» (выше уровня места нахождения говорящего)  
*вай* «эти» — *тай* «те» (на уровне места нахождения говорящего)  
└ *гай* «те» (ниже уровня места нахождения говорящего).

Подобная картина наблюдается в лакском языке и в области личных местоимений 3-го лица, которые этимологически связаны с указательными местоимениями, чем, очевидно, и объясняется их полная омонимичность последним. Но в отличие от указательных местоимений, они противопоставляются личному местоимению 1-го лица и образуют с ним следующие бинарные оппозиции:

Ед. число	Мн. число
┌ <i>кIа</i> «он» на «я» — <i>та</i> «он» └ <i>га</i> «он»	┌ <i>кIай</i> «они» <i>жу</i> «мы» — <i>тай</i> «они» └ <i>гай</i> «они».

Морфемы, указывающие на пространственную ориентацию по трем уровням, пронизывают и всю сложную систему склонения этих местоимений. Для иллюстрации даем некоторые из их падежных форм:

Им.	<i>та</i> , <i>кIа</i> , <i>га</i> «он»
Род.	<i>танал</i> , <i>кIанал</i> , <i>ганал</i> «его»
Дат.	<i>танан</i> , <i>кIанан</i> , <i>ганан</i> «ему»
Отд.	<i>танаца</i> , <i>кIанаца</i> , <i>ганаца</i> «от него»
Соед.	<i>танацал</i> , <i>кIанацал</i> , <i>ганацал</i> «с ним»
Покоя	<i>таначIа</i> , <i>кIаначIа</i> , <i>ганачIа</i> «у него»
Исх.	<i>таначIату</i> , <i>кIаначIату</i> , <i>ганачIату</i> «от него»
Сбл.	<i>таначIан</i> , <i>кIаначIан</i> , <i>ганачIан</i> «к нему»
Заст.	<i>танахлу</i> , <i>кIанахлу</i> , <i>ганахлу</i> «за него».

Показатели пространственной ориентации можно обнаружить и у качественно-указательных местоимений: *таксса*, *кIаксса*, *гаксса* «столько, сколько тот». Дифференцированными признаками, конституирующими грамматические значения пространственной отнесенности в них, являются бинарные оппозиции между ними и местоимением *ваксса* «столько, сколько этот»: *ваксса* — *таксса*, *ваксса* — *кIаксса*, *ваксса* — *гаксса*.

Примечательно, что типы указания пространственной ориентации по трем уровням в лакском языке не ограничиваются сферой местоимений, а распространяются и на другие, однокоренные с ними части речи. Видимо, изменения в области местоимений коснулись и других элементов грамматической системы, в частности некоторых наречий и прилагательных. Например, для передачи значения русского наречия «там» используется

одна из следующих форм соответствующего лакского наречия, обладающих дифференцированными обобщенными грамматическими значениями: *тижку* «там» (на уровне места нахождения говорящего), *к/лижку* «там» (выше уровня места нахождения говорящего), *гикку* «там» (ниже уровня места нахождения говорящего).

Маркировка по уровням присутствует и в ряде других наречий места: *тижкун*, *к/лижкун*, *гикжун* «туда»; *тичча*, *к/личча*, *гичча* «оттуда» и т. д.

Подобным же образом маркированы местоименные прилагательные, которые также обнаруживают дифференцированную пространственную ориентацию: *тукунсса*, *к/лукунсса*, *гукунсса* «такой, как тот».

Как видно из примеров, противопоставления по признаку пространственного положения, характерные для форм местоимений, закономерно выражаются также в формах некоторых наречий и прилагательных. В основе всех этих противопоставлений лежит единое категориальное значение пространственной относительности, которое мыслится как родовое по отношению к частным дифференцированным значениям сочленов групп. Они указывают не только на удаленность предмета или лица (более детальное расстояние), но и его положение относительно уровня места нахождения говорящего. Это обстоятельство также свидетельствует о системном характере грамматических абстракций, в основе которых лежат одни и те же отношения внеязыковой действительности.

Следует отметить, что наличие в лакском языке описанных грамматических форм, обладающих дифференцированными значениями пространственной относительности, является не случайным, а служит осуществлению определенных коммуникативных задач. Об этом свидетельствует тот факт, что у говорящих на лакском языке всегда присутствует мотивация употребления данных форм, благодаря чему и достигается большая эксплицированность при осуществлении языковой коммуникации. Например, указывая на селение на склоне противоположной горы, лакец безошибочно употребит одно из следующих словосочетаний, в зависимости от уровня расположения селения: *та шаравялу* «то селение» (расположенное примерно на одном уровне с селением, где находится говорящий), *к/ла шаравялу* «то селение» (расположенное наверху, например, у вершины противоположной горы), *га шаравялу* «то селение» (расположенное внизу, например, в долине протекающей между горами реки).

Примером того же порядка является мотивированное употребление наречия в соответствующей форме в следующих предложениях, требующих учета уровня расположения предмета по отношению к уровню нахождения говорящего: *Лу тижку ххалба* «Поищи книгу там» (например, на средней полке книжного шкафа); *Лу к/лижку ххалба* «Поищи книгу там» (на одной из верхних полок); *Лу гикку ххалба* «Поищи книгу там» (на одной из нижних полок).

В свете приведенных фактов и соображений представляется возможным предположить, что основным фактором, оказавшим воздействие на развитие рассмотренных выше средств выражения пространственных отношений в лакском языке, явились специфические реальные условия жизни носителей этого языка, а именно разбросанность населенных пунктов по склонам крутых гор и террасообразное расположение домов в аулах. Постоянное зрительное восприятие такой географической среды способствовало развитию грамматической абстракции в плане дифференцированности пространственной ориентации и появлению соответствующих категориальных форм.

Такое предположение находится в полном соответствии с известным общелингвистическим положением о воздействии внеязыковых факторов на структуру языка.

Наше предположение подтверждается также тем фактом, что аналогичные формы выражения пространственной ориентации имеются в арсенале языковых средств не только лакцев, но и других народностей Дагестана, например, агульцев и даргинцев, которые живут в примерно одинаковых с ними природных условиях. Разумеется, появление таких форм могло произойти в результате развития этих народностей и их языков в указанных условиях на сравнительно продолжительном этапе их ранней истории.

На основе сказанного можно сделать и общий вывод о том, что природная среда, особенно в ранний период развития языка могла играть определенную роль не только в развитии лексики, но и отдельных элементов грамматического строя.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

**«Хинди-русский словарь».** В двух томах. Сост. А. С. Бархударов, В. М. Бескровный, Г. А. Зограф, В. П. Липеровский. Под ред. В. М. Бескровного. — М., изд-во «Советская энциклопедия», 1972, т. I, 907 стр., т. II, 912 стр.

За последние годы Институтом востоковедения АН СССР подготовлен ряд больших переводных словарей (например, японско-, персидско- и корейско-русский словари), явившихся значительным вкладом в изучение лексики и фразеологии языков зарубежного Востока. К числу этих словарей принадлежит и двухтомный хинди-русский словарь. Выход в свет этого словаря — немаловажное событие в советской индологии, свидетельствующее об определенных достижениях ее лексикографического направления.

Словарь содержит около 75 тыс. слов современного языка хинди — государственного и наиболее распространенного языка Республики Индия, включая культурно-бытовую, общественно-политическую лексику и широко употребительную научно-техническую терминологию, и предназначается для переводчиков, преподавателей и студентов востоковедных вузов, научных работников, а также может быть использован индийским читателем при изучении русского языка в Индии.

Составители приложили большие усилия к тому, чтобы в словаре была наиболее полно представлена лексика современного хинди, в том числе и неологизмы, часто встречающиеся в прессе, общественно-политической, научной и художественной литературе. Лексический и фразеологический материал словаря черпался в основном из двуязычных и толковых словарей хинди, а также пополнялся и проверялся в результате росписи произведений крупнейших современных писателей литературы на хинди (Премчанда, Джайшанкара Прасада, Яшпала, Вриндаваллала Вармы, Кришны Чандра, Апха и др.), разнообразной общественно-политической, научной и научно-популярной литературы, прессы и учебников. В процессе составления словаря авторы

максимально использовали различные словари и разного рода лексикографические работы по языку хинди, изданные в разное время в СССР и Индии.

Впервые в практике составления хинди-русских словарей слова снабжены пометами, указывающими на их происхождение и источник заимствования. Полезным дополнением к словарю является приводимое в конце словаря приложение, включающее список географических названий, индийские названия месяцев и времен года, перечень основных мер и весов, а также список наиболее часто встречающихся в языке хинди сокращений.

Последние полтора-два десятилетия ознаменовались быстрым и весьма результативным развитием в Советском Союзе лексикографической работы в области индологии: уже издан ряд словарей по важнейшим языкам Индии, продолжают составляться и готовиться к изданию словари и по другим индийским языкам. В связи с этим авторы рецензии надеются, что позитивный анализ словаря и критические замечания в отношении недостатков, свойственных словарю, помогут более полному теоретическому осмыслению опыта словарной работы и будут способствовать дальнейшей активизации всей лексикографической работы не только по языку хинди, но также и по другим индийским языкам.

Рецензируемый хинди-русский словарь является продолжением той лексикографической работы по языку хинди, которая велась в Советском Союзе на протяжении многих лет. Результаты первого этапа этой работы были отражены в двух первых одностомных изданиях хинди-русского словаря<sup>1</sup>. Двухтомный словарь, несом-

<sup>1</sup> «Хинди-русский словарь», сост. В. М. Бескровный, под ред. акад.

ненно, представляет собой не только дальнейший этап количественного наращивания материала, но и вносит существенные качественные изменения в теорию и практику составления словарей по индийским языкам. По сравнению с предшествующими изданиями двухтомный хинди-русский словарь прежде всего отличается широтой и глубиной охвата лексики. Это фундаментальный труд, представляющий собой попытку более полно отразить словарный состав языка хинди второй половины XX в. в условиях, когда лексика хинди переживает процесс быстрого и всестороннего развития, когда еще не стабилизировались ее самые различные пласты и масса терминологических новообразований характеризуется нестабильностью употребления. Авторы стремились создать такой тип словаря, который бы находился на уровне современной лексикографии и удовлетворял потребностям читателя при чтении разнообразной литературы. Словарь сочетает в себе богато представленный лексический материал языка хинди с хорошо разработанной его лексико-грамматической характеристикой.

Весьма заметно превосходство рецензируемого словаря над ранее изданными однотомными хинди-русскими словарями в более полной и четкой разработке словарных статей. И хотя не все словарные статьи составлены на одинаково высоком лексикографическом уровне, в целом словарь отличается четкостью построения словарных статей, правильным определением круга значений слов, лаконичностью и точностью формулировок значений, хорошим языком переводов иллюстративных примеров, фразеологизмов и пояснений. В словарных статьях для подтверждения выделения тех или иных значений, а также для более полной характеристики особенностей функционирования отдельных слов в основном удачно подобраны примеры.

Большую помощь пользующимся словарем оказывает тщательно разработанная система грамматических и других специальных лексикографических помет, цифровая градация лексических и грамматических значений слов, омонимов. Порядок подачи лексических значений в словарных статьях, как правило, определяется частотностью их употребления с синхронной точки зрения. В подавляющем большинстве случаев отмечены неологизмы и новые важнейшие значения слов.

Разработка этимолого-морфологического анализа и указание источника заимствования как слов в целом, так и составляющих их компонентов в отдельности, выполненные весьма тщательно,

существенным образом отличают рецензируемый словарь от предшествующих изданий хинди-русского словаря, которые совершенно не содержали этимологической информации и тем более этимолого-морфологического анализа слов. Между тем для словарей языка хинди такая информация весьма необходима, поскольку она, вскрывая лексические пласты историко-культурного развития языка хинди и различные сохраняющие свою жизненную силу и играющие весьма заметную роль в современном языке хинди наслоения санскритского, арабского, персидского и иного происхождения, имеет прежде всего важное значение для общего представления о современном состоянии лексического состава языка и словообразовательных тенденциях в развитии лексики хинди, а также для определения функционально-стилистической совместимости слов. Этимолого-морфологический анализ лексики хинди, а также отдельные этимологические указания составляют весьма ценный научный материал, который может быть с успехом использован не только при практическом анализе слов, например, в процессе изучения языка хинди, но и в специальных лингвистических исследованиях. В связи с этим хотелось бы отметить, что разработка лексического материала языка хинди в этом аспекте представляет собой важный и весомый вклад в теорию и практику отечественной индологической лексикографии.

В рецензируемый хинди-русский словарь в целях лучшего понимания природы иноязычных заимствований и характера их фонетических изменений введено и другое новшество: заимствования из английского языка приводятся дополнительно в круглых скобках в оригинальном английском написании, а слова, заимствованные из арабского, персидского и других языков, транслитерируются с оригинала латинскими буквами. Это является существенным достоинством словаря, так как значительно облегчает понимание заимствованных слов, формы которых подверглись в хинди тем или иным изменениям.

В двухтомном хинди-русском словаре правомерно, как и в предшествующих однотомных изданиях словаря, при глагольно-именных сочетаниях и различных образованных на основе глаголов устойчивых словосочетаниях даются послелоги, представляющие суть глагольного управления в языке хинди. Это не только помогает различать значения и структурно-грамматический характер глагольно-именных образований, но и служит целям практического освоения употребления послелогов в различных синтаксических конструкциях.

По сравнению с предшествующими изданиями хинди-русского словаря словник рецензируемого двухтомного словаря

А. П. Баранникова, 1-е изд., около 35 000 слов, М., 1953; 2-е изд., испр. и доп., около 40 000 слов, М., 1959.

расширился почти вдвое. Он пополнился как за счет культурно-бытовой и общественно-политической лексики, так и за счет специальной терминологической лексики из области науки и техники. Особенно широко в словаре представлена общественно-политическая терминология, включено много неологизмов.

Отбор научно-технической терминологии хинди представляет довольно сложную проблему и требует выработки составителями четких критериев. Не ставя себе целью максимальный охват специальной технической и научной терминологии, составители умело произвели отбор общепотребительной, ставшей стандартной, терминологии из множества бытующих в языке хинди синонимичных терминов, причем предпочтение получили наиболее широко распространенные неологизмы, а многие ставшие уже архаичными термины были опущены. В числе приводимых в словаре терминов много таких неологизмов, которые до сих пор в имеющихся общих словарях хинди не отмечались. Так, в словаре содержится достаточно много терминов из области космической терминологии. В частности, в него включены относящиеся к космической тематике заимствования из русского языка и кальки русских терминов, например, «лунокход» «луноход», «чандра-йан» «лунник», «луноход», «чандра-гари» «луноход», «чандра-аватаран» «прилунение» и ряд других слов.

Таким образом, охват общественно-политической и наиболее употребительной специальной лексики обеспечивает высокую эффективность пользования словарем при работе над прессой, публицистикой и различными научно-популярными изданиями на языке хинди.

Менее эффективен словарь при чтении художественной литературы. В этом отношении словарь далеко не полно отражает ту лексику, которая употребляется в настоящее время в произведениях художественной литературы. Так, контрольное чтение со словарем некоторых произведений художественной литературы индийских писателей показало: на 17 страниц романа «Нектар и яд» современного писателя Амриталала Нагара в хинди-русском словаре не отмечены 22 слова (*расван*, *натеготия*, *дхуа-гари*, *салх-сут*, *кхайралах*, *гхамандан* и др.), на 17 страниц рассказа «Актер и невидимый глаз» молодого писателя Раджендры Ядава в словаре не отмечены 23 слова, на 8 страниц романа «Сомнатх» одного из классиков литературы на хинди Чатурсена Шастри в словаре не отмечены 25 слов. Однако это не столько недостаток словаря, сколько свидетельство того, что лексикографическая работа по языку хинди, и, в частности, роспись оригинальной литературы, должна вестись постоянно как в процессе работы над словарем, так и в дальнейшем.

Поскольку в современный хинди входит значительный пласт диалектизмов, словарь, учитывая специфику языка хинди, приводит много диалектизмов и фонетико-графических вариантов одних и тех же слов, большинство которых уместно дополняет словарь, повышая его практическую значимость. Удачно дополняют в большинстве своем диалектизмы лексику сельскохозяйственной тематики.

Как известно, санскритская лексика в лексическом составе языка хинди занимает особое место и служит главным источником пополнения слов высокого стиля и терминологии хинди. Авторы словаря добились наиболее оптимальных результатов в ее отражении: в словаре представлен достаточно полно устойчивый пласт санскритской лексики, который дает возможность работать над санскритизованными текстами научной литературы, а также над специально санскритизованными изданиями индийской периодической печати.

Касаясь вопроса заимствований из арабского и персидского языков, следует отметить, что большая часть представленной в словаре лексики этого типа является широко употребляемой в языке хинди, хотя нередко эти заимствования имеют стилистическую, а иногда и диалектальную окраску. На наш взгляд, правомерно вошли в словарь и некоторые относительно малоупотребительные лексические заимствования из арабского и персидского языков, поскольку такие заимствования встречаются в языке художественной прозы, переведенной с языка урду, или в произведениях двуязычных писателей, создающих свои произведения как на урду, так и на хинди.

Необходимость включения в словарь английской лексики в больших масштабах продиктована тем, что значительная часть английской терминологии к настоящему времени обрела статус общепотребительной в языке хинди. К тому же в языке хинди многие английские слова часто представлены не в чисто английском произношении, а в измененном виде, характерном для произносительной нормы говорящих на хинди.

Большим достоинством словаря является то, что в нем богато представлена фразеология. Авторы словаря подчеркивали в предисловии (т. 1, стр. 7), что они ставят себе целью расширение словаря за счет идиоматической фразеологии. И действительно, в некоторых словарных статьях значительно увеличено число фразеологических единиц. Так, в статье слова *сир* «голова» дано свыше двухсот фразеологических единиц, тогда как в словаре издания 1959 г. на это же слово в статье было всего лишь около двух десятков фразеологизмов. В отдельных своих статьях рецензируемый словарь по своему фразеологическому материалу по объему толковому словарю «Мāнак хин-



дй кон»<sup>2</sup> и даже известному урду-хинди-английскому словарю Дж. Платтса<sup>3</sup>, хотя, естественно, в целом упомянутые словари имеют значительно более широкий словник и гораздо больший объем фразеологии и, как нам кажется, в ряде случаев полнее и точнее описывают значения слов, в особенности слов, передающих местные реалии.

В рецензируемом словаре приводится большое количество мифологических имен и различных специфических названий, обозначающих чисто индийские реалии, что является большим подспорьем в работе с оригинальной литературой. Отбор этого пласта лексики отличается большой сложностью. В целом составителям удалось подобрать необходимый перечень таких слов и добиться определенного единообразия в их описании и пояснениях.

Вполне оправданным представляется включение в словник обширного ряда названий орденов и медалей с пояснениями, поскольку все эти сведения трудно отыскать вне специальной литературы.

Хорошим дополнением к словарю является приложение «Сокращения в хинди», так как в настоящее время сокращениями пестрят не только газеты, но и многие иные печатные издания. В это приложение вошли, как правило, уже устоявшиеся сокращения типа *искас* «Инд-советское общество культурных связей», *бзак'пā* «КПИ», *сансонā* «Объединенная социалистическая партия», *йунетā* (UNEPТА) «расширенная программа ООН по оказанию технической помощи экономически слабым странам» и многие другие сокращения. Попутно отметим, что сюда попали и не получившие широкого распространения сокращения, которые можно было бы безболезненно опустить, например, сокращения локальных наименований компаний типа *бй.даблйю.сй.ес.ем.* (BWCSM) «Бавталур вуллен, коттон энд сидк миллз компании».

Поскольку предыдущие издания хинди-русского словаря во многом основывались на росписи оригинальной литературы на хинди, вполне естественно, что материал этих словарей послужил определенной основой при составлении нового двухтомного словаря. Однако следует отметить, что составители не ограничились механическим перенесением материала из предшествующих словарей: были внесены значительные исправления в русские переводы, выявлены более точные значения слов и даны более точные русские эквиваленты по сравнению с те-

ми, которые приводятся в предшествующих хинди-русских словарях.

По достоинству оценивая двухтомный хинди-русский словарь и большую работу, проделанную авторским коллективом, приходится констатировать, что словарь не лишен некоторых недостатков как общего, так и частного характера. Прежде всего нельзя пройти мимо того обстоятельства, что авторы, как явствует из их высказывания на стр. 7, слишком широко понимают круг работ, способных служить теоретической базой отечественной лексикографии.

Как уже отмечалось выше, словник словаря и разработка словарных статей базируются на большом фактическом материале, полученном в результате росписи оригинальных текстов, охватывающих самую разнообразную тематику. Однако при анализе словаря чувствуется, что росписки все же не хватает. По-видимому, она была прекращена преждевременно, о чем свидетельствуют отсутствие в рецензируемом словаре, как выше указывалось, заметного количества слов, обнаруживаемых при чтении произведений современных писателей Индии, а также пропуск ряда новых употребительных терминов и некоторых важных терминологических значений. Иногда новые терминологические значения отмечены в иллюстративных примерах, но не выделены в отдельную рубрику, например, у слова *кзанд* — значение «ступень (ракеты)», или же встречаются случаи, когда новые значения отмечены в сокращениях в приложении, но в словах, которые находятся в корпусе словаря, они оказались упущенными. Например, значение «федеративный» для слова *сангхйā* отмечено лишь в сокращениях *сан VII* и *джа. сан. га. «ФРГ»*.

В словаре встречаются ошибки и неточности в определении значений отдельных слов, словосочетаний и фразеологических оборотов. Так, *гайр-ймāндāри* переведено как «бесечность» вместо «бесчестность, нечестность», термин *амйртта-калā*, означающий «абстрактное искусство», определяется в словаре как «1) литература, 2) музыка», термин *санракшан-самити* переведен как «Совет безопасности» вместо «Совет по опеке», словосочетание *ад-хāрбхūt гйāн* переведено как «прочные знания» вместо «основные, фундаментальные сведения; основы». В ряде случаев составители повторили ошибки предшествующих изданий хинди-русского словаря.

Имеются в словаре случаи, когда одни и те же иллюстративные примеры, а также устойчивые обороты приводятся в разных статьях с разными переводами, которые к тому же нуждаются в уточнении. Так, фразеологический оборот *бина мārākā тобā карнā* приводится в статье слова *тобā* «обет, обещание; зарок» с переводом «начинать плакать, еще не провиновившись», а в статье предлога *бина*

<sup>2</sup> «Манак хинди кон», под ред. Рамчандра Варммы, Прайаг, т. 1—5, 1962—1966.

<sup>3</sup> J. T. P l a t t s, A dictionary of urdu, classical Hindi and English, Oxford, 1884.



ного состава свободных словосочетаний. Так, в статье слова *санскритик* «культурный» вместо приводимого иллюстративного примера *санскритик кранти сампанна карнā* «осуществлять культурную революцию» достаточно было представить словосочетание *санскритик кранти* «культурная революция», которое должно стоять в одном ряду с приводимым в той же статье словосочетанием *санскритик дхаратал* «культурный уровень». А словосочетание *сампанна карнā* «осуществлять, выполнять, завершать», с которым прилагательное *санскритик* «культурный» ни в какой тип связи не вступает, является излишним в рассматриваемой словарной статье.

В словарных статьях не всегда выдержан принцип подачи значений слова «от более употребительных к менее употребительным». Допущены отступления от этого принципа в ряде статей на слова санскритского происхождения, поскольку нередко определение частотности и широты употребления санскритских слов представляет немалые трудности. Однако в некоторых случаях совершенно неправомерно помещены после малоупотребительных значений важнейшие наиболее часто встречающиеся значения, большая частотность и широта употребления которых совершенно очевидны. Так, например, основное значение слова *нити* «политика» приводится в словарной статье лишь под цифрой 6, причем его оттеснили даже такие значения, которые вряд ли свойственны слову *нити* в современном хинди, и их вообще бы не следовало включать в словарную статью. Наиболее употребительное значение слова *пратхā* «влияние» приводится лишь под цифрой 4.

Словарь не везде обнаруживает четкость и последовательность принципов отбора и правомерность включения заимствований в его словник. Часть иноязычной — арабско-персидской и английской — лексики представляется для хинди-русского словаря определенным излишеством. Помимо того, что отбор заимствований для хинди-русского словаря представляет особую тонкую и сложную проблему, по-видимому, разные составители подходили к этому вопросу с разными критериями.

Из приводимых на стр. 691—693 рецензируемого словаря ста слов, преимущественно арабских и персидских, двадцати слов нет даже в одиннадцатитомном толковом словаре хинди-хинди<sup>4</sup>, в числе которых шесть слов не отмечены также и в урду-русском словаре<sup>5</sup>, а именно: *тафгаз*, *тафрūd*, *тафрӯхбāз*, *тафрӯх-*

*бāз*, *тафӯлийат*, *табанийатнāmā*. В словарь включены также такие арабские и персидские слова, которые могут быть поняты (в особенности в тех значениях, в которых они приводятся в словаре) только в историко-культурном контексте прошлых времен, например: *аркāн*, *аркāн салтанат*, *аркāн даулат* «главные государственные деятели, министры», *дйāн* «государственный совет».

Неправомерно большой процент составляет в отдельных местах хинди-русского словаря лексика английского языка. Так, перегружена английской лексикой буква «Е» (т. 1, стр. 282—291), содержащая 409 слов, в числе которых больше сотни слов заимствованы из английского языка, что составляет одну четвертую часть словарных статей на рассматриваемую букву. В словарь вошло много английских узкоспециальных технических и спортивных терминов, которые можно было опустить, учитывая тип и назначение словаря, например, такие слова: *вгйл хед* (E. *wheel-head*) «шлифовальная головка», *инджектар* (E. *injector*) «инжектор, форсунка», *скрӯджек* (E. *screw-jack*) «винтовой домкрат», *стичар* (E. *stitcher*) «строчильная машина», *байтинг* (E. *bating*) «подача (в крикете, бейсболе)», *байтсмен* (E. *batsman*) «игрок с битой (в крикете, бейсболе)». Неужными в хинди-русском словаре представляются английские слова типа *интродӯйс* (E. *introduce*), *интарвел* (E. *interval*), поскольку массу подобных слов вставляют в свою речь индийцы, получившие образование на английском языке. Такие слова обычно встречаются в произведениях художественной литературы в речи персонажей, и их целесообразно опускать во избежание массового включения английской лексики в лексический состав хинди.

В словаре встречаются также малоупотребительные или совсем неупотребительные диалектизмы и архаичные слова. Сравнение рецензируемого словаря с одиннадцатитомным толковым словарем хинди дает такие результаты: из 318 слов первых 16 колонок буквы «А» 42 слова хинди-русского словаря совсем не отмечены в одиннадцатитомном словаре, а 21 слово является диалектальным или архаичным. Следовательно, избыточная часть представленной в хинди-русском словаре лексики составляет заметный процент.

В рецензируемом словаре наряду с краткими точными и весьма удачными переводами можно увидеть нередко и описательные переводы. В ряде случаев, несомненно, пространный описательный перевод может быть заменен более кратким русским эквивалентом (см., например, слова *макханийā*, *такра*, *сехрā*, *веа-дхā-рац*, *а<sup>н</sup>тарпӯтā*, *кхидмат*, *маходār*, *стаф рипортар*).

<sup>4</sup> «Хинди шабдасāгар», сост. Шьям Сундардās, т. 1—11, Дели, 1965—1975.

<sup>5</sup> С. В. Бирюлов, Ю. Н. Виноградов, А. В. Ефимова, Б. И. Ключев, Урду-русский словарь, М., 1964.

Не всегда в словаре дается отсылка вариантных форм к основным, широко применяемая в лексикографической практике. Например, не имеют отсылок, а снабжены самостоятельными формулировками значений слова *benār* (нормативная форма — *aiñār*) «торговля...», *bīāḍj* (нормативная форма — *bīyāḍj*) «проценты». В некоторых случаях самостоятельные формулировки значений вариантных форм слов не приведены в согласование с определениями значений основных нормативных форм. Так, в словаре представлена форма *брихат* «1) большой огромный, 2) сильный, могучий» и форма *врихат* «очень большой, огромный»; дается слово *вир* «м. 1) герой..., 2) воин» и диалектальная форма, сопровождаемая иным набором значений *бир* «1. храбрый, отважный, 2. м. 1) герой, 2) воин...».

Встречаются в словаре случаи неточного указания грамматической принадлежности слов (см. *пārdaršī* и *āvaḥāḥī*), грамматического рода слов (см. *чаппал*) и помет (см. *арūrūt*, *кланакḍār*). Такие случаи единичны и крайне немногочисленны в целом по словарю.

Подводя общие итоги, можно констатировать, что словарь вносит немало нового в разработку вопросов индологической лексикографии. Он значительно превосходит предшествующие издания хинди-русских словарей, причем не только по объему, но и по совершенству методики и качеству лексикографической работы.

Как все отмеченные, так и не отмеченные в нашей рецензии положительные стороны словаря, его общие и частные достоинства позволяют дать словарю в целом высокую оценку. Новый хинди-русский словарь, бесспорно, занимает достойное место среди всех изданных в СССР общих и специальных словарей по современному индийскому языку. Он относится к числу наиболее полных и авторитетных словарей по современным языкам Индии, изданных как в нашей стране, так и за рубежом.

Королев Н. И., Ульцифиров О. Г.,  
Рубинчик Ю. А.

**Г. В. Степанов. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. — М., «Наука», 1976. 224 стр.**

Пожалуй, ни одна группа индоевропейских языков не обнаруживает такого разнообразия языковых ситуаций и состояний, как романские языки. Среди них есть языки мирового значения с давней письменной традицией (испанский, французский) и языки, находящиеся на положении разговорных диалектов с неустановившейся письменной нормой (рето-романский, сардинский). Один и тот же язык в одном случае является господствующим по отношению к языкам меньшинства (испанский в Испании, французский во Франции), в другом — он язык меньшинства, борющегося за лингвистическое равноправие (французский в Канаде), в третьем — он оттеняется другими языками (испанский на Филиппинах). Ни для одного романского языка ареал его распространения не совпадает с государственными границами, вследствие чего возникает ряд социолингвистических проблем: сосуществование данного романского языка с другими языками в пределах единого государственного образования и в связи с этим — распределение функций между разными языками для части населения; распространение данного языка в ряде стран и в связи с этим — формирование вариантов литературных языков. Своеобразие положения романских языков объясняется, естественно, внешней историей их развития, которую условно можно разделить на три периода. П е р в ы й —

формирование европейской Романии. Уже здесь обнаружилось несовпадение лингвистических и политических границ. Кроме небольшой Португалии, все романские государства оказались многонациональными. С другой стороны, романоязычное население вошло в состав других стран, где оно не составляет численно преобладающей народности (Швейцария, Бельгия). Само развитие романских языков оказалось неравномерным. Одни из них все больше набирали силу, превращаясь в национальные государственные языки (французский, испанский, итальянский, румынский, португальский), другие так и не вышли на уровень государственных языков (сардинский), третьи пережили «реконверсию», утратив ряд некогда присущих им функций и снизившись до уровня диалектов (провансальский, галисийский, каталанский). Различным оказалось и соотношение между литературной формой и диалектами в пределах разных языков. В одних случаях диалекты претерпели значительный распад (французский, в меньшей степени испанский), в других они сохранили даже литературные функции (некоторые диалекты итальянского языка). В т о р о й этап внешней истории романских языков совпадает с началом колониальной экспансии европейцев (XVI—XVII вв.), когда стала формироваться Новая Романия, прежде всего на американском континенте, причем в ряде

стран с компактным романоязычным населением создавались местные варианты литературных романских языков: испанского, португальского, французского. В Америке и Африке возникли креольские языки на французской, португальской или испанской основе. Новая волна колониальных захватов в XIX в., преимущественно в Африке, ознаменовала третий этап в распространении романских языков, которые на этот раз не заменили языков местного населения, но стали использоваться как государственных языки или языки публичного общения в государствах, возникших впоследствии в результате развала колониальных империй. Так, более 20 стран африканского континента пользуются романскими языками в публичном общении (французским, португальским, испанским, итальянским). Подъем национально-освободительного движения среди этнических меньшинств вновь привлек внимание к языковой ситуации в романоязычных странах. Во многих случаях социальные и национальные проблемы принимают здесь форму борьбы за утверждение родного языка (ср. лингвистический вопрос в Канаде и Бельгии, проблемы автономии папмейнцев в Испании, «региональных» языков во Франции и др.). Политические связи оказали воздействие на «переориентацию» некоторых языковых групп. Многовековое пребывание галисийцев и каталонцев в составе Испании отделило галисийский язык от португальского и каталанский от провансальского. Стремясь утвердить свою языковую автономию в составе Франции, корсиканцы рассматривают свою речь не как диалект итальянского языка, но как особую лингвистическую сущность, отличную и от французского, и от итальянского языков. В последние годы в странах романских языков и в положении самих романских языков происходят важные социолингвистические процессы, привлекающие внимание историков, социологов, лингвистов<sup>1</sup>.

Подобно тому, как в области сравнительно-исторического языкознания романские языки, обладающие зафиксированным языком-основой, явились в известной мере опытным методологическим полем, так и в области социолингвистики изучение этих языков, обнаруживающих

максимальное разнообразие языковых состояний и ситуаций, может способствовать дальнейшей разработке системы понятий и методологии этой отрасли языкознания. В связи с этим большое научное значение приобретает рецензируемая книга Г. В. Степанова «Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи».

Ценность этой книги заключается в объединении документированного конкретно-языкового материала с разработкой общих положений и системы понятий, необходимых для описания внешней системы языка. Хотя в книге рассматриваются факты различных романских языков, особое внимание уделено языкам иберо-романской группы. Это объясняется не только направленностью общих научных интересов автора, но и самой задачей исследования, ибо среди романских стран и языков именно Испания и ее языки обнаруживают наиболее сложную картину состояний и ситуаций.

Изучение внешней системы родственных языков имеет и еще одно существенное методологическое значение: оно позволяет выявить результаты внешних воздействий на внутреннюю структуру языка, показать взаимозависимость этих двух аспектов языкового существования, которая до настоящего времени не находила удовлетворительного объяснения в лингвистике.

Рассмотрим ту систему понятий, которая используется в книге и излагается в ее первой главе. Существование языка характеризуется двумя аспектами: внутренней структурой и внешней системой. Внешняя система, анализу которой посвящена книга, представляет собой совокупность всех видов варьирования языка, которые имеют определенную функцию в данном лингвистическом коллективе (лингвосоциуме). Эта система представляет собой целое, состоящее из частей (подсистем), находящихся в определенных отношениях и связях между собой.

Во внешней системе различаются два аспекта: языковое состояние и языковая ситуация. Состояние языка есть общность всех видов его вариативности: функциональных (функциональные стили), форм существования (национальный язык, диалект и пр.), форм реализации (устная и письменная речь). Эти компоненты состояния языка могут взаимодействовать друг с другом, осуществляя различные функции в пределах одного социума (например, диалект и литературный язык) или не взаимодействовать (не связанные между собой диалекты или национальные варианты языка, функционирующие в разных лингвосоциумах). Языковая ситуация есть взаимодействие и взаимодополнение — социальное и функциональное — различных типов речи в пределах одного социу-

<sup>1</sup> Ср.: G. Hégard, *Peuples et langues d'Europe*, Paris, 1968; в частности, например, о Франции и французском языке: A. Viatte, *La francophonie*, Paris, 1969; A. Lanly, *Le français en Afrique*, Paris, 1974; специальные тематические выпуски журнала «Langue française», № 18: «Les parlers régionaux», 1973; № 25: «L'enseignement des „langues régionales“», 1975; № 31: «Le français au Québec», 1976.

ма. Таким образом, состояние языка показывает, какие формы существования имеет данный язык, независимо от общности языковых коллективов. Языковая ситуация показывает, какими языками пользуются члены данного коллектива в зависимости от условий и задач коммуникации. Это разграничение двух понятий можно сопоставить в области внутренней структуры языка с семасиологическим аспектом (средство → функция) и ономаσιологическим (функция → средство).

Автор подчеркивает, что из трех факторов, обуславливающих формирование и функционирование внешней системы языка (времени, пространства и социально-исторических условий) основным является последний. Ни временной, ни пространственный факторы сами по себе варьирования внешней системы не создают. Социально-исторический фактор проявляется преимущественно не целенаправленно, но путем стихийного общественного отбора (стр. 42). Роль трех факторов иллюстрируется на примере из истории испанского языка. В один и тот же год — 1492 — в истории Испании произошли два события: открытие Америки и изгнание мавров и евреев. Так одновременно начали формироваться две региональные разновидности испанского языка: латиноамериканская и средиземноморская (сефардская)<sup>2</sup>. Но судьба их оказалась диаметрально противоположной именно в силу различных социально-исторических причин. Покинув Испанию, сефарды вскоре оказались в языковой ситуации билингвизма (они пользовались местным и испанским языками в неодинаковых функциях). Общественные функции испанского языка в среде сефардов стали отмирать, он превратился в бытовой диалект, стоящий ныне на грани полного исчезновения. Иначе шло формирование американской разновидности испанского языка: в Америке этот язык глубоко укоренился, дав жизнь ряду национальных вариантов литературного испанского языка. На примере Аргентины автор подробно анализирует

различные социальные факторы, обуславлившие специфику данного варианта испанского языка.

Рассмотрев различные классификации социальных типов речи (Уренья, Флорес, де Лаграссри и др.), Г. В. Степанов более подробно останавливается на основной функциональной стратификации в национальный период состояния языка. Различается три основных «страта»: высший (литературный общенародный язык), средний (диалекты с бесписьменной или письменной литературой) и низший (говоры). Только высший страт обладает всем диапазоном функций. Типы стратов по-разному представлены в разных странах. Если для Испании характерна вся триада, то во Франции в принципе наличествуют только высший и низший страты. Поэтому, втянутые в общую языковую ситуацию другие языки стратифицируются в этих странах по-разному: галисийский, каталанский, баскский понижены до ранга диалекта (средний страт), тогда как «региональные» языки Франции (провансальский, бретонский, баскский, эльзасско-немецкий, италикорсиканский, каталанский в Руссильоне) в функциональном отношении были сведены до *ratois* (низший страт). В ряде стран романский язык разделяет позицию высшего страта с языком иной группы (английский и французский в Канаде, испанский и кечуа в Перу, французский и фламандский в Бельгии). Г. В. Степанов подчеркивает, что варианты одного языка не должны рассматриваться как язык и диалект (например, неверно считать португальский язык Бразилии диалектом европейского португальского). Это — равноправные варианты, каждый из которых имеет свою стратификационную структуру и набор функциональных разновидностей. Варианты суть разные репрезентанты одного языка.

Для описания внешней системы языка автор предлагает ряд понятий, включающий три типа оппозиций: а) синтопия (рассмотрение фрагмента языка в его единстве) — диатопия (его рассмотрение как совокупность территориальных вариаций); эти понятия позволяют описать процессы дифференциации и унификации языковых состояний; б) синстратия (наличие одного страта в языке) — диастратия (наличие разных стратов); эти понятия отражают степень стратификационной сложности языка; в) монофункция (наличие лишь одной функции, например, у говоров) — полифункция (множественность социальных функций, например, у литературного языка). Эти три типа соотносительных понятий охватывают все возможные варьирования языка: пространственное, уровневое, функциональное.

Далее автор рассматривает один из сложнейших вопросов социолингвистики:

<sup>2</sup> Хотя обычно отмечается, что до изгнания сефардов язык, на котором они говорили, не имел никакой специфической окраски, не отличаясь от обычной испанской речи (стр. 43), новейшие исследования в области языка сефардов показывают, что он имел две разновидности: ладино — язык обучения и литургии, копировавший синтаксис и обороты языка библии, и джудезмо, полностью совпадавший с испанским конца XV в. и начавший отличаться от него к 1620 г. Таким образом, еще на территории Испании сефардам был свойствен некоторый билингвизм (язык культа отличался от разговорного). См.: H. Vidal Seprh i h a, *Problématique du judéo-espagnol*, BSLP, LXIX, 1974.

взаимодействие внутренней структуры и функциональной системы языка. В строевании языка Г. В. Степанов, уточняя положения Э. Косериу и некоторых советских лингвистов, различает структурный тип, систему, норму и узус (норму речи), понимаемый как выбор среди средств выражений, допускаемых языковой системой и нормой. Различия на уровне структуры и системы определяют различия между языками, на нормативно-узусальном уровне — между разновидностями единого языка. Эти различия иллюстрируются примерами из вариантов испанского языка.

Хотя отношения между внутренней структурой и функциональной системой языка не носят изоморфного характера (стр. 67), между ними существует двусторонняя взаимосвязь. С одной стороны, для выполнения некоторых функций язык должен располагать своими внутренними ресурсами. Если для некоторых функций население пользуется иным языком, то это приводит к изменению структуры родного языка. Положение это наглядно иллюстрируется историей романских языков: многовековое участие латинского языка в языковой ситуации романских народностей привело к значительным изменениям во внутренней структуре литературных романских языков (торможение или прекращение ряда фонетических процессов, изменения в системе словообразования, значительные сдвиги в словарном составе и в синтаксисе). С другой стороны, изменение функций у данного языка может вызвать изменения в его внутренней структуре: уменьшение функциональной нагруженности ряда романских языков и вариантов языков (каталанский, провансальский, сефардский) привело к их упрощению, а в случае с сефардским — к разрушению внутренней структуры языка.

Во второй главе рассматриваются типы языковых состояний. Для романских языков выделяются следующие характерные состояния: национальный язык, национальный вариант языка, вариант национального языка, диалект — и прослеживается их представленность для того или иного языка. Так, в отношении диалектов романские языки варьируются от значительной стертойности диалектов (французский язык) до высокой степени диалектных различий (итальянский). По-разному проходило и формирование национальных литературных языков: на базе одного диалекта (французский язык), на основе концентрации диалектов (итальянский, ретороманский), путем смены базового диалекта (португальский, румынский). В романском мире обнаруживаются и варианты национальных языков (в ретороманском), и национальные варианты языка (в испанском, португальском, французском). В книге неоднократно совершенно пра-

вильно подчеркивается различие между вариантом национального языка и диалектом, которые нередко смешиваются в зарубежной лингвистике. В отличие от диалекта, вариант национального языка обслуживает всю нацию, обладает полифункциональностью и представляет собой высшую форму языкового существования. Национальный вариант языка — зарождающийся новый язык. Нередко возникает проблема: представляют ли два данных языковых образования варианты одного языка или два разных языка? На убедительном и широком материале эта проблема рассматривается в монографии, фиксируются различные внутри- и внелингвистические факторы, побуждающие признать данное лингвистическое образование отдельным языком. Также ставится вопрос об обозначении общего языкового типа. Подлинная картина состояния романских языков нередко затемняется ставшей уже привычной неточной терминологией. Ныне испанский язык существует не только в пиренейском варианте, но в равноправном с последним аргентинском, мексиканском и других вариантах, по отношению к которым термин «испанский язык» оказывается неточным. Здесь возникают две возможности: или употреблять термин «испанский язык» в двух значениях — для обозначения целого (совокупности вариантов данного типа речи) и части (одного из вариантов), или же создать новый термин для обозначения как общеписпанского, так и каждого национального варианта. С этим связана известная полемика среди латиноамериканских филологов, а также тенденция употреблять термин «кастильский язык» для обозначения общеписпанского. Равным образом и французский язык выступает как совокупность вариантов: собственно французский + франкобельгийский + франкошвейцарский + франкоканадский. «Португальский язык» также обозначает и лузитанский, и бразильский варианты этого языка. Лингвистам придется, по-видимому, раньше или позже вплотную заняться этим терминологическим вопросом.

Языковые состояния в книге анализируются в их динамике: выявляются случаи перехода языкового образования с одного уровня на другой, формирование национальных вариантов языков, возникновение «вторичных» диалектов внутри этих вариантов, диалектные смешения между разными языками (например, интересные факты смешения диалектов испанского и португальского в Южной Америке). Традиционное понятие диалекта не включает в себя всего разнообразия реальных языковых состояний и, например, для испанского автор пользуется терминами, отражающими более тонкие различия: стационарный диалект, островной, колониальный диалект и др.

В итальянском языке, не имеющем национальных вариантов, различаются уровни: диалект — итальянизированный диалект — региональный вариант итальянского языка — литературный язык. Для французского языка отмечается более сжатая иерархия.

Типы языковых ситуаций подробно исследуются в третьей главе. Этот аспект можно сопоставить с синтагматическим аспектом при изучении внутриязыковых форм, ибо он прослеживает сосуществование разных языков и форм языка. В одной языковой ситуации могут участвовать родственные языки (испанский, галисийский, каталанский в Испании), неродственные (баскский и испанский в Испании) и т. п. Автор рассматривает примеры различных типов ситуаций, преимущественно такие, где языки-участники ситуации неравноправны, что имеет чисто лингвистические последствия. Очень интересен очерк о галисийском языке и ситуации в Галисии (стр. 144—162). Важной и плодотворной является идея о взаимоотношении вне и внутриязыковых факторов при определении статуса языкового образования. Так, убедительно показывается, что именно внелингвистические, социолингвистические соображения не позволяют в данное время считать галисийский диалектом португальского, хотя он и занимает промежуточное положение в испанском ареале. Перед галисийской нацией история выдвинула альтернативу: галисийский или испанский, а не галисийский или португальский (стр. 153). Таким образом, с точки зрения языкового статуса галисийский представляет собой национальный вариант наряду с лузо-португальским и бразильским общепортугальско-галисийского языка. Несколько иным оказывается положение провансальского, который, в отличие от галисийского, характеризуется полидиалектностью, отсутствием единой литературной нормы, но не может рассматриваться как вариант языка<sup>3</sup>. Сложная языковая ситуация имеет место в условиях билингвизма. Соотношение языков может рассматриваться в психологическом и социальном аспектах. В первом случае координативный билингвизм (равное владение двумя языками) — довольно редкое явление, обычно образуется субординативный билингвизм (родной и неродной язык). В социальном плане координативный билингвизм проявляется в функциональном равноправии их, субординативный — в подчиненном положении одного из них. Автор отмечает, что субординативная социолингвистическая ситуация может вести изменения даже в тот язык, кото-

рый психологически для его носителей является господствующим (например, неродной язык может потеснить родную речь в узусе говорящего).

Координативное двуязычие в романских странах встречается редко (немецкий, итальянский и французский в Швейцарии, французский и фламандский в Бельгии). Значительно чаще наблюдается ситуация диглоссии, при которой функциональный набор одного языка более значителен, чем другого. Даже ситуация английского и французского в Канаде, испанского и гуарани в Парагвае напоминает ситуацию испанского и галисийского: второй язык в этих парах подвергается «облучению» со стороны первого. Это подробно и интересно рассматривается на примере испанского, галисийского и каталанского в Испании, испанского и английского в Пуэрто-Рико. Различные функции родного и чужого языка приводят к смешению языков в устах говорящих.

В заключение автор останавливается на роли субъективного фактора в оценке языка и его престижа, ибо от этого во многом зависит осознание характера языковой ситуации. Языковая ситуация в большей степени связана с субъективными факторами, чем языковое состояние. В рецензируемой книге дается интересная типология форм защиты родного языка в романских странах: вначале это была защита романских языков по отношению к латыни, затем защита самостоятельности национальных вариантов по отношению к языку метрополии, и, наконец, защита языков национальных меньшинств. Иногда, однако, эти аспекты совпадают: французский язык в Канаде утверждает свою самобытность по отношению и к господствующему в стране английскому языку и к французскому языку Франции. В Латинской Америке защита языка приняла наиболее резкие формы в Аргентине и Чили, где звучали голоса в пользу полного обособления соответствующих вариантов от испанско-пиренейского варианта. Разбирая во всех деталях языковую ситуацию, автор не проходит мимо и такого казалось бы малозначительного вообще, но весьма существенного для романских стран вопроса, как введение богослужения на местных языках (до сего времени в языковой ситуации этих стран латинский язык занимал положение языка литургии). И в этом частном вопросе проявились особенности языкового состояния разных романских языков.

Таково краткое содержание этой богатой фактами и мыслями книги. В заключение хотелось бы особо подчеркнуть два вывода, которым автор уделяет специальное внимание на последних страницах работы. Первый из них — методологического характера. Наличие различных типов языковых состояний ставит

<sup>3</sup> В связи с этим ныне предпочитают пользоваться термином «окситанский язык», сохраняя термин «провансальский» для обозначения диалекта Прованса.



вопрос о том, что брать за основу при описании языка. Фиксация «идеального типа» при описании языка непосредственно зависит от типа языкового существования этого языка. Так, если французский язык достаточно стандартизован и допускает оперирование абстрактной моделью (стр. 206), то итальянский и особенно ретороманский таких возможностей не предоставляют. Возникает вопрос о том, какой вариант национального языка (в случае с ретороманским) или национальный вариант языка (в случае с испанским или португальским) принимать за основу при описании. Другой важный общий вывод касается общего направления развития внешней системы языков. Обычно полагают, что с развитием и усложнением форм общественной жизни увеличивается и внутренняя дифференциация языка. Однако здесь следует видеть разные стороны. Социально-политические изменения могут создать новые лингвосоциумы, в связи с чем начинают формироваться варианты национальных языков. Но внутри данного лингвосоциума дифференциация языка не усложняется, а уменьшается. Это касается не только отмирания диалектов, но и «переплавки» функциональных стилей носителей языка. Идиолекты носителей разных диалектов больше различались между собой, чем идиолекты разных носителей литературного языка. Известные социальные факторы — всеобщее обучение, развитие средств массовой информации и др. — способствуют расширению и унификации лингвистической компетенции различных представителей данного языка. Так вырисовывается общая диалектика развития языка в пределах данной лингво-национальной общности: от первоначального языкового единства через территориальную и функциональную дифференциацию к созданию новой общности на базе единого литературного национального языка. Анализ романских языков в рецензируемой книге подтверждает тезис о конвергенции языковых подсистем в соответствующих лингвосоциумах.

Книга Г. В. Степанова закладывает основы глубокого теоретического осмысления проблем внешней системы языка.

Представляет несомненный интерес использование, могущее с первого взгляда показаться неожиданным, понятий парадигматики и синтагматики, семасиологии и ономасиологии к явлениям внешнего существования языка. До сих пор они использовались лишь при описании его внутренней структуры. Но понятия парадигматики и синтагматики универсальны в том плане, что они в конечном счете отражают соответственно временные и пространственные координаты, в которых существуют любые явления. Не случайно эти понятия, разработанные впервые в лингвистике, стали использоваться в других общественных науках: истории, антропологии, социологии. Быть может в применении к внешней системе языка целесообразно различать парадигматические и синтагматические отношения отдельно для языковых состояний и для языковых ситуаций. В таком случае парадигматика языкового состояния охватит все взаимодействующие друг над другом этажи: литературный язык — диалекты и т. п., тогда как синтагматика коснется языкового варьирования в пространстве (проблема идентичности или отдельности языка). При анализе языковой ситуации парадигматика отразит совокупность разновидностей речи, независимо от их родства, используемых данным индивидуумом или данным социумом в разных функциях, а синтагматика — сосуществование разных форм одного языка или разных языков в пределах одного социума.

Книга Г. В. Степанова представит большой интерес не только для романистов, но и для лингвистов иных специальностей. Но романисты, несомненно, пожалеют, что сравнительно небольшой объем книги не позволил применить разработанную в ней систему понятий для анализа, более широкого, всех групп романских языков и для рассмотрения языковой ситуации в более широком круге стран, где используются романские языки, в том числе и молодых стран «третьего мира». Следует пожелать, чтобы эта книга получила свое продолжение.

Гак В. Г.

О. С. Ахманова. Словарь омонимов русского языка. — М., изд-во «Русский язык», 2-е изд., 1976. 448 стр.

Мгновенная распродажа 75-тысячного тиража первого издания словаря<sup>1</sup> свидетельствует о том, что он оказался полезным не только для «специалистов по русскому языку», как указывалось в его аннотации, но и для широкого круга читателей вообще. Появляется естественная необходимость отметить отзывом выход в свет второго издания этого труда ввиду его несомненного влияния на лингвистическую мысль, на лексикографическую и в целом речевую практику нашего общества.

Столкновение мнений в полемике вокруг омонимов, ведущейся у нас с разной интенсивностью уже не первое десятилетие, часто базировалось на умозрительных построениях, подкрепляемых анализом отдельных примеров, в лучшем случае их групп или типов. Последовательный и полный анализ всей лексики на основе непротиворечивой и единой методики, что только и может доказать плодотворность той или иной концепции, не производился. Своим словарем О. С. Ахманова убедительно напоминает о том, что практика — лучший критерий истины, самый объективный путь проверки гипотез и теорий.

Системной проработке подвергнуты омографические омонимы, т.е. омонимичные словарные формы, а также — в порядке обоснованного исключения — формы множественного числа существительных и совпадающие с ними лексикализованные образования: *часы — час* и *часы «прибор»* и под. Омонимичные прилагательные и существительные, краткие формы прилагательных, наречия и безличные предикативы даны под названием «функциональной омонимии» в виде приложения. В приложение же выделены и омографы типа *атлас — атлас, збжж — замбж*.

Ключевым вопросом для изучения омонимии является, несомненно, разграничение разных значений одного и того же слова, разнообразие которых не нарушает его тождества («лексико-семантических вариантов» слова), и разных слов, хотя и совпавших во внешней оболочке (случаев одинакового звучания при явной несовместимости значений). Видя в диф-

ференциации значений в пределах слова и в дифференциации слов в пределах одного звучания разные стороны одной проблемы определения тождества слова, О. С. Ахманова оценивает семантическое расщепление как омонимию или как разветвленную полисемию на основе структурно-семантического анализа, на основе проникновения в системный характер данных лексико-семантических отношений. При этом выявляется иерархия типов отношений, внутри которых степень омонимичности семантических отношений различна.

Научно обоснованная смелость словаря именно в том, что, наряду с традиционно выделяемыми, привычными группами явных омонимов, т.е. слов исконно разных — *кран, клуб, брак, луж* и пр., последовательно выделены и описаны группы омонимов, связанных со спецификой морфологической структуры и с историческими процессами развития и распада многозначности. Избегая (по большей части убедительно) соблазна субъективных решений, О. С. Ахманова, исходя из тщательного анализа морфологического строения структурно сложных единиц и признает омонимиями те из них, в которых формализованная процедура исследования вскрывает несовместимость значения хотя бы одной морфологической части. Учитывая омонимию основ, омонимию аффиксов, разную степень членности, различия внутренней структуры, несовпадение по принадлежности к частям речи, автор включает в словарь многочисленные и разнообразные группы приставочных глаголов, прилагательные и существительные, склоняющиеся по адъективному типу, слова с десемантизированным суффиксом и т.д. Далее, преодолевая на основе строгой методики известные трудности оценки результатов еще живых, развивающихся процессов, в словаре предпринимается попытка выявить случаи завершившегося распада полисемии (за звездочкой, причем, даны и многие случаи еще не завершившегося процесса омонимизации: *катать, подковка, масса, мера*).

Отвергая ригористичность в оценке «омоним — не омоним», но одновременно соблюдая строгость и объективность в решении этого вопроса, О. С. Ахманова, помимо общего критерия выраженности или невыраженности омонимии (семантическое и/или грамматическое различие тождественных фонемных рядов), учитывает идентичность сравниваемых единиц с точки зрения сфер употребления, синхронизированность данного соотношения, его принадлежность к территориальной разновидности языка, стилистические коннотации и пр. Соответственно в сло-

<sup>1</sup> О. С. Ахманова, Словарь омонимов русского языка, М., 1974 (в составлении словаря принимала участие Т. А. Ганиева). Этому изданию была посвящена рецензия Н. П. Колесникова (см.: «Р. яз. в шк.», 1974, 6), которому принадлежит и своеобразный творческий отклик — оригинальный, самостоятельный и интересный «Словарь омонимов русского языка» (под ред. Н. М. Шанского), Тбилиси, 1976.

варе применена система помет. Английские, французские и немецкие переводы, сопровождающие в словаре омонимы, рельефно показывают семантическую несовместимость описываемых лексических единиц.

Итогом громадной аналитической работы является указание в словаре принадлежности каждого слова к тому или иному типу или подтипу омонимии; «накопление» индексов дает богатейший материал для суждений о ходе процессов развития, о соотношении диахронии и синхронии, вообще о свойственном живому языку переложении элементарных признаков. Материал словаря кладет фундамент для широких обобщений и для глубокого изучения отдельных лексических систем. Частным, но очень важным выводом, особо отмеченным и в предисловии к словарю, служит, например, тезис об организующей роли глагола в системе омонимии русского языка. Чрезвычайно полезны указатели в конце словаря, наглядно обобщающие отнесенность омонимов к различным типам омонимии и распределение типов омонимии по основным частям речи.

Стремление представить русские омонимы как систему (безусловно и удачно реализованное в словаре) привело, несомненно, к известному ограничению принципов отбора материала для словаря, даже к ряду непоследовательностей в квалификации отдельных примеров. Так, в частности, в целом следуя мнению и замечаниям В. В. Виноградова, сформулированным как в его специальных статьях об омонимах, так и в других публикациях, О. С. Ахманова не применяет понятие «омонимии» к предложениям, союзам и частицам (*с, по, о; как, что, и, же*), хотя включает в словарь ряд приставок. В словарь включены, т. е. соотнесены омонимами пары: *опушка — о. леса и меховая о.;* *шатун I одуш. — праздный ш. и шатун II неодуш. — деталь машины;* *шкурка — каракулевая ш. и наждачная ш.;* *шляпка — модная ш. и ш. гвоздя;* однако в нем по справедливости отсутствуют, скажем, слова *чугун, черенок, червяк, шпилька, шмыгать, жмель, ясли* и пр. В то же время, как убедительно показано В. В. Виноградовым<sup>2</sup> и как следует из попытки рецензента применить к ним методику анализа, разработанную и принятую О. С. Ахмановой, все эти слова являют собой примеры развитой полисемии, а не омонимии: ведь различия предметной отнесенности слова не суть различия его значений, которые во всех перечисленных словах взаимно-

связаны как основные и производные или прямые и переносные, а также основаны на общих структурных признаках называния, на общих морфологических признаках и системах форм (это вряд ли опровергается особенностями склонения слова *шатун I*; ср. к тому же *червяк*!). Это недоразумение тем более странно, что О. С. Ахманова следует В. В. Виноградову во многих весьма спорных случаях, например в оценке слов *гвоздь* (в прямом значении и фразеологически связанном «самое интересное, значительное»), *утка* (в прямом значении и в значении «газетная утка»), *узел*; ср. также *законник, убрать, яга, ярый, ярь* и т. д.

Иными словами, в стремлении четко вскрыть механизмы омонимии за пределами рассмотрения оказался весьма длинный ряд противоречивых, «нарушающих закономерности» слов. Заметим, кстати, весьма явную неполноту списка омонимов. В то же время именно показательная системность придает словарю обобщающую достоверность и наглядность в выявлении закономерностей, основ системы русской омонимии с ее национально-языковой самобытностью. В этом смысле одобрения, а не порицания заслуживает известная монотонность словаря, вызванная многочисленными отсылочными словарными гнездами, ибо она как раз иллюстрирует последовательно системный характер русской омонимии, основанной главным образом на отглагольном словообразовании.

Словарь служит в целом практической иллюстрацией к законченной концепции, разработанной и изложенной О. С. Ахмановой в ряде трудов, начиная с книги «Очерки по общей и русской лексикологии» (М., 1957)<sup>3</sup>. Научная объективность исследовательницы косвенно проявляется уже в том, что ее не занимает волнующий многих специалистов по омонимам культурно-речевой вопрос о том, полезны или вредны омонимы для речевой практики. Праздной проблеме «болезни языка» О. С. Ахманова противопоставляет бо-

<sup>2</sup> См., например: В. В. Виноградов, Об омонимии в русской лексикографической традиции, «Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятилетию акад. Н. И. Конрада», М., 1967, стр. 52—53.

<sup>3</sup> В этом отличие рецензируемого словаря от упомянутого «Словаря омонимов русского языка» Н. П. Колесникова, сила и слабость которого в более глобальном и менее дифференцированном подходе к оценке слов как омонимов, к отбору, классификации и описанию омонимов. В этом смысле названный словарь — ценное справочное пособие, собрание материала, данного «сплошным массивом, без классификационных перегородок и демаркационных границ» (как заметил редактор словаря Н. М. Шанский в своем «Предисловии» к нему), без стиливых и стилистических помет. В теоретическом смысле труд Н. П. Колесникова предстает экспериментом-поиском возможностей исследования омонимов как элементов речевого потока в их собственной системе.

гатство и закономерности омонимических рядов, их структурных и функциональных соотношений. Омонимы предстают как элементы языковой системы лексики, а омонимия — как один из способов организации слов в систему, действующий во взаимосвязи с другими способами и пронизывающий, определяющий (и вытекающий из них) специфические явления словообразования, синтаксиса, стилистики, истории языка.

Словарь О. С. Ахмановой — не просто ценный справочник, а результат глубоко продуманной исследовательской попытки представить русскую лексику как систему с определенной концептуальной позиции. Как таковой он служит вкладом

в теорию русского слова — специфического единства лексического и грамматического, вещественного и формального. Предисловие к словарю — это самостоятельная теоретическая статья.

Высоко оценивая рецензируемый труд и рекомендуя его читателям, нельзя не отметить, что украшением словаря служит то, что можно назвать лингвистическим тактом и удивительной языковой одаренностью О. С. Ахмановой. Чувство русского слова, великолепное владение им делают словарь настоящим произведением ученого и творческой личности.

Костомаров В. Г.

**Witold Mańczak. Le latin classique—langue romane commune. —**  
Wrocław — Warszawa — Kraków, 1977. 126 стр.

В издательстве Академии наук Польской Народной Республики опубликована книга видного специалиста в области романских языков В. Маньчака, посвященная проблеме происхождения романских языков<sup>1</sup>. Часто считают, что в наше время такая проблема давно решена, так как источник романских языков (латинский язык) давно известен и хорошо изучен. Больше того, среди индоевропейских языков романские языки обычно выделяются именно в этом плане, как образования, происхождение которых особенно отчетливо прослеживается. Однако при более пристальном обращении к проблеме она оказывается совсем не такой простой, как это кажется специалисту.

В. Маньчак констатирует, что в наше время существуют три точки зрения на происхождение романских языков. Согласно одной из них, они возникли из так называемой вульгарной латыни. Согласно другой — их происхождение надо искать не в вульгарной, а в классической латыни. Наконец, третья точка зрения стремится учитывать и данные классической, и данные вульгарной латыни при объяснении генезиса романских языков.

Первая концепция была подробно обоснована в первой половине прошлого столетия основателем романской филологии Ф. Дицем. Подчеркивая значение

вульгарной латыни (*sermo vulgaris*) как источника романских языков, он считал, что обнаруживает тем самым народные истоки этих языков и расширяет поле, необходимое для генетических разысканий. Действительно. Дицу и его многочисленным последователям удалось установить, насколько данные, извлеченные из показаний *sermo vulgaris*, облегчают поиски ученого и расширяют представление о генетических связях между романскими языками и латынью.

Но проблема происхождения романских языков оказалась перед новыми трудностями. Прежде всего обнаружился слишком неопределенный характер самого понятия *sermo vulgaris*. У разных исследователей стали фигурировать разные названия: вульгарный язык, повседневный язык (*sermo cotidianus*), поздний латинский язык (*late latin*), обиходный язык (*Umgangssprache*) и многие другие. Проблема осложнялась не только по терминологическим причинам, но и по существу самого понятия «вульгарная латынь». Дело в том, что при возведении форм романских языков (не только лексических, но и грамматических, и фонетических) к формам вульгарной латыни, строго учитывая данные сравнительно-исторических соответствий, исследователям то и дело приходится все же пользоваться реконструкциями «под звездочкой». Как известно, подобные реконструкции означают, что соответствующие образования не засвидетельствованы в вульгарной латыни и восстановлены искусственно на основе сравнительно-исторических соответствий. По подсчетам итальянского лингвиста К. Баттисти из десяти тысяч слов, зарегистрированных в самом авторитетном сравнительно-этимологическом словаре романских языков В. Майер-Любке, одна тысяча слов, т. е.

<sup>1</sup> По частям книга печаталась в течение ряда лет в различных филологических изданиях, поэтому отдельные положения автора уже подвергались обсуждению. Отклики на них перечисляются в самой книге на стр. 59. В дальнейшем цифры в скобках — страницы рецензируемой монографии.

десять процентов от их общего числа. оказываются словами под звездочкой<sup>2</sup>.

Это становится понятным, если учесть, что и поздняя, и архаичная латынь дошли до нас в очень небольшом числе памятников, тогда как классическая латынь прекрасно документирована и располагает разными по жанру текстами.

Учитывая сказанное, В. Маньчак выдвигает новую теорию и новую систему доказательств. Обращение к вульгарной латыни при осмыслении генезиса романских языков уже у Ф. Дица было вызвано прежде всего тем, что многие лексические и грамматические формы в этих языках трудно объяснить при опоре на данные одной лишь классической латыни. Поначалу казалось, что один факт подобного обращения сразу все разрешает и «темных мест» в генезисе романских языков не остается. Вскоре, однако, выяснилось, что и вульгарная латынь подтверждает отнюдь не все существовавшее в строе романских языков. Тогда и стали широко употребляться реконструируемые формы под звездочкой.

В. Маньчак предлагает иную систему аргументации. Он рассуждает так: чтобы определить различные «неправильные формы» в романских языках (например, нестандартные типы спряжения глаголов, нестандартные типы лексических дублетов и т. д.), нет надобности прибегать к реконструкциям, всегда сохраняющим несколько условный характер. По мнению автора, гораздо проще предположить, что «неправильные формы» в романских языках возникли в результате того, что соответствующие отдельные представители различных частей речи (глаголов, имен существительных, местоимений и других) употреблялись гораздо чаще, чем их «коллеги», относящиеся к этим же частям речи, но употреблявшиеся гораздо реже. В. Маньчак убежден, что высокая частотность отдельных представителей тех или иных частей речи обусловила их индивидуальную нестандартную историю. Подобные формы не подвергались так легко унифицирующему действию фонетических законов и законов грамматической аналогии. Отсюда «индивидуальная история» развития в романских языках таких, в частности, латинских образований, как, например, *facere* «делать», *sapere* «чувствовать; понимать», *habere* «иметь», как многие флексии глаголов, отдельные местоимения и т. д. и т. п.

Развивая это положение (оно проходит через всю монографию), В. Маньчак приходит к убеждению, что для объяснения генезиса «неправильных форм» роман-

ских языков нет надобности прибегать ни к вульгарной латыни, ни, тем более, к реконструкциям под звездочкой. Достаточно учесть, что «неправильные формы» романских языков — это результат их индивидуального развития, как бы в недрах самих романских языков. Подобные соображения дают возможность исследователю подчеркнуть важность взаимодействия общих принципов симметрии и асимметрии в структуре всякого языка (стр. 85 и сл.)<sup>3</sup>.

К сожалению, автор при этом не учитывает, что если «форма под звездочкой» нуждается в специальных разъяснениях, то в таких же разъяснениях нуждается и индивидуальная история каждой нестандартной формы, каждого «неправильного» глагола, каждого неожиданного семантического движения. Сослаться только на «высокую частотность» употребления подобной формы, подобного явления, еще совсем не означает объяснить эту форму или это явление.

В целом книга В. Маньчака представляется мне интересной, остро написанной, основанной на большом, тщательно изученном материале. Сама идея — генетически связать романские языки прежде всего с хорошо дошедшей до нас классической латынью, с ее многочисленными и разнообразными памятниками, отказаться от одностороннего противопоставления классической и вульгарной латыни, — такая идея не может не вызвать сочувствия. Хорошо показано автором и дальнейшее развитие «латинского фонда» в отдельных романских языках в процессе их же исторического становления.

Вместе с тем монография В. Маньчака вызывает и отдельные возражения, некоторые из которых имеют общетеоретический характер. Автор называет мифом (стр. 115) теорию, которую со времен Ф. Дица до сих пор разделяли и разделяют почти все выдающиеся специалисты-романисты и согласно которой романские языки возникли прежде всего из вульгарной латыни. Дело даже не в категоричности суждений самого В. Маньчака. Гораздо важнее характер его аргументации по этому вопросу. Он утверждает, что критикуемая им концепция отличается прежде всего антиисторичностью. Согласно В. Маньчаку эта концепция исходит из убеждения, что все языковые изменения уже совершились в античную эпоху (вульгарная латынь уже тогда отделилась от классической традиции), а затем языки оставались неизменными. Отсюда — близость роман-

<sup>2</sup> W. Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, 3 Aufl., Heidelberg, 1935; C. Battisti, *Avvicamento allo studio del latino volgare*, Bari, 1949, стр. 160.

<sup>3</sup> Существует и прямо противоположная точка зрения, согласно которой наиболее употребительные формы в грамматике развиваются по общему типу, а менее употребительные формы — по особому, часто индивидуальному типу.

ских языков к вульгарной латыни (стр. 115—117).

Мне представляется подобное заключение необоснованным. Дифференциация между классической и вульгарной латынью, совершившаяся уже в античную эпоху, вовсе не приводит и не должна привести к отрицанию возможности развития будущих романских языков. За последние сто пятьдесят лет романисты всегда понимали, что раскол латыни (не только типологический, но и хронологический, вызвавший представление об архаической и поздней латыни) несколько не помешал дальнейшему развитию и самой латыни (до тех пор, пока она была живой), и, тем более, развитию будущих романских языков. Их большая близость к вульгарной латыни в средние века и гораздо большая отдаленность от нее же в наше время лишь раз подтверждает принцип непрерывного развития самих романских языков во все периоды их исторического бытования. Поэтому концепция — от «вульгарной латыни к романским языкам», вопреки автору, ни в какой мере не может быть признана концепцией антиисторической. Напротив, сила этой концепции в ее строгой историчности.

Другой вопрос возникает, когда В. Маньчак справедливо подчеркивает важность «классического звена латыни» при обсуждении генезиса романских языков. Он прав и тогда, когда критикует злоупотребления, обнаруживающиеся при реконструкциях, в формах под звездочкой. Он справедливо обращает внимание на всю важность нередко сложных соотношений между симметричными и асимметричными формами в грамматике и лексике романских языков (система и антисистема).

В. Маньчак считает, что концепция, согласно которой происхождение романских языков связано и с вульгарной, и с классической латынью, выступает как концепция эклектическая и противоречивая (стр. 6). Между тем понятие эклектизма должно относиться не к материалу исследования, а к принципу истолкования подобного материала. Эклектиком оказывается не тот ученый, который закономерно стремится охватить материал, подлежащий анализу, как можно шире, а тот, кто не умеет осмыслить такой материал с единых методологических позиций.

Книга В. Маньчака показывает, что проблема происхождения романских языков все еще остается актуальной проблемой, связанной с осмыслением ряда теоретических вопросов. Заслуга автора в постановке этих вопросов с учетом современных лингвистических данных. Автор собрал интересный материал и постарался осмыслить его заново в свете теории генетического единства классической латыни и романских языков. Вместе с тем, на мой взгляд, монография В. Маньчака свидетельствует, что в наше время исследователь генезиса романских языков не должен ограничиваться лингвистическими и социальными условиями развития только одной разновидности латыни (классической или вульгарной, ранней или поздней). Он обязан считаться со всеми ее разновидностями — хронологическими и типологическими. Большой интерес сохраняет и проблема нероманских элементов в романских языках, которая не рассматривается в рецензируемой книге.

Будагов Р. А.

«Latviešu literārās valodas vārdnīca». Rīgā, «Zinātne», I, 1972, 517 стр.; II, 1973, 550 стр.; III, 1975, 745 стр.

Вышли в свет первые три тома восьмитомного «Словаря латышского литературного языка», составленные сотрудниками Сектора научных словарей Института языка и литературы им. А. Упита АН ЛатвССР<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Работа над Словарем начата в середине 50-х годов. До 1964 г. авторским коллективом руководила М. Стенгренец, с 1965 — Л. Цеулитис (он же и ответственный редактор Словаря). Составители: Р. Балиня, О. Буше, И. Грасе, Я. Валдманис, Д. Земзаре, А. Мелдерис, А. Мишелсоне, А. Озола, С. Раге, С. Раухваргере, Л. Розе, И. Розенштрауха,

Опубликованный фактический материал (около 30 000 слов из 80 000, предполагаемых в полном объеме словаря) представляется достаточно обширным и лингвистически разносторонним, чтобы уже сейчас дать оценку выполняемому лексикографическому труду в целом.

Пристигая к работе, коллектив авторов исходил из опыта лексикографической работы, имеющей в латышском языкознании прочные и давние традиции. В распо-

М. Сауле-Слейне, Л. Смагаре, М. Стенгренец, В. Цируле, Д. Шне, И. Эделмане.

ряжении составителей был прежде всего такой неоценимый для балтистики труд, как Словарь латышского языка К. Мюленбаха и Я. Эндзелина (словарь в принципе двуязычный, латышско-немецкий, составленный преимущественно на основе диалектной и фольклорной лексики). Существовали к этому времени различные терминологические словари, были изданы две латвийские энциклопедии (многотомная досоветская и трехтомная советская) и имелась практика составления двуязычных словарей. Несомненно, облегчала работу выпшедшая академическая грамматика латышского литературного языка. Весьма полезным для авторов Словаря оказался опыт составления толковых словарей других языков, а также имеющиеся лингвистические исследования в области лексикологии, семантики, лексикографии, стилистики различных языков.

Однако перед составителями толкового словаря современного латышского литературного языка (словаря нового типа для латышской лингвистики) стоял целый ряд специфических проблем теоретического и практического характера, решение которых было необходимо найти. Вопросы эти в общих чертах касаются структуры словаря в широком смысле слова и самого анализа языкового материала. Сразу же, забегая вперед, надо сказать, что авторами найдены оптимальная схема структуры словаря и подход к фронтальному изучению лексики литературного языка.

Первый вопрос, встающий перед авторами словарей литературных языков, касается определения границ словника, отбора лексических единиц и их значений. Словарь такого типа призван отражать лишь наиболее характерные лексические явления литературного языка (семантику и употребление слов, грамматические формы, стилистические свойства, сочетаемость слов, семантические связи между словами, литературную норму употребления лексических средств). Этим продиктованы определенные ограничения в отборе слов, сочетаний слов, их значений. Словарь охватывает период становления латышского литературного языка с 70-х годов XIX в. до наших дней. Однако лексический материал этого периода оказался слишком обширным и с трудом поддается отражению средствами лексикографии. Так, некоторые слова, нейтральные в начале нашего столетия, сегодня воспринимаются как устаревшие или стилистически окрашенные, их былая нейтральность в Словаре остается не отраженной [см., например: *brūte* 1) устар. «невеста», 2) разг. «любовница»; *brāķēt* 1) устар. «браковать», 2) разг. «хулить» и др.]. И в то же время невозможно представляется капитальный словарь, не отражающий лексического богатства латыш-

ской классической художественной литературы.

Другие ограничения относятся к отдельным группам слов. Из терминов в словник Словаря включены лишь наиболее распространенные в периодике или художественной литературе (широко представлены термины общественных наук, кроме, к сожалению, этнографии). В Словарь не попали также некоторые группы дериватов, не имеющие специфических семантических черт.

Реализация выше очерченных принципов позволяет более или менее точно отражать состав лексических средств литературного языка. Однако необходимо заметить следующее. Если хорошо представлено ядро этих средств, то включение в Словарь некоторых слов, находящихся на периферии литературного языка, в отдельных случаях может вызывать сомнение (ср. слова *aizdudzis* «туманный, неясный», *aizgūnīgi* «пылко, увлечательно», *čīkstis* «скрип», *izķīlāt* «описать имущество» и др.). Хотя такие слова даются, как правило, с пометами *reti* «редко» или *ragēti* «редковато», все же включение их в Словарь вряд ли целесообразно. Это же относится и к некоторым редким значениям слов (*derības* третье значение «уговор», *izrakties* второе значение «накопаться, много и долго копать» и т. п.). Трудности при отборе лексических и семантических единиц понятны, и некоторая непоследовательность в этом отношении неизбежна, однако это не меняет общей картины состава лексики литературного языка, представленной в Словаре. Тем не менее реализация принципов отбора должна и впредь оставаться в центре внимания авторского коллектива.

Весьма успешно решен вопрос о структуре Словаря. Разработана рациональная схема словарной статьи, позволяющая лаконичски и наглядно изложить результаты анализа слов. Здесь нельзя не отметить удачного типографского оформления словарных статей, облегчающего нахождение и восприятие необходимой информации. Это, несомненно, заслуга работников издательства «Зинатне».

Состав словарной статьи сам по себе указывает на те вопросы, которые решаются при исследовании лексики латышского литературного языка. Помимо заглавного слова, статья имеет следующие элементы: грамматические формы слова, грамматические и стилистические пометы, толкование значения слова (а также сочетаний слов), иллюстративный материал. Исходя из структуры словарной статьи, можно проследить, какие системы понятий использованы авторами при изучении лексических явлений и какие результаты дает применяемый в Словаре способ лингвистического анализа.

В словарных статьях дается детализированная грамматическая информация о частях речи, склонении, числе, роде, спря-

жении, рефлексивности (возвратности), (ин)транзитивности. Указываются также ограничения грамматических форм некоторых слов (отсутствие или редкая употребимость форм, например, форм ед. или мн. числа существительных, 1 и 2-го лица глагола). Конверсия описывается как употребление слова «в значении» иной части речи. Грамматическая информация иллюстрируется путем приведения соответствующих форм склонения (обычно род, падежа, ед. числа, у некоторых слов и мн. числа) или спряжения (обычно все формы настоящего времени в ед. числе и форма 1-го лица прошедшего времени в ед. числе). Кроме того, используется ряд грамматических помет. Широко фиксирует Словарь разные параллельные грамматические формы и морфологические варианты слов, как правило, с отсылкой на более употребительные варианты, в чем и проявляется грамматическая нормативность Словаря.

Основная проблематика Словаря, разумеется, связана с семантическим анализом слов и сочетаний слов. Для этого введены два понятия: значение и оттенок значения. Значением называется относительно самостоятельный компонент семантики слова или словосочетания. Основой для констатации двух или более значений данной лексической единицы, как правило, считаются существенные (с точки зрения языка) различия между обозначенными явлениями, признаками и т. п. и также существенные грамматико-функциональные различия (обычно для служебных слов). Основой для выделения оттенков значения служат более мелкие семантические или грамматико-функциональные различия в рамках одного и того же значения. В тексте Словаря значения и оттенки значения показаны с помощью особых графических приемов (обычно на значение указывает арабская цифра, а на оттенок — знак параллелей).

Выделение значений слов (сочетаний слов) в Словаре проводится достаточно детально. Это позволяет ясно передавать информацию о разных случаях употребления слов, их сочетаемости. Однако в ряде случаев возникает впечатление, что авторы понятие значения или оттенка значения трактуют своеобразно, а именно — как лексикографический конструкт или даже как информационную единицу, отражающую некую совокупность конституций, в которых употребляется слово. Так, наряду со словами, семантическое деление которых совпадает с общим представлением о значении полисемических лексических единиц (*acs* «глаз», *apreħins* «вычисление, расчет», *galva* «голова», *garš* «длинный» и др.), встречаются по существу моносемические слова (они всегда имеют большую частотность в языке). В толковании этих слов, по-видимому, вполне осознанно, выделено несколько значений. В качестве примера можно при-

вести подачу слова *ietekme* «влияние», три значения которого вытекают из трех групп субъектов действия — человек, явление в обществе, явление в природе. Цель обсуждаемой трактовки понятна: максимально наглядно показать все возможные случаи использования часто встречаемых слов (например, приводя перечень различных субъектов действия, носителей признака и т. п.). Однако о таком понимании значения следовало сказать в вводном описании структуры Словаря.

В основном не возражая против выделения тех или иных значений и оттенков слова, следует отметить, что в отдельных случаях авторы идут слишком далеко и выдают за семантические единицы — обычно переносные оттенки значения — значения, возникающие в результате единичного или случайного употребления слова и представляющие в настоящее время не факт языка, а лишь факт речи (например, переносный оттенок при глаголе *bārstīt* «рассыпать» — «сверкать», см. словарную статью этого слова: *bārstīt* «Повторю или в несколько приемов сыпать, рассейвать» □ *Viņš... bārstīja graudus no vienas saujas otrā* «Он... пересыпал зерна из одной горсти в другую»...// перен. Рассеивать (например) лучи, сверкать лучами □ ... *Saule dzirkstis viņos bārsta* «...Солнце искры в волнах рассеивает»). В подобных случаях лучше было бы использовать другой прием Словаря — зарегистрировать примеры с пометой *paģi* «переносный» при соответствующем значении или его оттенке.

При чтении Словаря нетрудно заметить, что авторы, воспринимая литературный язык как культурную форму национального языка, стремятся содержание семантических единиц приближать к результатам современного научного отражения действительности (разумеется, речь идет лишь о тех словах, которые так или иначе связаны с научным познанием). В этом выражается семантическая нормативность Словаря: семантические единицы литературного языка связаны с той картиной мира, которую создает культура в наши дни. Осуществлять такой принцип научности авторам Словаря помогает группа научных консультантов — около 40 представителей разных отраслей науки, техники, искусства.

Результаты семантического анализа представлены в виде толкований значений или их оттенков. Толкование в настоящем Словаре — это сформулированное по лексикографическим принципам высказывание, передающее информацию о явлениях, с которыми связана та или иная лексическая единица, и о связи или различиях между семантически близкими лексическими единицами. Они лаконичны, ясны, содержат информацию, необходимую для филологического словаря,



без излишнего энциклопедизма. Авторы для толкований не создают специального лингвистического метаязыка, а пользуются обычными средствами литературного языка, учитывая при этом особенности выражения некоторых подязыков литературного языка (особенно чувствуются подязыки математики, юриспруденции, ботаники).

Текст толкования позволяет четко фиксировать информацию о двояких семантических объектах: об основных и дополнительных элементах данного значения. Основные элементы являются ядром значения, основой для понимания семантики слова, а также для развития новых значений. Дополнительными элементами считаются объект или субъект действия, носитель признака, характерные признаки обозначаемого словом явления, способствующие восприятию условий употребления слов, но не входящие в их значения. Толкование дополнительных элементов заключено в скобки или поставлено после тире. Например: *iss* 2) *Tāds, kam ir samērā neliels ilgums (par laiku rosmi)* «Имеющий сравнительно небольшую длительность (о промежутке времени)»; *cirst* 1) *Sitot, triecot (ar cirvi), dalīt, post (visu vai kā daļu)* «Ударяя (топором), отделять (все или часть чего-либо)»; *ap-kārtne* *Vieta, teritorija, kas atrodas (kam) apkārt, (kā) tuvumā* «Место, территория, аркация находится вокруг (чего-либо), вблизи (чего-либо)». Однако это весьма полезное разделение текста толкований выдержано не везде, особенно там, где употребление скобок является необычным с точки зрения пунктуации латышского языка (заключение в скобки начала предложения или придаточного предложения). Таким образом, в Словаре появились толкования, содержащие графически не отмеченные контекстуальные элементы [*ikri* «икра» 1) Рыбы, а также некоторых других водяных животных и земноводных яйца; *ciemats* «поселок» 1) Сельское населенное место, образовавшееся после коллективизации сельского хозяйства; *dinastija* «династия» 1) Монархи одного рода, которые сменяют друг друга в порядке наследования престола и др.].

Тексты толкований содержат также информацию о связях слов с точки зрения синонимии и литературной нормы. Для раскрытия этих связей применяется три приема толкований: 1) абсолютные синонимы имеют одинаковые толкования, вслед за ними приводятся иные синонимы; 2) если один из синонимов обладает несколько большей частотностью или меньшей степенью ограничений, то полное толкование получают все синонимы, и только лишь после толкования приводится более свободное употребляемое слово; 3) если разница между условиями употребления значительная, в толковании менее употребляемого слова дается только

ко более распространенное слово. Такое построение толкований достаточно ясно отражает градацию как синонимической, так и нормативной связи.

Толкования сопровождаются иллюстративным материалом — словосочетаниями и цитатами из литературных произведений и периодической печати. Иллюстрации в основном хорошо демонстрируют разные оттенки слов. Однако в отдельных случаях составители вместо образцов художественной литературы, как правило, оказывающей более длительное и сильное влияние на литературный язык, ограничиваются примерами «оперативной» периодики.

В Словаре применена система ограничительных помет, указывающих на степень употребительности слов в современном латышском языке.

Согласно концепции, принятой в Словаре, причины подобных ограничений могут быть следующие: 1) стилистическая окраска — разговорной речи, просторечия, поэтической, фольклорного языка; 2) экспрессивная окраска — презрительная, ироническая, юмористическая; 3) территориальная распространенность — специальной пометой фиксируются областные слова или диалектные значения; 4) историческая изменчивость — устаревшее или выходящее из употребления неактуальное слово или его значение; 5) специфический терминологический (или профессиональный) характер слова или значения; 6) ограниченная частота употребления (помета *reti* «редко», *pareti* «редковато»), т. е. вместо данного слова обычно употребляется иное слово или сочетание слов. Анализ слов с точки зрения их частотности и связанный с этим разработка системы помет, указывающих на причины ограниченного употребления слова, — задача исключительно трудная и при отсутствии статистических исследований необычайно ответственная. Однако надо отдать должное лингвистической интуиции (основанной на лингвистической эрудиции) составителей Словаря. Лишь в исключительных случаях пометы вызывают сомнения, например, помета «стилистическая окраска разговорной речи» имеется при глаголе *atvietot* «заменить», *atvietotājs* «заменитель». Верно, эти слова в литературном языке считаются нежелательными. Однако они не обладают указанной стилистической окраской. Первое значение слова *brāķēt* «браковать» квалифицировано как «устарелое» и в то же время оно иллюстрируется цитатой из современного научного текста (!) (кстати производное слово *izbrāķēt* «забраковать» такой пометой не снабжено).

Недостаточно продумана в Словаре помета глаголов с приставкой *aiz-* (например, *aizdedzātis* «запеть»), обозначающих начало кратковременного действия. Как правило, это областные слова, однако соответствующая стилистическая по-

мета при них не дана. Слова эти, вместо того, чтобы, согласно инструкции Словаря, отсылать к более употребительным литературным эквивалентам с приставкой *ie-* (например, *aizdziedāties* — *iedziedāties*), снабжены самостоятельным толкованием.

Особое место в толковом Словаре занимают сочетания слов и фразеологические единицы. Они часто снабжаются толкованием значения, пометами и иллюстрациями. В Словаре различаются две группы таких сочетаний слов. В первую из них вошли сочетания, как правило, терминологического характера (например, *sliežu ceļš* «рельсовый путь», *grāmatu māksla* «книжное искусство»). Во вторую группу включены фразеологические сочетания, сочетания идиоматического характера, в которых одно или несколько слов потеряли свою семантическую самостоятельность. В Словаре они даются после ромба (например: *dzīvot no zila gaisa* «питаться воздухом», *līst no ādas ārā* «лест из кожи» и т. п.). Сочетания слов и фразеологические единицы обычно даются по опорному слову. Такое размещение фразеологизмов в словарной статье дает возможность показать как бы ход развития данного значения (оттенка значения). Словосочетания, относящиеся к двум или более значениям или не имеющие связи ни с одним из них, помещены в конце словарной статьи. По-видимому, авторы, ввиду недостаточной разработанности теоретических проблем фразеологии латышского языка, отказались от проведения четких границ между разными видами сочетаний слов и основное внимание уделяли выявлению и лексикографическому анализу этих сочетаний.

Несовершенство и недочеты, отмеченные нами выше, естественны и почти неизбежны в работе такого масштаба. Издание отдельных томов многотомного словаря — длительный процесс, который сам по себе может послужить причиной несогласованной подачи семантически однотипных или коррелятивных образований, находящихся в разных местах алфавита.

Однако перед нами работа, выполненная очень тщательно и продуманно, авторами проведено глубокое и всестороннее исследование лексики латышского литературного языка. Исследование это отражено лексикографическими средствами на страницах Словаря. Найдено много удачных решений не только в области изучения отдельных слов и сочетаний слов. Словарь проливает свет на целый ряд лингвистических проблем, глубокое исследование которых возможно лишь на фоне фронтального анализа словарного состава литературного языка: основные тенденции развития лексики, упрочение существующих лексических норм, процесс внедрения в литературном языке лексических

единиц из других сфер языка, развитие и характер семантики литературного языка как культурной формы национального языка, расширение роли интернационализмов и др.

Академическая грамматика латышского языка вышла задолго до выхода Словаря. Составители Словаря, пытаясь разработать экономные однотипные толкования для тех или иных категорий слов, имея в своем распоряжении лексический материал естественно более обширный, чем тот, на котором базировалась грамматика, могли подтвердить или внести коррективы в решение тех или иных грамматических вопросов. Так, например, судя по материалам Словаря, по-иному можно бы трактовать категорию неопределенных числительных. И, наоборот, вследствие тотального охвата и исследования всей глагольной лексики, авторы отказались от последовательного снабжения глаголов грамматическими пометами «совершенный вид» и «несовершенный вид», тем самым еще раз был подтвержден лексико-грамматический характер глагольного вида в латышском языке — вывод, к которому пришли и составители академической грамматики.

Словарь для грамматики полезен в большом и в малом. Так, в Академической грамматике латышского языка среди слов пятого склонения не были выделены слова так называемого общего рода, а слово *bende* «палач» приводилось в качестве примера существительного мужского рода. Значительное количество литературных цитат, иллюстрирующих это слово в различных падежных формах, дало авторам словаря право подтвердить (вслед за школьными грамматиками) принадлежность слова *bende* к общему роду.

Опыт Словаря оказывается чрезвычайно полезным для области дериватологии. На всеобъемлющем лексическом материале Словаря четко обнаруживается регулярность употребления тех или иных словообразовательных аффиксов.

Первые три тома уже доказали, что Словарь имеет большое значение для повышения культуры латышского языка, так как он содержит разностороннюю и полезную информацию для коммуникации, для выбора и употребления наиболее оптимальных средств языка. Этим определяется его место в культурной жизни латышского народа.

И еще один существенный аспект оценки. Составленный на основе источников литературного языка конкретного исторического периода, «Словарь латышского литературного языка» явится для будущих поколений своеобразным памятником истории латышского литературного языка.

Реценз. А. С., Сталтмане В. Э.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12—14 октября 1976 г. в Житомире состоялась республиканская конференция «Научно-технический прогресс и язык»<sup>1</sup>, организованная АН УССР, Ин-том языковедения им. А. А. Потебни, Министерством просвещения УССР и Житомирским педагогическим ин-том им. И. Франко.

Открывая конференцию, ректор Житомирского пед. ин-та П. С. Горноста́й подчеркнул актуальность выдвинутой проблематики, ее связь с решениями XXV съезда КПСС. На пленарном заседании были прослушаны доклады, посвященные методологическим, организационным и конкретным лингвистическим проблемам и отвечающие главной теме конференции — взаимовлиянию научно-технической революции (НТР) и языка.

В докладе «Научно-технический прогресс, язык и задачи языковедческой науки в свете решений XXV съезда КПСС» В. И. Перебийнос (Киев) был поднят широкий круг вопросов, связанных с особенностями функционирования языка в условиях НТР, а именно: ускорение темпов развития языка, новые процессы в структуре языка и в его функциях, взаимоотношение языка и мышления, объективные и субъективные факторы развития языка, вопросы создания и совершенствования терминосистем и др. В. И. Перебийнос подчеркнула, что плодотворные исследования, отвечающие решениям XXV съезда КПСС, возможны на пути творческой разработки всего комплекса теоретических, социолингвистических и математико-технических проблем.

В докладе И. Г. Добродомова (Москва) «Языки народов СССР как источник формирования общего лексического фонда» поднят вопрос об изучении — с привлечением новых данных — фонда общих для многих языков слов, «сложившегося в ходе взаимодействия восточнославянских языков с другими языками

Восточной Европы». Докладчик показал целесообразность руководствоваться принципом «неединичности заимствующих языков», а также обосновал усиление внимания к изучению письменного пути заимствования слов.

Рассмотрению путей приобретения профессиональными словами нового терминологического качества — большей логикопонятийной и структурно-словообразовательной системности был посвящен доклад В. Д. Бондалетова (Пенза) «Перерастание профессиональной лексики в научную терминологию». Была подчеркнута актуальность и практическая целесообразность создания международного терминологического фонда, его расширение и совершенствование.

В. П. Ковалев (Херсон) в докладе «О влиянии научно-технического прогресса на стилистическое обогащение художественной речи» показал вовлечение новых слов и выражений профессионально-терминологического характера в традиционные приемы языковой экспрессии.

Всего на конференции было прочитано 80 докладов на четырех тематических секциях. На секции «Проблемы развития языков народов СССР и стран социалистического содружества» были прослушаны 32 доклада и сообщения по вопросам: общие (универсальные) законы развития языка в эпоху научно-технического прогресса (Ф. А. Никитина, М. А. Карпенко, Н. Н. Арват и др.), научно-технический прогресс и терминотворчество (И. С. Олейник, М. И. Герета и др.), развитие и взаимодействие научного и иных стилей речи (С. И. Дорошенко, К. Ф. Шульжук, О. Д. Бондаревская и др.), социалистические интернационализмы — лексические и фразеологические (С. Н. Денисенко, В. Н. Питинов), заимствования и их виды в условиях НТР (И. Н. Перкатюк, М. А. Семенюченко и др.), обогащение лексики литературного языка и диалектов (Н. В. Никончук, Ф. А. Непейвода, М. Я. Плющ, Н. Д. Давиденко, В. А. Чабаненко); развитие словообразования славянских языков (В. А. Горпинич, Т. И. Поляруш,

<sup>1</sup> См.: «Науково-технічний прогрес і мова. Тези доповідей республіканської наукової конференції», Житомир, 1976.

И. Д. Сухомлин, А. Н. Серебряков и др.), становление норм современного русского языка (А. Ф. Папина).

На секции «Закономерности развития терминологии языков народов СССР и стран социалистического содружества» прочитаны 23 доклада. Они касались как общих теоретических и методологических проблем изучения профессиональной лексики (например, доклады В. Н. Туркина «К типологической характеристике термина», И. И. Ковалика «Взаимосвязи украинского и русского языков в сфере современной технической лексики», Т. К. Черторизской «Стилистическое использование терминологии в русской художественной литературе»), так и конкретных вопросов формирования отдельных отраслевых терминологий и их воздействия на общепрофессиональный язык — космической (М. В. Кравченко), общественно-политической (А. С. Белая), спортивной (М. Н. Паночко), сельскохозяйственной (Б. Г. Ключковский, В. А. Шадура, Ж. В. Красножан, А. М. Поповский и др.).

Ряд докладов был посвящен анализу источников и способов терминологизации (В. И. Верещака, Н. А. Вакуленко, Д. И. Ганич, И. Т. Яценко, С. Е. Вайн-труб), взаимодействию и синтезу терминологий: например, в кибертерминологии (В. В. Ильенко и О. Н. Лебедева), лексикографической практике в подаче слов-терминов (Т. И. Нуруш), стандартизации терминологии (например, доклад И. В. Попеску «Тенденция стандартизации в молдавской терминологии лекарственных растений»).

На секции «Язык в автоматизированных системах. Методы лингвистических исследований» с докладами выступали как лингвисты, так и специалисты других отраслей науки и техники. В докладе Е. С. Протовых (Ровно) «НТР, интенсификация мышления и язык» было показано, что интенсификация научного мышления пронизывает все сферы мыслительной деятельности человека, что приводит к сдвигам во всех уровнях языка, во всех его стилях. Об интересных наблюдениях над автономией в научно-технических текстах доложила М. П. Муравичка (Киев).

Секция «Научно-технический прогресс и вопросы методики» сосредоточила внимание на новых проблемах преподавания языка в высшей и средней школе: ознакомление учащихся и студентов с научным стилем речи, с новой лексикой, использование технических средств обучения и пр. (О. П. Блик, В. Я. Мельничайко, Я. В. Януш, П. С. Дудик и др.).

Итоги работы конференции были подведены на заключительном пленарном заседании М. А. Жовтобрюхом, заместителем председателя республиканского Научного совета по проблеме «Законо-

мерности развития социалистических наций» (Киев), отметившим ее высокий идейно-теоретический уровень и внесшим предложение через четыре года снова провести конференцию по данной проблеме.

Бондалетов В. Д. (Пенза)

\*

11—13 мая 1976 г. в Нальчике состоялась Всесоюзная конференция, посвященная проблемам развития двуязычия в процессе обучения в национальной школе РСФСР. Она была организована АПН СССР, МП РСФСР, Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» при ОЛЯ АН СССР и МП Кабардино-Балкарской АССР.

В работе конференции приняли участие лингвисты, философы, учителя и методисты из автономных республик, национальных областей, округов РСФСР, из многих союзных республик, а также работники народного образования, обкома, Совета Министров КБ АССР (всего около 600 человек). На пленарных и секционных заседаниях было заслушано 97 докладов и выступлений. Открывая конференцию, чл.-корр. АПН СССР И. Ф. Протченко (Москва) подчеркнул актуальность поднимаемых вопросов.

В пленарных заседаниях нашли отражение как общеметодологические и теоретические вопросы двуязычия, так и насущные проблемы развития двуязычия в современной национальной школе.

В докладе зам. министра просвещения РСФСР Г. П. Веселова освещается состояние преподавания родного и русского языков и литературы в национальной школе РСФСР. К настоящему времени сложилось два основных типа школ: с родным и русским языком обучения. Преподавание в них ведется на 36 языках, а изучаются 48 языков.

В докладе Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко (Москва) «Национальные отношения в зрелом социалистическом обществе и развитие двуязычия в национальной школе РСФСР» рассматривались вопросы методологии и теории билингвизма. Проблема двуязычия, по мнению докладчиков, относится к числу важных социальных проблем, решение которых возможно только комплексным путем. Выделяются методологические, социологические и социально-психологические аспекты изучения двуязычия. Авторы подвергли критике некоторые научно несостоятельные концепции, в частности концепцию, согласно которой чем более генетически близок изучаемый язык родному, тем труднее овладеть им.

Высказывания о том, что обучение двуязычию в раннем школьном возрасте препятствует овладению родным языком и замедляет развитие мышления ребенка, противоречат многовековой практике обучения второму языку.

Н. М. Шанский и Н. В. Черемисина (Москва) в своем докладе подчеркивают, что специфика обучения русскому языку нерусских обусловлена — социально и дидактически — целью обучения: обеспечить свободное владение русской речью. Докладчики также выдвинули задачу создания единой методики сравнительно-типологических исследований.

В докладе Р. К. Черникова (Москва), посвященном работе Института национальных школ МП РСФСР, отмечалось, что вопросы содержания и методов обучения русскому, родным языкам и литературам тесно связаны с вопросами коммунистического воспитания учащихся с учетом специфики каждого национального региона и общественных функций языка.

Министр просвещения КБ АССР Р. А. Батчаева в докладе «Двуязычие и развитие национальных школ в КБ АССР» познакомила слушателей с состоянием обучения родному и русскому языкам в республике.

В выступлении Председателя Совета Министров КБ АССР Б. К. Чабдарова отмечены экономические и культурные достижения республики, ставшие возможными только благодаря ленинской национальной политике.

Проблематика конференции обсуждалась на четырех секциях, отражающих основные аспекты изучения двуязычия: социалингвистический, собственно лингвистический, методико-педагогический и психолингвистический.

Проблема теории и методов изучения билингвизма, общие и частные вопросы формирования и развития двуязычия в связи с обучением в национальной школе обсуждались на первой секции «Социалингвистический аспект исследования национально-русского двуязычия». В докладе В. К. Журавлева и И. М. Исаева (Москва) ставятся вопросы, связанные с совершенствованием методики преподавания в национальной школе с учетом достижений современного языкознания. Проблемы исследования двуязычия как объекта социальной лингвистики — тема доклада А. Н. Баскакова и В. Ю. Михальченко (Москва). На основании материалов обследования двуязычия в трех союзных и одной автономной республиках<sup>1</sup> докладчики характеризуют особенности развития интерференции на разных этапах двуязычия у представителей различных социальных слоев.

<sup>1</sup> См.: «Развитие национально-русского двуязычия», М., 1976.

В докладе А. И. Холмогорова (Рига), У. Э. Аугустална (Рига), Н. Бяшимова (Ашхабад), Г. Ш. Садыхова (Сумгаит) «Национально-русское двуязычие — основной тип двуязычия в школах СССР» приводятся фактические и статистические данные, позволяющие охарактеризовать специфику распространения и функционирования двуязычия в различных ареалах, а также возрастание его динамизма с учетом ценностной ориентации школьников-билингвов и их родителей в области языковой жизни.

Влиянию общественно-политических, социально-экономических и этнолингвистических условий на развитие разных типов двуязычия в нашей стране посвятили свои доклады Л. Л. Аюпова и Т. М. Гарипов (Уфа), А. Р. Гюльмагомедов (Махачкала), М. З. Закриев (Казань), Р. А. Юсупов (Казань), Н. Г. Самсонов (Якутск), Н. М. Хасанов (Москва) и др.

Процессы взаимодействия языков и их влияние на особенности двуязычия рассматривались в докладах Г. А. Анисимова (Чебоксары), З. У. Блягоза (Махачкала), Дж. Кокова (Нальчик) и др.

Конкретный анализ влияния внешних условий формирования двуязычия у детей дошкольного возраста [Н. Багов (Нальчик)], на начальных этапах обучения [Е. А. Бажапова (Москва)], а также особенности двуязычия у учащихся с бесписьменным родным языком [К. Э. Джамалов (КБ АССР)] подтверждает мысль о том, что именно реальные потребности в повседневной практической деятельности способствуют формированию и динамике двуязычия.

На заседаниях второй секции обсуждались вопросы теории и практики сопоставительного анализа контактирующих языков. Для изучения внутривидовых причин интерференции на разных уровнях языка особенно важен сопоставительный анализ лингвистических явлений контактирующих языков, позволяющий объяснить природу отклонений под влиянием схождений или расхождений структурно-типологических элементов двуязычия и выработать методические приемы преодоления интерференции.

Теоретическим проблемам сопоставительного анализа в условиях двуязычия были посвящены доклады Н. А. Баскакова, Д. Т. Турсунова (Алма-Ата), И. Л. Канападзе (Тбилиси). Обсуждались проблемы изучения интерференции на фонологическом уровне [А. А. Дарбеева (Москва), Б. С. Гулакян (Москва), А. Кясов (Нальчик), И. А. Ширшов (Грозный), М. И. Шурпаева (Махачкала)], лексико-семантическом уровне [К. З. Закирьянов (Уфа), Г. А. Мейрамов (Караганда)], на уровне стилистики [А. К. Шагиров (Москва)], на уровне фразеологии [М. М. Михайлов (Чебоксары)] и на уровне речи [М. К. Волков (Чебоксары)].

Проблеме совершенствования методических приемов сопоставительного анализа внутривидовых особенностей контактирующих языков посвящены доклады В. А. Дутаева (Грозный), З. М. Загирова (Грозный), И. К. Илишкина (Элиста), В. К. Кельмакова (Ижевск), В. Д. Тлеужева (Нальчик), М. Г. Хайруллиной (Уфа), А. К. Шагирова. Рассматривались также частные вопросы формирования терминологии в условиях двуязычия [Ф. Б. Астемирова (Махачкала)], а также проблема словесных обозначений языковых сигналов [В. М. Панькин и А. В. Филиппов (Москва)] и др.

На третьей секции обсуждались проблемы методики обучения родному и русскому языкам в условиях национальной школы. Вопросы методики преподавания русского языка — с учетом особенностей родного языка — коснулись в своих докладах: К. Х. Акимов (Махачкала), А. П. Величук (Москва), Ж. М. Гусев (Нальчик), Г. Н. Никольская (Москва), Е. К. Кумыкова (КБ АССР), В. Л. Киреев (Саранск), О. Я. Прик (Махачкала), М. Ш. Шекихачева (Нальчик), М. Х. Шапацева (Майкоп) и др. Вопросы транспозиции как положительного явления интерференции при обучении второму языку были рассмотрены в докладах Н. З. Бакеевой (Москва), К. Ф. Федорова (Якутск), Г. А. Мейрамова (Кагарда).

Обсуждались вопросы совершенствования методики [В. В. Горбунов (Москва), И. Н. Горелов (Магнитогорск)], использования технических средств в процессе обучения [В. И. Иванова (Москва), Г. Жданова (Казань)], а также вопросы создания учебников и новых словарей. Специфике овладения устной и письменной речью на разных этапах обучения посвятили свои доклады В. С. Амзаракова (Хакассия), С. Д. Ашурова (Москва), И. Г. Васильева (Москва), Е. К. Кумыкова, Р. Б. Сабатков (Москва) и др.

На заседаниях IV секции рассматривались психолингвистические проблемы развития раннего двуязычия и формирования личности ребенка-билингва [А. Ф. Бойцова (Москва), Н. К. Бронских (Салехард)], приемы обучения русскому языку на базе родного [Д. А. Данилов (Якутск)], преимущества естественного способа овладения вторым языком и приемы построения учебников, включающих речевые ситуации, приближенные к естественным [И. Г. Васильева (Москва)], а также вопросы развития и совершенствования речи билингва [А. С. Кипшев (Нальчик), Ф. М. Абдуллаев (Баку), Н. В. Епанечникова (Марийская АССР), Р. Мамхегова (Нальчик), М. Х. Оразев (Нальчик), М. М. Урумов (Орджоникидзе) и др.]. Социально-психологические особенности развития двуязычия были темой доклада Н. В. Черемисиной (Москва), влияние бикультурализма на характер билинг-

визма — Е. М. Верещагина (Москва) и Е. Ф. Тарасова (Москва). А. Р. Балаян (Москва), А. И. Боргоякова, Н. П. Кокова и Л. Г. Чанкова (Абакан) обсуждали в своем докладе проблемы соотношения русского и родного языков в национальной школе Хакассии. А. Артыков (Ашхабад) и Р. Ю. Барсуку (Баку) говорили о психологических проблемах, связанных с обучением третьему языку.

Высказанные участниками конференции конструктивные предложения и пожелания нашли отражение в «Рекомендациях», направленных на дальнейшую разработку актуальных проблем двуязычия в условиях взаимодействия и функционирования языков народов СССР.

Колесник Н. Г., Трескова С. И.  
(Москва)

\*

С 3 по 11 XI 1976 г. в Варне проходило 2-е заседание Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном Комитете славистов. Комиссия, учрежденная VI съездом славистов в Праге, ставит своей целью координацию работ по теоретическим проблемам лексикологии и лексикографии. Эти вопросы, а также информация о крупнейших лексикографических мероприятиях в каждой славянской стране были в центре внимания 1-го организационного заседания в январе-феврале 1973 г. в Смоленицах (ЧССР).

Заседание в Варне под председательством Ш. Пецяра (ЧССР) было посвящено проблемам лексикологии и лексикографии в их отношении к языковой конфронтации, сопоставительному изучению частных лексических систем в синхронии и диахронии, вопросам обработки различных разрядов слов в словарях разных жанров: современного литературного языка, фразеологических, синонимических, в словарях диалектных, исторических. Рассматривались также некоторые методологические проблемы лексикографии.

Обсуждение теоретических проблем в открывавших заседания докладах И. Филиппа (ЧССР) «Лексикология как частная лингвистическая дисциплина и ее внутренняя дифференциация» и К. Чолаковой (НРБ) «Языковые факторы, обуславливающие семантическое варьирование лексических единиц» касалось не только определения самих исходных понятий, ключевых единиц в плане сопоставления возможностей лексикологии и лексикографии («слово как лексикологическая единица», «слово как лексикографическая единица»), но и ставило перед этими сопредельными и в чем-то противоположающимися областями конкретные задачи: изучение в условиях межъязыко-

вой и внутриязыковой конфронтации проблемы идентификации единиц, процессов лексикализации вариантов слова, выяснение условий и закономерностей семантического варьирования.

Теоретическому осмыслению понятия семантического поля, реконструкции частных лексических систем, типологическим параметрам слова, проявляющимся во временной последовательности, устойчивости периферийных признаков слова и другим вопросам теории лексикологии были посвящен доклад В. Бл а н а р а (ЧССР) «Методологические проблемы реконструкции микросистемы в плане конфронтации».

Большой опыт практической работы над двуязычными чешско-словацким и словацко-чешским словарями отразил доклад Ш. П е ц и а р а «Некоторые проблемы словарей близкородственных языков». Языковая конфронтация такого типа имеет свои особенности, отражающиеся в словарных описаниях. При сопоставлении чеш. *nosítka* и словац. *nosidla*, чеш. *mavatko* и словац. *mavaško* «лексикограф вынужден будет толковать не семантическую, а словообразовательную разницу». Фактор близости языков заставляет задуматься об объеме эквивалентного определения и эквиваленте в экзemplификации, а при полной идентичности левой и правой сторон в словаре перейти на способ одноязычного словаря в иллюстративной части.

Доклад К. Н и ч е в о й (НРБ) «Одноязычные и двуязычные фразеологические словари в славянской лексикографии» был очень информативен по широте обзора и разнообразию возможностей работы с наиболее сложным в лексикографическом отношении материалом. Успехи болгарской лексикографии в области фразеологии были высоко оценены в выступлениях, в частности в выступлениях советского фразеолога А. М. Бабкина.

Непосредственная характеристика частных лексических систем, а во многих случаях скорее тематических групп из разных областей лексического фонда языка содержалась в докладах Р. О л е ш а «Лексическая структура древнепольского языка» (ФРГ), М. Ш и м ч а к а (ПНР) «Понятие лексической системы по данным славянской терминологии родства». Удельному весу и характеристике заимствований и калек при конфронтации языков посвящались доклады К. Б а б б о в а (НРБ) «Семантические особенности русизмов в болгарском литературном языке», Х. Ш у с т е р - Ш е в ц а (ГДР) «Место немецких лексических калек в системе верхнеулуйской лексики и словообразования» и С. У р б а н ч и к а (ПНР) «Заимствования в старопольском словаре и старопольских текстах». Словарь отражает особенности языка концентрированно по сравнению с текстами. С. Урбанчиком было проведено сопоставление дан-

ных Старопольского словаря, содержащего около 3% заимствованных слов, со старопольскими текстами 1350—1500 гг., в которых процентное соотношение заимствованных слов нередко снижается до тысячных долей в зависимости от жанра. Если при подсчете по словарю заимствований из немецкого оказывается 1,3%, из чешского — 0,84%, то в текстах религиозного и юридического характера чешских заимствований обнаруживается больше, чем немецких. В текстах, связанных с ремеслом, горным делом, торговлей немецкие заимствования стоят на первом месте, но выражаются в тысячных долях.

Вопросы обработки различных разрядов слов в словарях разных типов получили отражение во многих докладах лексикографов Болгарии. Среди них прежде всего хотелось бы отметить доклады С. С п а с о в о й - М и х а й л о в о й по остро дискуссионному и теоретически сложному вопросу подачи предлогов в словарях («Семантические и функциональные особенности в системе предлогов в славянских языках и их лексикографическая презентация»), Х. Х о л и о л ч е в а «Диалектная лексика в толковом словаре национального языка», а также сообщения Ем. П е р и ш к о в о й, М. Ч о р о л е е в о й, Ю. Б а л т о в о й, М. Л и л о в а и др.

О методологических проблемах истории языковых явлений, методов и возможностях таких областей, как этимологическая и историческая лексикография, о реконструкции как основе праславянской лексикографии говорилось в докладе О. Н. Т р у б а ч е в а (СССР) «Историческая и этимологическая лексикография». «Гипотетичность и элементы реконструкции всегда будут сохранять решающее значение в этимологическом исследовании и этимологической лексикографии. Понятия гипотезы и реконструкции вообще неотделимы от исторического исследования в широком смысле. История слова должна, естественно, пониматься как вся смысловая и формальная эволюция слова, а не только как этап его письменной документации, как это нередко делается (сознательно или бессознательно) и имплицитно распространеной антитезой *étymologie du mot — histoire (biographie) du mot*. Даже в древнейших письменных традициях мира (как, напр., греческая) письменная история начинается для многих слов древнего пласта уже после того, как завершилась их основная история. Таким образом, письменная история (филологическая документация) фиксирует при этом часто лишь период относительного покоя, средствами же для выявления полной истории (насколько это вообще доступно) располагает именно этимология, этимологическая лексикография». «Обратное насыщение исторического словаря данными иной методики

(диалектные, сравнительные и этимологические сведения) могут лишь привести к своеобразному взрыву изнутри самого типа исторической лексикографии и поэтому не рекомендуются. Исторический словарь сохраняет свое полное научное значение как опорный свод филологической документации».

Доклад О. Н. Трубачева как бы прокладывал пути к тематике 3-го заседания Комиссии, которое намечено провести в рамках симпозиума по проблемам этимологии и исторической лексикографии славянских языков по близкой тематике в декабре 1977 г. в Лейпциге.

На заседании в Варне было прочитано 35 докладов. Заключительное заседание комиссии посвящалось информации о лек-

сикографических предприятиях в славянских странах.

С сообщением о работе, ведущейся в СССР над словарями современного литературного языка, диалектными, фразеологическими, синонимическими, о подготовке переиздания Большого академического словаря выступил член Комиссии А. М. Бабкин. Г. А. Богатова информировала Комиссию о работе в области исторической лексикографии русского, украинского и белорусского языков. О. Н. Трубачев говорил об успехах славянской этимологической лексикографии в СССР и за его пределами.

*Богатова Г. А. (Москва)*



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1977 г.  
(№№ 1—6)

СТАТЬИ

*К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции*

Березин Ф. М. — Советскому языкознанию 60 лет. . . . .	5
Исаев М. И. — Решение национально-языковых проблем в советскую эпоху . . . . .	6
Кононов А. Н. — Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы . . . . .	3
Филин Ф. П. — Советское языкознание: теория и практика . . . . .	5

Белодед И. К. — Научно-технический прогресс и язык художественной литературы . . . . .	3
Будагов Р. А. — Заметки о русском языке в современном мире . . . . .	1
Кононов А. Н. — Основные этапы формирования турецкого письменного литературного языка . . . . .	4
Панфилов В. З. — О гносеологических аспектах проблемы языкового знака . . . . .	2
Солнцев В. М. — Языковой знак и его свойства . . . . .	2
Филин Ф. П. — О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка . . . . .	4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алексеев М. Е. — К лексико-семантической интерпретации аффективной конструкции предложения . . . . .	4
Ахманова О. С., Гюббенет И. В. — «Вертикальный контекст» как филологическая проблема . . . . .	3
Ахманова О. С., Минаева Л. В. — Место звучащей речи в науке о языке . . . . .	6
Белый В. В. — Философские основы американской дескриптивной лингвистики . . . . .	2
Блох М. Я. — Проблема тождества предложения в свете соотношения понятий синтаксиса, семантики и информации . . . . .	3
Брагина А. А. — Нейтрализация на лексическом уровне . . . . .	4
Вейхман Г. А. — Предикативное членение высших синтаксических единиц . . . . .	4
Гальперин И. Р. — К проблеме зависимости предложения от контекста . . . . .	1
Горецкий Я. — Исходные принципы теории литературного языка . . . . .	2
Грибаум Н. С. — Проблема древнегреческого литературного языка . . . . .	6
Дешериева Т. И. — Некоторые проблемы грамматической семантики в связи с особенностями формализации в естественных языках . . . . .	4
Журавлев В. К. — Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных . . . . .	6
Зыцарь Ю. В. — К типологической характеристике эргативной структуры языка басков . . . . .	3
Котков С. И. — О лингвистическом источниковедении . . . . .	6
Кривоносов А. Т. — Открывает ли «трансформационная грамматика» новые горизонты в лингвистике? . . . . .	6
Маковский М. М. — Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях . . . . .	3
Максимов В. И. — Грамматическая теория и практика изучения языка . . . . .	1
Милославский И. Г. — Синтез словосочетания и производного слова . . . . .	5
Москальская О. И. — Вопросы синтаксической семантики . . . . .	2

Панфилов В. З.— Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения . . . . .	4
Питровский Р. Г., Бектаев К. Б.— Машинный перевод: теория, эксперимент, внедрение . . . . .	5
Потапова Р. К.— К типологии временной организации речи в германских языках . . . . .	1
Попелуевский Е. А.— Сравнительная степень и свободное употребление прилагательных . . . . .	5
Скорик П. Я.— К проблеме языковой общности аборигенов северо-востока Азии . . . . .	3
Таджиев Д. Т.— Проблемы изучения сложноподчиненного предложения . . . . .	5
Трубачев О. Н.— Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье . . . . .	6
Чернышева И. И.— Актуальные проблемы фразеологии . . . . .	5
Швейцер А. Д.— Философские основы американской социолингвистики . . . . .	1
Юрченко В. С.— Сказуемое . . . . .	6

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Акимова Г. Н.— О некоторых особенностях поэтического синтаксиса . . . . .	1
Благова Г. Ф.— О методике изучения морфологии средневековых тюркских поэтических текстов . . . . .	3
Богатова Г. А.— Типология слова и историческая лексикография . . . . .	5
Боголюбов М. Н.— Датировки в арамейских надписях эпохи Ашоки . . . . .	5
Горбачевич К. С.— О норме и вариатности на синтаксическом уровне . . . . .	2
Гринбаум Н. С.— О диалектной основе языка древнегреческой хоровой лирики . . . . .	1
Гунаев З. С.— Воздействие особенностей природного ландшафта на грамматическое выражение пространственных отношений . . . . .	6
Дюрэн Ж.— Мягкость, твердость, йотированность . . . . .	2
Ермина Л. И.— Поэтика психологически мотивированного слова . . . . .	5
Ермолаева Л. С.— Типология системы наклонов в современных германских языках . . . . .	4
Зограф Г. А.— К вопросу о «новой флексии» глагола в индоиранских языках . . . . .	6
К десятилетию журнала «Русская речь» . . . . .	2
Коготкова Т. С.— К вопросу об освоении лексико-семантических единиц литературного языка в современных русских говорах . . . . .	3
Костюченко Ю. П.— Значение деятеля при страдательном залоге (агенса) и творительный падеж в славянских языках . . . . .	1
Кузнецова О. Д.— О причинах лексикализации в русских говорах . . . . .	1
Ломтатидзе К. В.— Из истории определенных форм имени в ашхарском диалекте абазинского языка . . . . .	2
Мурьянов М. Ф.— К семантике старославянской лексики . . . . .	2
Мурясов Р. З.— О направлении производности в словопроизводстве и тождестве деривационных систем . . . . .	6
Пахалица Т. Н.— О роли <i>i</i> -умлаута в истории развития вокализма иранских языков . . . . .	4
Пумпянский А. Л.— Функциональный стиль научной и технической литературы . . . . .	2
Пюрбеев Г. Ц.— О некоторых инновациях в синтаксисе предложения монгольских языков . . . . .	5
Раевский М. В.— Основа презенса глагола на <i>-jan</i> и статус удлинённых согласных в западногерманском . . . . .	5
Рапопорт М. Я.— Сдвиги гласных в истории нидерландского языка . . . . .	1
Рогава Г. В.— Псевдопереходные глаголы в адигских языках . . . . .	2
Рогожникова Р. П.— Об эквивалентах слова в русском языке . . . . .	5
Сабанеева М. К.— К проблеме смысловой завершенности предложения . . . . .	4
Сологуб А. И.— О склонении существительных женского рода единственного числа в русских говорах . . . . .	1
Скупский Б. И.— К вопросу о греческих оригиналах древнейших славянских переводов . . . . .	2
Тарланов З. К.— Опыт системного анализа личных местоимений в восточно-лезгинских языках . . . . .	5
Устинскова З. И.— О генезисе цоканья в русских говорах . . . . .	4

Хайдаков С. М.— К особенностям функционирования классной системы в дагестанских языках и языке фула . . . . .	6
Чикобава Арн.— Об одном принципе классного спряжения в древне-грузинском глаголе . . . . .	2
Шевякова В. Е.— К вопросу о логическом ударении . . . . .	6
Эдельман Д. И.— К фонемному составу общепранского . . . . .	4
Юдакин А. П.— Родительный агенса в <i>ta</i> -причастных конструкциях классического санскрита . . . . .	2
Юлдашев А. А.— Лексикализация тюркских грамматических форм как объект словообразовательной морфологии и словаря . . . . .	1

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Реферовская Е. А.— Лингвистическая концепция Гюстава Гийома	3
---	---

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## Обзоры

Карамшоев Д.— Новое в памирской филологии . . . . .	1
Хромов А. Л.— Состояние и задачи топонимических исследований в Таджикистане . . . . .	4

## Рецензии

Ахманова О. С.— Р. А. Будагов. Человек и его язык . . . . .	5
Брагина А. А.— Н. В. Бахилина. История цветообозначений в русском языке . . . . .	1
Будагов Р. А.— В. Г. Гак. Русский язык в сопоставлении с французским . . . . .	3
Будагов Р. А.— W. Mayczak. Le latin classique langue romane commune	6
Верещагин Е. М.— Ф. М. Березин. Русское языкознание конца XIX — начала XX в. . . . .	5
Виноградов В. С.— Н. З. Котелова. Значение слова и его сочетаемость	2
Волков С. С., Мжельская О. С.— «Словарь русского языка XI—XVII вв.» . . . .	3
Гак В. Г.— Г. В. Степанов. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи . . . . .	6
Георгиева В. Л.— И. М. Мальцева, А. И. Молотков, З. М. Петрова. Лексические новообразования в русском языке XVIII века . . . . .	1
Герценберг Л. Г.— «Flexion und Wortbildung» . . . . .	2
Демьянов В. Г.— «Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений» . . . . .	3
Дзендзелевский И. А.— М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды . . . . .	5
Дуличенко А. Д.— L. Hadrovics. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert . . . . .	1
Дэжё Л.— «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов» . . . . .	3
Ивантова Г. Г.— О. А. Лаптева. Русский разговорный синтаксис	5
Климов Г. А.— И. И. Мещанинов. Проблема развития языка . . . . .	2
Комлев Н. Г.— E. Albrecht. Bestimmt die Sprache unser Weltbild? . . . . .	1
Копыленко М. М.— Б. Хасанов. Языки народов Казахстана и их взаимодействие . . . . .	4
Королев Н. И., Ульцифиров О. Г., Рубинчик Ю. А.— Хинди-русский словарь . . . . .	6
Костомаров В. Г.— О. С. Ахманова. Словарь омонимов русского языка . . . . .	6
Крючкова Т. Б., Трескова С. И.— В. Г. Костомаров. Русский язык среди других языков мира . . . . .	4
Кумахов М. А.— A. H. Kuipers. A Dictionary of Proto-Circassian Roots . . . . .	3
Мокиенко В. М.— К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова. Фразеологичен речник на българския език . . . . .	5
Морозова Е. А.— Р. В. Булатова. Старосербская глагольная акцентуация . . . . .	2
Одинцов Г. Ф.— V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. III . . . . .	1
Пазухин Р. В.— Ю. С. Степанов. Методы и принципы современной лингвистики . . . . .	5

П а н и н Л. Г. — «Вести-курранты. 1642—1644 гг.» . . . . .	4
Р е к е н а А. С., С т а л т м а н е В. Э. — Толковый словарь латышского языка . . . . .	6
Р е п и н а Т. А. — По страницам юбилейных выпусков журнала «Revue roumaine de linguistique» . . . . .	4
С о р о к о л е т о в Ф. П. — А. С. Львов. Лексика «Повести временных лет» . . . . .	2
С о р о к о л е т о в Ф. П. — Г. Я. Романова. Наименование мер длины в русском языке . . . . .	4
Ш а х н а р о в и ч А. М. — «Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков» . . . . .	4

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Эмиль Бенвенист . . . . .	3
Хронологизация заметки . . . . .	1,2,4,6

## CONTENTS

**The 60-th Anniversary of the Great October Socialist Revolution. Articles:** Isaev M. I. (Moscow). National-language problems and their solution in the Soviet epoch; **Discussions:** Trubačev O. N. (Moscow). Linguistic periphery of ancient Slavs. Indo-Aryans on the Northern Black Sea Coast; Zuraev V. K. (Moscow). Havlik's rule and the fall of Slavic reduced vowels; Axmanova O. S., Minaeva L. V. (Moscow). The role of sound speech in the science of language; Kotkov S. I. (Moscow). Study and use of linguistic sources; Krivonozov A. T. (Kalinin). Does «transformational grammar» open new horizons in linguistics?; V. S. Jurčenko (Saratov). The predicate; Grinbaum N. S. (Kišinev). The problem of ancient Greek literary language; **Materials and notes:** Hajdakov S. M. (Moscow). Some features of the class-system in the Daghestan languages and in Fula; Zograf G. A. (Leningrad). The problem of the «new verb inflection» in Indo-Aryan languages; Seviakova V. E. (Moscow). On the logical accent; Muriasov R. Z. (Ufa). On the direction of derivation and the identity of derivational morphemes; Gunayev Z. S. (Makhatchkala). On the expression of spatial relations in some Daghestan languages; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Pour le 60-me Anniversaire de la Grande Revolution Socialiste d'Octobre. Articles:** Isaev M. I. (Moscou). Les problèmes nationaux et linguistiques et leur solution à l'époque soviétique; **Discussions:** Trubačev O. N. (Moscou). La périphérie linguistique du monde slave dans l'antiquité. Indo-aryens sur la côte septentrionale de la Mer Noire; Zuraev V. K. (Moscou). Règle de Havlik et la chute des voyelles réduites slaves; Axmanova O. S., Minaeva L. V. (Moscou). L'étude du langage phonique et son importance pour la science linguistique; Kotkov S. I. (Moscou). L'étude et l'emploi des sources linguistiques; Krivonozov A. T. (Kalinin). La «grammaire transformationnelle», ouvre-t-elle des horizons nouveaux en linguistique?; Jurčenko V. S. (Saratov). Le prédicat; Grinbaum N. S. (Kichinev). Le problème du grec ancien littéraire; **Matériaux et notices:** Hajdakov S. M. (Moscou). Quelques particularités fonctionnelles des systèmes de classes dans les langues daghestaniennes et en peuhl; Zograf G. A. (Léningrad). A propos de la «nouvelle flexion» verbale dans les langues indo-aryennes; Seviakova V. E. (Moscou). Sur l'accent logique; Murjasov R. Z. (Oufa). Direction de la dérivation et identité des morphèmes dérivationnels; Gunayev Z. S. (Makhatchkala). Sur l'expression des relations spatiales dans certaines langues du Daghestan; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Т. Н. Сенченко

Сдано в набор 29/VIII-1977 г.	Т-16845	Подписано к печати 26/X-1977 г.	Тираж 7110 экз.
Зак. 2764	Формат бумаги 70×108 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	Усл. печ. л. 14,0	Бум. л. 5
			Уч.-изд. л. 14,5

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10